

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет им. А.М. Горького»

ИОНЦ «Толерантность, права человека и предотвращение конфликтов,  
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями»

**ФИЛОСОФСКИЙ факультет**

**ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ кафедра**

**ХРЕСТОМАТИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

**«ФИЛОСОФИЯ НЕНАСИЛИЯ»**

---

Составители А.В. Перцев, Я.Ф. Малкова

**Екатеринбург  
2007**

## СОДЕРЖАНИЕ ХРЕСТОМАТИИ.

1. Валпола Рахула «Чему учил Будда».
2. Махабхарата. Рамаяна. Джатака о Согласии.
3. Библия. Книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета.
4. Дж.Локк. «Опыт веротерпимости».
5. А.Шопенгауэр. «Мир как воля и представление».
6. А.Шопенгауэр. «Размышления о государстве, политике и праве»
7. Л.Н.Толстой «Не убий»
- 8.Л.Н.Толстой. «Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»
- 9.М.К.Ганди «Индийское самоуправление»
- 10.М.К. Ганди. «Мой Толстой»
11. М.Л. Кинг «Паломничество к ненасилию»
12. А.А.Гусейнов «Понятие насилия и ненасилия».
13. А.А.Гусейнов Моральная демагогия как форма апологии насилия.

## **Валпола Рахула «Чему учил Будда».**

**Перевод с англ.яз. осуществлен по изданию – Валпола Рахула. Чему учил Будда. 1978, Великобритания. "Махасангха" 1995г. Перевод Берхина И.В.**

Посвящается Мани Sabbadanam Dhammadanam jinati

(Дар истины превосходит все остальные дары)

Согласно Будде, человеческое положение является наивысшим. Человек сам себе господин и нет никакого высшего существа или силы, что решают его судьбу. "Каждый сам себе прибежище, кто еще может быть прибежищем?" – говорил Будда. Он воодушевлял своих учеников "быть самими себе прибежищем" и никогда не искать прибежища или помощи в ком-либо еще. Он учил, воодушевлял и побуждал каждого развивать себя и осуществлять свое собственное освобождение, поскольку у человека есть сила освободить себя от всех оков посредством своих личных усилий и мудрости. Будда говорит: "Вам должно делать вашу работу, ибо Татхагаты<sup>1</sup> лишь учат пути". Если вообще называть Будду "спасителем", то лишь в том смысле, что он открыл и показал Путь к Освобождению, Нирване. Но Путь мы должны осилить сами. Именно на этом принципе личной ответственности Будда допускает свободу для своих учеников. В Махапариниббана-сутте Будда говорит, что он никогда не думал о том, чтобы управлять Сангхой (Монашеская Община)<sup>2</sup>, как и не хотел, чтобы Сангха зависела от него. Он говорил, что нет никакой тайной доктрины в его учении, ничего спрятанного в "сжатом кулаке учителя" (ачарьямуттхи), или говоря другими словами, ничего не "прятал в рукавах". Свобода мысли, допущенная Буддой, неслыханна где-то еще в истории религий. Свобода необходима, поскольку, согласно Будде, свобода человека зависит от его собственного осознания Истины, а не от благоволящей милости бога или любой внешней силы как награды за свое послушное хорошее поведение. Будда однажды посетил маленький городок Кесапутта в царстве Косала. Жители этого города были известны под общим именем

---

<sup>1</sup> Татхагата букв. значит "Пришедший к Истине", т.е., "Открывший Истину". Этот термин обычно используется Буддой по отношению к себе и к буддам в общем.

<sup>2</sup> Сангха букв. значит "Община", но в буддизме этот термин означает "Община буддийских монахов". Монашеский Орден. Будда, Дхамма (Учение) и Сангха (Община) известны как Тиратана (санскр. Триратна) "Тройственная драгоценность".

Калама. Когда они слышали, что Будда находится в их городе, Калама посетили его и сказали ему: "Господин, есть некоторые отшельники и брахманы, что посещают Кесапутту. Они объясняют и освещают только свои собственные учения и презирают, проклинают и отвергают учения других. Но мы, Господин, всегда в сомнении и растерянности – кто же из этих почтенных отшельников и брахманов говорит истинно, и кто ложно".

Тогда Будда дал им следующий совет, уникальный для истории религий:

"Да, Калама, это правильно, что у вас сомнения, что вы в растерянности, поскольку сомнения возникли в предмете, который сомнителен. Теперь слушайте, Калама, не будьте ведомы рассказами, обычаем или молвой. Не будьте ведомы властью священных слов, ни явной логикой или доказательством, ни рассмотрением видимости, ни прелестью умозрительных мнений, ни кажущимися возможностями, ни идеей "это мой учитель". Но, Калама, когда вы знаете по себе, что некоторые вещи неблагоприятны (акусала), ложны, плохи, тогда откажитесь от них... И когда вы знаете по себе, что некоторые вещи благоприятны (кусала) и хороши, тогда примите их и следуйте им". Будда пошел даже дальше. Он сказал бхиккху (монахам), что ученик должен испытать даже самого Татхагату (Будду) так, чтобы он (ученик) мог быть полностью убежден в истинной ценности учителя, которому он следует. Согласно учению Будды, сомнение (вичикичча) – это одно из Пяти Препятствий (ниварана)<sup>3</sup> ясному пониманию Истины и духовному продвижению (или, по существу, любому продвижению). Сомнение, тем не менее, не "грех", поскольку в буддизме нет раздела веры. В действительности, в буддизме вообще нет "греха", как он (грех) понимается в некоторых религиях. Корень всего зла – это неведение

(авидджа) и ложные взгляды (мичча диттхи). Нельзя отрицать, что пока есть сомнения, растерянность, колебание, невозможно никакое продвижение. Равно как нельзя отрицать, что сомнения обязательно есть, пока не видишь или понимаешь ясно. Но чтобы продвигаться далее, совершенно необходимо избавиться от сомнения. Чтобы избавиться от сомнения, нужно видеть ясно...

---

<sup>3</sup> Пять препятствий таковы: (1) чувственное вожделение, (2) злоба, (3) телесная и умственная лень и вялость, (4) беспокойство и озабоченность, (5) сомнение.

...В третьем веке до н.э. великий буддийский император Индии Ашока, следуя этому благородному примеру терпимости и понимания, почитал и поддерживал все иные религии в своей обширной империи. В одном из своих указов, вырезанных на скале, император объявил: "Не должно почитать только свою религию и осуждать религии других, но должно почитать религии других по той или иной причине. Делая так, помогаешь своей собственной религии и оказываешь услугу также и другим религиям. Действуя противно, роешь могилу своей религии и также наносишь вред другим религиям. Всякий, кто почитает свою религию и осуждает иные религии, делает так действительно из преданности своей религии, думая: "Я прослаблю мою религию". Но вопреки этому он еще тяжелее поражает свою религию. Потому хорошо согласие: "Пусть все слушают и желают слушать прорекаемые другими учения"...

...Будда не только учил ненасилию и миру, но он даже шел на самое поле битвы и лично вмешивался и предотвращал войну, как в случае спора между Сакьями и Колиями, приготовившимися сражаться по поводу вод реки Рохини.

И его слова однажды воспрепятствовали царю Аджатакатте напасть на царство Вадджей. В дни Будды, как и сегодня, были властители, несправедливо правившие своими странами. Люди притеснялись и использовались, подвергались мучениям и преследованиям; налагались нещадные подати и применялись суровые наказания. Будда был глубоко тронут этой бесчеловечностью. В Дхаммапададтха записано, что поэтому он направил свое внимание на вопрос доброго правления. Его взгляды воспринимались как противные общественной, экономической и политической обстановке того времени. Он показал, как целая страна может стать развращенной, выродившейся и несчастной, когда главы ее правительства, то есть царь, министры и исполняющие служащие становятся развращенными и несправедливыми. Чтобы страна была счастлива, она должна иметь справедливое правительство. Как можно осуществить подобное справедливое правление, объяснено Буддой в его учении о "Десяти Обязанностях Царя" (даса-раджа-дхамма), как дается в разделе Джатака. Конечно, старое слово "Царь" (Раджа) сегодня следует заменить словом "Правительство". Поэтому

"Десять Обязанностей Царя" сегодня применимы ко всем тем, кто составляет правительство, таким как глава государства, министры, политические лидеры, законодатели и административные служащие, и т.д.

Первая из "Десяти Обязанностей Царя" – это великодушие, щедрость, милосердие (дана). Правитель не должен быть алчным и привязанным к богатству и имуществу, но должен отдавать его на благосостояние людей.

Второе: высокие нравственные качества (сила). Он никогда не должен уничтожать жизнь, обманывать, обкрадывать и использовать других, нарушать супружескую верность, провозглашать ложь и принимать опьяняющие напитки. То есть, он должен, по меньшей мере, соблюдать Пять Заповедей мирянина.

Третье: жертвуя всем на благо людей (париччага), он должен быть готов отказаться от всякого личного удобства, имени и славы, и даже своей жизни ради интересов людей.

Четвертое: честность и прямота (адджава). Он должен быть свободен от страха или благоволения при исполнении своих обязанностей, должен быть искренним в своих намерениях и не должен обманывать общественность.

Пятое: доброта и мягкость (маддава). Он должен обладать сердечным нравом.

Шестое: строгость привычек (тапа). Он должен вести простую жизнь и не должен предаваться жизни в роскоши. Он должен ограничивать себя.

Седьмое: свобода от ненависти, злобы, враждебности (аккодха). Он ни на кого не должен иметь зуб.

Восьмое: ненасилие (авихимса), которое означает, что он не только не должен причинять кому-либо вред, но что он также должен пытаться поддерживать мир, избегая и предотвращая войну и все влекущее за собой насилие и уничтожение жизни.

Девятое: терпение, понимание, терпимость (кханти). Он должен уметь переносить испытания, трудности и оскорбления, не выходя из себя.

Десятое: непротивостояние, непрепятствование (авиродха), то есть, что он не должен противиться воле народа, не должен препятствовать никаким мерам, ведущим к благосостоянию людей. Другими словами, он должен править в согласии

с народом<sup>4</sup>. Если страна управляется тем, кто наделен такими качествами, нечего и говорить, что эта страна должна быть счастлива. И это не утопия, поскольку в прошлом были цари, подобно Ашоке в Индии, которые основывали царства, исходя из этих идей.

Сегодняшний мир живет в постоянном страхе, подозрении и напряжении. Наука производит оружие невообразимой разрушительной способности. Размахивая этими новыми орудиями смерти, великие державы угрожают и бросают вызов друг другу, бесстыдно бахвалясь, что одна может причинить миру больше разрушения и несчастья, чем другая. На этом пути безумия они дошли до такой точки, что теперь, если они сделают еще один шаг в этом направлении, итогом будет ничто иное, как взаимоуничтожение совместно с полным уничтожением человечества. Человеческие существа в страхе от ими же созданного положения хотят найти выход и ищут какое-то решение. Но нет ничего, кроме того, что предложено Буддой – его послания ненасилия и мира, любви и сострадания, терпимости и понимания, истины и мудрости, почитания и заботы обо всем живом, свободы от эгоизма, ненависти и насилия. Будда говорит: "Никогда ненависть не умиротворяется ненавистью, но умиротворяется добротой. Такова вечная истина". "Следует побеждать гнев добротой, порочность добродетельностью, эгоизм великодушием, и лживость правдивостью".

Не может быть для человека счастья и мира, пока он желает и жаждет завоевать и подчинить своего соседа. Как говорит Будда: "Победитель вызывает ненависть, побежденный повержен в скорбь. Отринувший и победу, и поражение живет в счастье и мире". Единственное покорение, приносящее мир и счастье, – это покорение себя. "Один может в битве победить тысячу тысяч, но победивший себя Д лишь он один величайший из победителей". Вы скажете, что все это прекрасно, благородно и возвышенно, но непрактично. А практично ли ненавидеть друг друга? Убивать друг друга? Жить в вечном страхе и подозрении, подобно диким зверям в джунглях? Это ли более практично и удобно? Была ли когда-либо ненависть

---

<sup>4</sup> Не предполагается, что буддийские монахи, члены общины Сангхи имеют личное имущество, но им позволено иметь общественное (Сангхика) имущество.

прекращена ненавистью же? Было ли зло когда-либо злом же побеждено? Но есть примеры, по крайней мере, в случаях отдельных людей, когда ненависть умиралась любовью и добротой, а зло побеждалось добром. Вы скажете, что это может быть так, практически в случае отдельных людей, но это никогда не срабатывает в народных и международных делах. Люди усыплены, психологически запутаны, ослеплены и обмануты политическим и пропагандистским использованием таких слов, как "народный", "международный" или "государственный". Что есть народ, если не обширная совокупность отдельных личностей? Что приложимо к отдельному человеку, приложимо и к народу или государству. Если ненависть можно умирить любовью и добротой на уровне отдельной личности, то наверняка это же можно осуществить и на уровне народа или на международном уровне. Даже в случае одного человека, чтобы встретить ненависть добротой, необходимо иметь потрясающую отвагу, храбрость, убежденность и веру в нравственную силу. Разве это не в большей степени так и в отношении международных дел? Если под выражением "непрактично" вы подразумеваете "нелегко", вы правы. Определенно, это не легко. И все же надо попытаться. Вы можете сказать, что такая попытка рискованна. Но это наверняка не более рискованно, чем попытка начать ядерную войну.

Сегодня утешает и вдохновляет мысль о том, что был, по крайней мере, один великий правитель, хорошо известный в истории, который нашел мужество, доверие и видение приложить это учение о ненасилии, мире и любви к управлению обширной империей, во внутренних и внешних делах, – Ашока, великий буддийский император Индии (III век до н.э.) – "Любимый богами", как его называли. Сперва он следовал примеру своего отца (Биндусара) и деда (Чхандрагупта) и желал завершить завоевание Индийского полуострова. Он вторгся и покорила царство Калинга и присвоил его. Многие сотни тысяч были убиты, ранены, подвергнуты мучениям и захвачены в плен в этой войне. Но позднее, когда он стал буддистом, его полностью изменило и преобразовало учение Будды. В одном из своих именитых Указов, высеченных на скале, (Наскальный Указ XIII, как он сейчас называется), оригинал которого можно прочесть даже сегодня, говоря о завоевании Калинги, Император



прилюдно выражает свое "раскаяние" и говорит, как "чрезвычайно больно" было ему думать об этой бойне. Он прилюдно заявил, что ни для какого завоевания не вынет более свой меч, но что "желает всем живым существам ненасилия, самообладания, практики безмятежности и мягкости". Это, конечно, считается главным завоеванием Любимого богами (т.е. Ашоки), а именно, завоевание благочестием (дхамма-виджая). Он не только сам отрекся от войн, но и выразил желание, чтобы "мои сыны и внуки не думали о новых завоеваниях как стоящих достижения... пусть думают они лишь о том завоевании, которое есть завоевание благочестием. Это хорошо и для этого мира, и для иного". В истории человечества это единственный пример победоносного завоевателя, который, на вершине своего могущества, еще имея силы продолжать завоевание новых земель, все же отрекся от войн и насилия и обратился к миру и ненасилию. Это урок для современного мира. Правитель империи прилюдно повернулся спиной к войне и насилию и принял послание мира и ненасилия. Нет никаких исторических свидетельств, что какой-либо соседний царь воспользовался благочестием Ашоки как преимуществом для военного нападения, или что на протяжении его жизни в его империи был какой-либо бунт или восстание. Напротив, по всей земле был мир, и даже похоже, что страны за пределами его империи знали его благотворное руководство. Глупо говорить о поддержании мира через равновесие сил или угрозу ядерного сдерживания. Мощь вооружений может породить лишь страх, а не мир. Невозможно с помощью страха удерживать настоящий и длительный мир.

Из страха могут прийти только ненависть, злоба и враждебность, которые могут быть лишь на некоторое время подавлены, но готовы взорваться яростью в любое мгновение. Настоящий и истинный мир может возобладать лишь в обстановке метта, любви, дружелюбности, свободной от страха, подозрения и угрозы.

Буддизм нацелен на создание общества, отказавшегося от разрушительной борьбы за власть; где господствует мир и спокойствие вдали от побед и поражений; где решительно осуждается преследование невинных; где покоряющий себя почитается больше, чем тот, кто покоряет миллионы в военном и экономическом сражении; где ненависть побеждается добротой, а зло добром; где враждебность,

зависть, злоба и жадность не заражают умы людей; где сострадание является направляющей силой поступка; где ко всем, включая мельчайшие живые существа, относятся со справедливостью, заботой и любовью; где жизнь в мире и согласии, в мире материального благополучия, направлена к высшей и благороднейшей цели, постижению Высшей Истины, Нирваны.

**Махабхарата. Рамаяна. Серия: Библиотека всемирной литературы.**

**Букинистическое издание. Издательство: Художественная литература. Москва,**

**1974 г. Перевод с пали Б.Захарьина**

**Джатака о Согласии**

«О великосильные, вы видите теперь, что свары между близкими недопустимы, ибо в ссоре — источник гибели для всех ссорящихся».

**Библия. Книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, стереотипное издание с Библии 1968г., издание Московской Патриархии, Москва, 1983 г.**

**Книга Екклесиаста, или Проповедника**

**Глава 4**

<sup>7</sup> И обратился я и увидел еще суету под солнцем;

<sup>8</sup> человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. "Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?" И это — суета и недоброе дело!

<sup>9</sup> Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:

<sup>10</sup> ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.

<sup>11</sup> Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?

<sup>12</sup> И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется.

<sup>13</sup> Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы;

<sup>14</sup> ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным.

<sup>15</sup> Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того.

<sup>16</sup> Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это — суета и томление духа!

<sup>17</sup> Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают, что худо делают.

## **Евангелие от Матфея**

### **Глава 5**

<sup>1</sup> Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.

<sup>2</sup> И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

<sup>3</sup> Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

<sup>4</sup> Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

<sup>5</sup> Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

<sup>6</sup> Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

<sup>7</sup> Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

<sup>8</sup> Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

<sup>9</sup> Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

<sup>10</sup> Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

<sup>11</sup> Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.

<sup>21</sup> Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.

<sup>22</sup> А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.

<sup>23</sup> Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,

<sup>24</sup> оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

<sup>25</sup> Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

<sup>26</sup> истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

<sup>43</sup> Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

<sup>44</sup> А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,

<sup>45</sup> да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

<sup>46</sup> Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

<sup>47</sup> И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

<sup>48</sup> Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

## **Глава 7**

<sup>1</sup> Не судите, да не судимы будете,

<sup>2</sup> ибо каким судом судите, *таким* будете судимы; и какою мерою мерите, *такою* и вам будут мерить.

<sup>3</sup> И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?

<sup>4</sup> Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе бревно?

## Евангелие от Луки

### Глава 6

<sup>27</sup> Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас,

<sup>28</sup> благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас.

<sup>29</sup> Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку.

<sup>30</sup> Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад.

<sup>31</sup> И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.

<sup>32</sup> И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.

<sup>33</sup> И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают.

<sup>34</sup> И если займы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? ибо и грешники дают займы грешникам, чтобы получить обратно столько же.

<sup>35</sup> Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым.

<sup>36</sup> Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд.

<sup>37</sup> Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете;

<sup>38</sup> давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

<sup>39</sup> Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?

<sup>40</sup> Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.

<sup>41</sup> Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь?

<sup>42</sup> Или, как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоём глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

<sup>43</sup> Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый,

<sup>44</sup> ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника.

<sup>45</sup> Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.

### **От Матфея. Глава 27**

<sup>23</sup> Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев Иоппийских пошли с ним.

<sup>24</sup> В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей.

<sup>25</sup> Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его.

<sup>26</sup> Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек.

<sup>27</sup> И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел многих собравшихся.

<sup>28</sup> И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым.

<sup>29</sup> Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно...

### **К Римлянам. Глава 12**

<sup>3</sup> По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте *о себе* более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил.

<sup>4</sup> Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело,

<sup>5</sup> так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.

<sup>6</sup> И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, *то, имеешь ли* пророчество, *пророчествуй* по мере веры;

<sup>7</sup> *имеешь ли* служение, *пребывай* в служении; учитель ли, — в учении;

<sup>8</sup> увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, *раздавай* в простоте; начальник ли, *начальствуй* с усердием; благотворитель ли, *благотвори* с радушием.

<sup>9</sup> Любовь *да будет* непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

<sup>10</sup> будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте;

<sup>11</sup> в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;

<sup>12</sup> утешайтесь надеждою; в скорби *будьте* терпеливы, в молитве постоянны;

<sup>13</sup> в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

<sup>14</sup> Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинаяте.

<sup>15</sup> Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

<sup>16</sup> Будьте единомысленны между собою; не высокоумствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе;

<sup>17</sup> никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками.

<sup>18</sup> Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

<sup>19</sup> Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу *Божью*. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь.

<sup>20</sup> Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.

<sup>21</sup> Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

**Дж.Локк. Опыт веротерпимости. 1667. Локк Дж. Сочинения в трех томах: Т. 3.— М.: Мысль, 1988.— 668 с.— (Филос. Наследие. Т.103).- С.66-90.**

Главная причина, из-за которой вопрос о свободе совести, вот уже несколько лет вызывающий среди нас многочисленные толки, становится все запутанней, из-за которой не стихают споры и усиливается вражда, состоит, как мне кажется, в том, что обе стороны: одна, проповедующая полную покорность, другая, отстаивающая всеобщую свободу в делах совести, – одинаково горячо и ошибочно предъявляют слишком большие требования, но не определяют того, что имеет право на свободу, и не указывают границ произвола и покорности.

Чтобы открыть путь к пониманию этого вопроса, я в качестве основания положу следующий тезис, который, как я думаю, не подвергнется сомнению или отрицанию. Правитель облачается всей полнотой доверия, власти и полномочий единственно для того, чтобы употребить их для блага, охранения и спокойствия людей в том обществе, над которым он поставлен, и потому одно это есть и должно быть образцом и мерилom, по которому ему надобно равнять и размерять свои законы, строить и созидать свое правление. Ведь если бы люди могли мирно и тихо жить вместе, не объединяясь под властью определенных законов и не образуя государства, то не было бы никакой необходимости ни в правителях, ни в политике, которые созданы лишь для того, чтобы в этом мире охранять одних людей от обмана и насилия других; итак, только цель, ради которой возведено правительство, и должна быть мерилom его деятельности.

Некоторые говорят нам, будто монархия – это *jure divmo*<sup>1</sup>. Сейчас я не стану спорить с этим мнением, а лишь укажу отстаивающим его: если под этим они понимают, а так, надо полагать, и есть, что единая, верховная, произвольная власть и управление всеми делами по божественному праву сосредоточиваются, и должны быть сосредоточены, в одном человеке, то это наводит на подозрение, что они забывают, в какой стране рождены и по каким законам живут, и, конечно, поневоле обязаны объявить Великую хартию<sup>2</sup> сущей ересью. Если же под монархией, согласно *jure divmo*, они понимают не абсолютную, а ограниченную монархию (что, как я думаю, есть нелепость, если не противоречие), то им следует или показать нам ту



небесную хартию, где мы бы прочли, что Бог предоставил правителю власть делать все, что угодно, кроме единственно необходимого для охранения и благополучия Его подданных в этой жизни, или же оставить нас свободными думать как заблагорассудится; ведь никто не связан с властью и не может допустить чужих притязаний на нее в большей мере, чем насколько простираются его права.

Другие утверждают, что власть и полномочия достаются правителю с разрешения и согласия народа; таким я говорю: невозможно предположить, чтобы люди могли дать над собой власть одному или нескольким из своих собратьев для какой-нибудь иной цели, кроме своего охранения, или распространить границы их полномочий за пределы этой жизни.

Приняв за посылку, что правитель должен предпринимать действия или вмешиваться во что-либо только ради обеспечения гражданского мира и охранения собственности своих подданных, давайте в дальнейшем рассмотрим мнения и поступки (action) людей, которые по отношению к терпимости подразделяются на три разновидности.

Во-первых, все такие мнения и поступки, которые сами по себе не касаются государства и общества; а такими являются спекулятивные мнения и вера в Бога.

Во-вторых, такие, которые по своей собственной природе не хороши и не плохи, но касаются общества и отношений людей друг с другом; а таковыми являются все практические мнения и поступки по отношению к безразличным вещам.

В-третьих, такие, которые касаются общества, но в то же время по своей природе хороши или плохи; таковыми являются нравственные добродетели и пороки.

I. Я утверждаю, что только первая разновидность, а именно: спекулятивные мнения и вера в Бога, имеет абсолютное и всеобъемлющее право на терпимость.

Во-первых, чисто спекулятивные мнения суть такие, как вера в Троицу, чистилище, перевоплощение, антиподы, царствие Христово на земле и т.д.; а что всякий человек располагает в этом случае неограниченной свободой вытекает из того, что чистые спекуляции не затрагивают моих отношений с другими людьми и не

имеют влияния на мои действия как члена какого-либо общества, но, оставаясь неизменными со всеми своими последствиями, – даже если на свете нет никого другого, кроме меня, – они никоим образом не могут нарушить мир государства или доставить неудобство моему ближнему и потому не входят в введение правителя. Кроме того, ни один человек не в состоянии дать власть другому человеку (и было бы бессмысленно, если бы ее дал Бог) над тем, над чем сам он никакой власти не имеет. А что человек не в состоянии повелевать своим собственным разумением или положительно определить сегодня, какого мнения он будет завтра, с очевидностью явствует из опыта и природы разума, которое не может постигнуть вещи иначе, чем они ему представляются, как глаз видит в радуге только те цвета, какие видит, независимо от того, там ли они на самом деле или нет.

Во-вторых, справедливое притязание на неограниченную терпимость имеют место, время и способ моего поклонения Богу, потому что сие происходит всецело между Господом и мной и, принадлежа попечению вечности, выходит за пределы досягаемости и воздействия политики и правительства, которые существуют только ради моего благополучия в этом мире: ибо правитель – это лишь посредник между человеком и человеком; он может отстоять меня от ближнего, но не может защитить от Бога. Сколько бы зла я ни терпел, повинаясь правителю в других делах, он может возместить причиненное мне зло на этом свете; но, приневолив меня следовать чужой вере, он не способен возполнить мне ущерба в мире ином. К этому позвольте добавить, что даже в делах этого мира, на которые распространяется власть правителя, он никогда не предписывает людям – и было бы несправедливо, если бы он поступал иначе, – посвящать себя частным гражданским заботам и не заставляет их отдаваться своим частным интересам больше, чем это необходимо для блага общества, и лишь предохраняет их от того, чтобы они не терпели в этих делах препон и вреда от других; а это и есть самая совершенная терпимость. Поэтому мы вполне можем полагать, что он не имеет никакого отношения к моему частному интересу в ином мире и не должен ни предписывать, каким способом мне преследовать благо, которое заботит меня куда больше, нежели все, что находится в его власти, ни требовать в этом усердия, поскольку он не наделен более точным или

более безошибочным знанием того, как его достичь, чем я сам, и в этом мы оба одинаково искатели, оба одинаково подданные, и он не в состоянии ни поручиться, что я не потерплю неудачу, ни возместить мне ущерб, коли это случится. Разумно ли, чтобы тот, кто не может принудить меня купить дом, заставлял меня на свой лад стараться о приобретении царства небесного; чтобы тот, кто по праву не может предписать мне правил сохранения здоровья, навязывал мне способы спасения души; чтобы тот, кто не может . выбрать для меня жены, выбирал веру. Но случись Богу (что сомнительно) захотеть, чтобы людей силком приваживали к небесам, правителю должно осуществлять это не внешним насилием над телами людей, а внутренним натиском своего духа на их умы, на которые не следует воздействовать ни одним из видов принуждения, известных человеку: ведь путь к спасению – это не какая-то внешняя вынужденная деятельность, но добровольный и тайный выбор ума. Впрочем, нельзя и поверить, что Бог скорее не отказался бы от цели, чем стал бы пользоваться средствами, которыми ее нельзя достигнуть. Кроме того, не надо думать, что люди должны предоставлять правителю власть выбирать за них путь к спасению, – власть слишком большую, чтобы ее отдавали, а то и вовсе не подлежащую передаче; ибо, какое бы правитель ни насаждал богопочитание, люди непременно должны следовать тому, что сами считают за лучшее, поскольку ничто не может быть достаточной причиной, чтобы принуждать человека к тому или отвращать от того, что, по его полному убеждению, есть путь к бесконечному блаженству или бесконечному страданию. Богослужение, будучи данью почтения Богу, которому я, по моему мнению, поклоняюсь угодным ему образом, и таким образом будучи действием или общением, происходящим только между Богом и мною, по собственной природе вовсе не касается ни моего правителя, ни моего ближнего и посему поневоле не производит действий, возмущающих покой общества. Ибо, стою ли я на коленях или сижу, принимая причастие, само по себе возмущает правительство или вредит моему ближнему не больше, чем стою ли я или сижу за своим столом; обычай носить в церкви ризу или стихарь способен создать опасность и угрозу миру государства не больше, чем обыкновение надевать накидку или плащ, отправляясь на рынок; перекрещение производит в государстве не

большую бурю, чем в реке или чем в них произвело бы простое купание. Соблюдаю ли я пятницу с магометанином, субботу с иудеем, воскресенье с христианином, молюсь ли я по форме или нет, поклоняюсь ли я Богу, участвуя в разнообразных и пышных церемониях католиков или соблюдая более скромные обряды кальвинистов, — во всех этих поступках, когда они совершаются искренне и по совести, я не усматриваю ничего, что само по себе может сделать меня худшим подданным моего государя или худшим ближним моему собрату-подданному, если только из гордыни или тщеславного упоения собственным мнением и тайной убежденности в собственной непогрешимости, я, присвоив себе нечто сродни божественной власти, не стану приневоливать других думать заодно со мной или же порицать либо злословить их, если они не подчинятся. Такое в самом деле случается часто; но это вина не веры, а людей, не следствие той или иной формы вероисповедания, а результат развращенной, честолюбивой человеческой природы, которая последовательно употребляет в корысть себе всевозможные проявления набожности, подобно тому как для Ахава соблюдение поста было не самоцелью, а средством и уловкой, чтобы отобрать виноградник в Навуфея<sup>3</sup>. Такие поступки некоторых верующих подрывают уважение в какой-либо религии (или подобное случается в каждой из них) не больше, чем Ахавов грабеж — уважение к посту.

Из этих посылок, как я полагаю, следует, что каждый человек имеет полную и неограниченную свободу мнений и вероисповедания, которой он может невозбранно пользоваться без приказа — или вопреки приказу — правителя, не зная за собой вины или греха, но всегда при условии, что делает это чистосердечно и по совести перед Богом, сколько дозволяют его знания и убеждения. Однако если к тому, что он называет совестью, примешивается сколько-нибудь честолюбия, гордыни, мстительности, партийных интересов или чего-либо подобного, то соразмерно сему будет и его вина, и в такой мере он ответит в Судный день.

II. Я утверждаю, что все практические начала, или мнения, с помощью которых люди считают себя обязанными упорядочивать отношения друг с другом, такие, как, например, что они могут рожать детей или распоряжаться имуществом по своему усмотрению, что они могут работать или отдыхать, когда найдут нужным, что

полигамия и развод законны или незаконны и т.д., что такие мнения и вытекающие из них действия (action), равно как и прочие безразличные вещи, также имеют право на терпимость, однако лишь в той степени, в какой они не ведут к беспорядкам в государстве и не приносят обществу больше вреда, чем пользы. Ибо, за исключением тех из них, которые явно направлены на разрушение человеческого общества, все эти мнения являются либо безразличными, либо неясно какими, и притом правитель и подданный, каждый по-своему, грешат ими, а потому первый должен вникать в них лишь настолько, насколько его законы и вмешательство в такие мнения могут способствовать благополучию и безопасности народа. Однако ни одно из таких мнений не имеет права на терпимость на том основании, что оно якобы есть дело совести, и кто-то убежден, будто придерживаться его либо грех, либо долг; ведь совесть или убежденность подданного едва ли может быть мерилom, по которому правитель может или должен отмерять законы, каковые должны соответствовать благу всех его подданных, а не убеждениям их части, ибо, зачастую находясь в противоречии одно с другим, они необходимо порождали бы противоречивые законы; а поскольку ничего безразличного, на что не посовестился бы посягнуть тот или иной, просто нет, терпимость к людям во всем, чему они, как они утверждают, по совести не могут покориться, приведет к исчезновению всех гражданских законов и всякой власти правителя, так что если будете отрицать полномочия правителя по отношению к безразличным вещам, над которыми он, как признано всеми сторонами, обладает юрисдикцией, то останетесь без закона и правительства. А поэтому заблуждения, угрызения совести, побуждающие человека совершить некое деяние или, наоборот, в силу которых он не решается на него, не разрушают власти правителя и не изменяют природы вещи, которая по-прежнему остается безразличной; ибо здесь я не поколеблюсь назвать все эти практические мнения безразличными по отношению к законодателю, хотя, возможно, они и не таковы сами по себе. Ведь, сколько бы ни был правитель внутренне убежден в разумности или нелепости, необходимости или незаконности любого из них, в чем он, возможно, и прав, он, не признавая себя непогрешимым, при создании законов должен смотреть на них не иначе как на безразличные вещи, с той лишь разницей, что насаждаемы ли,

терпимы ли или запрещаемы, они всегда затрагивают благо и благосостояние народа, хотя бы одновременно он был обязан строго подчинять свои действия велениям собственной совести и убеждениям в тех же самых мнениях. Ибо, сделавшись правителем над другими, но не став от этого по отношению к ним непогрешимым, он отныне и впредь как человек будет ответствен за свои действия перед Богом по тому, как они согласуются с его собственными совестью и убеждениями; однако как правитель он будет ответствен за свои законы и управление по тому, служат ли они сколько возможно благу, охранению и спокойствию всех его подданных в этом мире; это составляет правило столь верное и столь ясное, что он едва ли способен в нем ошибиться, если только не делает это намеренно.

Но прежде чем я перейду к показу пределов ограничения и свободы в этих вещах, необходимо определить несколько степеней принуждения, которые применяются или могут быть применены в том, что касается мнений:

- (1) запрещение опубликовать или огласить мнение;
- (2) принудительный отказ или отречение от мнения;
- (3) вынужденное заявление согласия с противоположным мнением.

Им соответствуют одинаковые степени терпимости, из чего я заключаю:

1. Правитель может запретить опубликование любого из тех мнений, которые направлены на подрыв власти правительства, ибо тогда они подпадают под его ведение и юрисдикцию.

2. Никого не следует заставлять отказаться от своего мнения или сменить его на противоположное, потому что на деле такое насилие не достигает цели, ради которой его применили. Оно не может изменить образа мыслей людей и способно лишь сделать их лицемерами. На этом пути правитель весьма далек от того, чтобы люди прониклись правотой его мнения, и лишь вынуждает их лгать ради их собственного. Мало того, такое принуждение вовсе не способствует спокойствию или безопасности правительства; скорее наоборот, потому что тот, кто ему подвергся, ни на йоту не приближается к образу мыслей правителя, но становится еще большим его врагом.

3. Любые действия, вытекающие из любого такого мнения, как и по отношению ко всем другим безразличным вещам, правитель властен утвердить или запретить законом в зависимости от того, насколько они направлены на поддержание спокойствия, целостности или безопасности народа, и, хотя судить об этом только ему, он должен с величайшей заботой следить, чтобы единственной причиной принятия таких законов и наложения ограничений были соображения государственной необходимости и благополучия народа, и, пожалуй, для правителя недостаточно просто считать, что принуждения и суровость необходимы или удобны, если его уверенность не подкрепляется серьезным и беспристрастным исследованием, так ли оно на самом деле. Но случись правителю издать неверные законы, а подданному им не подчиниться, то убежденность первого послужит ему оправданием не в большей степени, чем для второго будут извинением его совесть или убежденность, раз уж, рассмотрев и исследовав предмет, и тот и другой могли составить о нем лучшее суждение. И я думаю, все легко согласятся, что создание законов в иных целях, кроме обеспечения безопасности правительства и защиты жизни, имущества и свобод народа, т.е. сохранения целостности, заслужит наисуровейший приговор на великом судилище не только потому, что злоупотребление властью и доверием, которыми обладает законодатель, наносит человечеству, для чьего блага единственно и учреждены правительства, более сильный и непоправимый вред, чем что-либо еще, но также потому, что здесь он не подотчетен никакому суду; да и не способен правитель разгневать высшего охранителя человечества сильнее, чем тогда, когда власть, данную ему только для защиты, насколько это осуществимо, всех его подданных и каждого из них в отдельности, он употребляет на потворство своим удовольствиям, тщеславию или страсти и использует ее, чтобы беспокоить и угнетать таких же людей, как он сам, хотя перед лицом царя царей между ними и им существует лишь малая и несущественная разница.

Если этими мнениями или законами и принуждением правитель попытается ограничить свободу людей или приневолить к тому, что противно искренним убеждениям их совести, они должны делать то, что требует от них совесть,

насколько могут без насилия, но притом одновременно обязаны спокойно подчиниться наказанию, какое закон налагает за подобное неповиновение, так как посредством этого они обеспечивают себе благодать на том свете и не нарушают спокойствия этого мира, не согрешают против верности Богу и королю, но обоим отдают должное, ибо и правитель, и они сами одинаково заинтересованы в своей собственной безопасности. И воистину лицемер тот, – а лишь прикидывается совестливым, тогда как метит в этом мире во что-либо иное, – кто по велению совести, но также покоряясь закону не купит рая для себя и мира для своей страны, пусть даже ценой имущества, свободы или самой жизни. Здесь частное лицо, равно как правитель в первом случае, также должно весьма поостеречься, дабы совесть или мнение не подвели его, побудив к упрямому преследованию того, что он считает необходимым, или к бегству от того, что он считает незаконным, тогда как по правде это таковым не является, а то как бы в силу подобной ошибки или каприза им за равное неповиновение не понести наказания и в этом и в ином мире; ведь если свобода совести есть великая привилегия подданного, а право принуждения – великая прерогатива правителя, за ними нужен тем более пристальный надзор, чтобы они не сбили с толку ни правителя, ни подданного присущими им претензиями на общее благо, ибо особо опасны, требуют, чтобы их избегали с особым тщанием, и будут особо сурово наказаны Богом те несправедливости, которые совершаются в благовидных целях и с видимостью правды.

III. Я утверждаю, что помимо двух первых есть третья разновидность действий, которые сами по себе считаются хорошими или плохими, а именно – обязанности второй таблицы или их нарушения. т.е. нравственные добродетели философов. Хотя они образуют живую. действенную часть религии, имеющую к тому же весьма сильное влияние на совесть людей, я нахожу, что они лишь в малой степени являются предметом споров о свободе совести. Не знаю, может быть. если бы люди больше стремились к оным добродетелям, то они бы меньше препирались о свободе совести. Достоверно лишь, что сочувствие добродетели есть столь необходимая опора государству, а попустительство некоторым порокам приводит общество к столь верным потрясениям и гибели, что свет еще не знал, и



сомнительно, узнает ли, правителя, который законом утвердил бы порок или запретил бы отправление добродетели, которая достаточно прочно утверждает себя повсюду своей собственной властью в силу пользы, приносимой ею всем правительствам. Однако, какими бы странными ни показались мои слова, да позволено мне будет сказать, что(законодатель не имеет никакого дела с нравственными добродетелями и пороками и не должен настаивать на выполнении обязанностей второй таблицы, за исключением случаев, когда они подчинены благу и охранению человечества под властью правительства. Ибо будь общества способны прожить, а люди – наслаждаться миром и безопасностью без того, чтобы эти обязанности вменялись велениями и карами закона, то законодателю безусловно не пришлось бы предписывать их какими-либо правилами, так как он мог бы оставить исполнение этих обязанностей целиком на волю и совесть своего народа. Ведь если бы можно было устранить связи, которыми даже этих нравственные добродетели и пороки соединены с общественным благом, и сделать так, чтобы они перестали быть средством устройства или расстройства мира и имущества людей, они превратились бы только в частное и надполитическое взаимоотношение между Богом и душой человека, в которое правитель не полномочен вторгаться. Бог назначил правителя своим наместником в этом мире и предоставил ему распорядительную власть; но, подобно прочим заместителям, он может распоряжаться лишь делами своего наместничества. Всякий, кто вмешивается в заботы того света, не имеет иных полномочий, кроме как просить и убеждать.

Правитель не имеет ничего общего с благом человеческих душ или с заботами людей в иной жизни, но возведен в сан и облечен властью только для того, чтобы люди спокойно и удобно жили друг с другом в обществе, чему уже приведено достаточно доказательств. Кроме того, очевидно, что правитель распоряжается отпращиванием добродетелей не потому, что они добродетели и обязывают совесть или составляют долг человека перед Богом и путь к Его милости и благоволению, но потому, что они придают достоинство человеческому общению, а большинство из них – суть прочные узы и скрепы общества, которые нельзя ослабить, не поколебав всего строения. Правитель никогда не обнажает меча против некоторых пороков,

которые не особенно вредят государству и все же являются пороками и должны быть признаны таковыми наравне с прочими, как, например, алчность, непослушание родителям, неблагодарность, злоба, мстительность и некоторые другие; хотя нельзя сказать и того, чтобы их оставляли без внимания из-за невозможности распознать, уж коли самые потаенные из них, мстительность и злой умысел, различаются в юриспруденции как непредумышленное и умышленное убийство. Более того, даже на благотворительность, которая безусловно является великим долгом всякого человека и христианина, общепризнанное право на терпимость распространяется пока еще не во всю свою ширь, так как существуют некоторые ее разновидности и проявления, каковые правитель безоговорочно воспрещает, не нанося этим, насколько мне доводилось слышать, ни малейшей обиды людям с самой чувствительной совестью. Ибо кто сомневается, что облегчить милостыней участь бедных, хотя бы и нищенствующих (если видишь, что они нуждаются), есть, если оценивать это безотносительно к чему-либо иному, добродетель и долг каждого отдельного человека. Однако среди нас это запрещено законом под страхом сурового наказания, и в данном случае никто не жалуется на насилие над совестью или на утрату свободы, что, конечно, будь сие незаконным стеснением совести, не прошло бы незамеченным столькими чувствительными и щепетильными людьми. Порою Бог (столь велико его попечение о сохранении правительства) допускает до того, чтобы Его законы в некоей степени подчинялись и соответствовали человеческим: Его закон воспрещает порок, а человеческий закон часто определяет для него допустимую меру. Существовали государства, где воровство почиталось законным для тех, кого не хватало с поличным. Так, в Спарте покража лошади была, пожалуй, таким же безвинным поступком, как в Англии победа на скачках. Ибо правитель, обладая властью передавать собственность одного человека другому, может устанавливать любые законы всеобщие, одинаковые для всех, и ненасильственные, и приспособленные к интересам и благополучию данного общества, как то было у спартанцев, которые, будучи воинственным народом, полагали, что совсем не дурно таким образом прививать гражданам бдительность, отвагу и предприимчивость. Это я отмечаю лишь между прочим, чтобы показать, насколько благо государства

является мерилом всех человеческих законов, коль скоро оно, по-видимому, ограничивает и переиначивает обязательность даже некоторых Божьих законов и изменяет природу порока и добродетели. Посему правитель, который мог сделать прощительным воровство, все же не мог бы сделать законными клятвопреступление или измену, поскольку они разрушительны для человеческого общества.

Поэтому из того, что правитель имеет власть над добрыми и дурными действиями, как я думаю, вытекает:

(1) что он не обязан наказывать все пороки, т.е. может терпеть некоторые из них (и хотел бы я знать, какое правительство в мире не поступает так же?);

(2) что он не должен внедрять в общество какой-либо порок, потому что такое деяние не может способствовать благу народа или сохранению правительства;

(3) что если все-таки допустить, что он отдал распоряжение следовать какому-либо пороку, то совестливый и уязвленный подданный обязан не подчиниться его предписаниям и покориться наказанию, как в предыдущем случае.

Таковы, как я полагаю, границы принуждения и свободы, и таковы три разновидности положений, в какие вовлечена совесть людей, -положений, имеющих право ровно на такую степень терпимости, как я установил, и не больше, если рассматривать их по отдельности и абстрактно. Тем не менее существуют два случая, или обстоятельства, которые при тех же условиях могут изменить обращение правителя с людьми, которые требуют для себя права на терпимость.

1. Поскольку обычно люди принимают свое вероисповедание в целом и усваивают мнения своей партии все сразу, оптом, часто бывает, что к их религиозным воззрениям и спекулятивным мнениям примешиваются другие учения, совершенно разрушительные для общества, в котором они живут, как о том свидетельствует пример католиков, кои являются подданными любого государя, кроме папы. Поэтому, коль скоро они объединяют со своим вероучением такие мнения, почитают их за основополагающие истины и повинуются им как догматам своей веры, правитель не должен быть терпимым к их религии, если он не может быть уверен, что в состоянии разрешить одно, не допуская распространения другого,

и что насаждение этих мнений можно отделить от их богослужения, а этого, как я полагаю, достигнуть весьма трудно.

2. Поскольку дело поверяется опытом и не все люди – святые, живущие по совести, думаю, что не задену ни одну сторону, сказав, что большинство людей или по крайности партий, когда они достаточно сильны, худо ли, добро ли, употребляют свою силу для того, чтобы нажиться и встать у власти, и мало кто из имеющих возможность присвоить и удерживать верховенство, пропускает случай за него ухватиться. Поэтому, когда люди сбиваются в группы, отмеченные чертами отличия от остального общества и объединяющие их в более тесный союз с теми, кто принадлежит к их собственному вероисповеданию и партии, нежели с другими их собратьями-подданными, – будет ли это отличие, безразлично, религиозное это отличие или вздорное, разве что узы религии крепче, а притязания справедливее и она лучше способна привлекать приверженцев, а потому тем более следует ее остерегаться и тем более необходимо за ней надзирать, – когда, говорю я, такая обособленная партия столь выросла или вырастает числом, что начинает казаться правителю опасной и уже зримо угрожает миру государства, правитель может и должен использовать все средства, будь то политика или власть, чтобы сократить, раздобрить и подавить партию и так предотвратить неурядицу. Ибо, даже если эти люди обособятся ни для чего иного, кроме поклонения Богу, а правитель в качестве крайней меры вынужден будет применить силу и жестокость против тех, чей проступок состоял лишь в том, что они поклонялись Богу на свой собственный лад, разве и тогда он подвергнет их веру гонениям, а их самих наказаниям большим, нежели завоеватель, который в сражении убивает людей не за то, что они носят белую ленту на шляпе или иной знак на одежде, а потому, что оные изобличают в них врагов и опасных лиц. Религия, т.е. то или иное вероисповедание, составляет причину их объединения и сговора, а не раскольников и бесчинства. Ведь само по себе то, что люди творят молитву в той или иной позе, побуждает их к обособлению или к вражде друг с другом не более, чем ношение шляп или тюрбанов, и вряд ли заслуживает к себе иного отношения. Тем не менее и то и другое способны толкнуть их на это, ибо, будучи чертой отличия, дают им возможность счесть свои силы,

осознать мощь, почувствовать уверенность друг в друге и объединиться при первом же удобном случае. Поэтому их обуздывают не за то, что они держатся того или иного мнения или верования, но потому, что было бы опасно иметь такое число инакомыслящих, какому бы мнению они ни следовали. Нечто подобное случилось бы и тогда, когда мода на одежду, отличную от той, какую носят правитель и его приверженцы, распространилась бы среди весьма значительной части народа и стала бы ее отличительной чертой, вследствие чего люди, ее составляющие, вступили бы друг с другом в тесные и дружеские отношения. Разве не дало бы это правителю повод для подозрений и не заставило бы его карами запретить моду не потому, что она противозаконна, но по причине опасности, какую она может представлять? Так, мирской плащ может произвести такое же действие, что и церковная сутана или любая другая религиозная одежда.

Возможно, будь квакеры достаточно многочисленны, чтобы представлять опасность для государства, они заслуживали бы попечения и надзора со стороны правителя, которому следовало бы подавить их общину, даже отлучаясь от прочих подданных только тем, что остаются с покрытой головой, а тем более если бы имели сложившееся вероисповедание, отличное от государственного. В этом случае никто бы и не подумал, что правитель обрушил свою суровость против обычая стоять в шляпе, тогда как она направлена против того, что он объединяет большое число людей, которые, хотя они и расходятся с ним в весьма безразличной и пустяковой подробности, все же могли бы тем самым подвергнуть опасности правительство; а в таком случае он может попытаться подавить, ослабить или распустить любую партию, объединенную вероисповеданием или чем угодно еще и явно опасную для его правительства, используя при этом все те средства, каковые окажутся наиболее удобными для сей цели, чему он сам есть судья, и не будет отвечать в ином мире за то, что открыто в меру своего разума делает для охранения и спокойствия своего народа.

Здесь я не стану обсуждать, будут ли сила и принуждение верным средством к достижению этой цели, но смею утверждать, что оно есть наихудшее и употреблять

его следует в последнюю очередь и с величайшей осторожностью, и вот по каким причинам:

1. Потому что оно навлекает на человека то, от чего он ищет освобождения и того ради только и состоит членом государства, а именно насилие. Ибо, не будь страха перед насилием, на свете не было бы ни правительств, ни нужды в них.

2. Потому что, применяя силу, правитель частично перечеркивает то, ради чего он призван трудиться, а именно всеобщую безопасность. Поскольку его долгом является сколь можно прилежное охранение собственности, спокойствия и жизни каждого индивидуума, он обязан не тревожить или уничтожать некоторых ради спокойствия и безопасности остальных, пока не дознано, есть ли способы спасти всех. Ибо, сколько-нибудь подрывая или нарушая безопасность любого из своих подданных ради защиты остальных, он ровно настолько же вступает в противоречие со своим же объявленным наперед намерением, в каковое должна входить только охрана людей, на что имеют право даже самые ничтожные. Ведь отнять даже такую малость, как нарвавший, пусть и угрожающий гангреной, палец ноги, будет немилосердным, равно как и неумелым, способом лечения, которым никто не стал бы, да и не согласился бы, пользоваться, пока не выяснится непригодность более щадящих средств, хотя этот член находится у самой земли и весьма далек от головы. Как мне видится, на это могут сделать лишь одно возражение, а именно, что применяя более щадящие, т.е. медленные, средства, вы, может статься, упускаете возможность добиться цели, каковую вам доставило бы своевременное использование сильных средств, тогда как при вашем медлительном лечении болезнь разрастается, секта усиливается, поднимает голову и становится господином положения. На это я отвечу, что партии и секты растут медленно и постепенно, переживают пору младенчества и слабости, равно как пору полного расцвета и силы, и становятся грозными не вдруг, но оставляют достаточно времени для опытов с лекарствами иного рода, а такая отсрочка не создает опасности. Впрочем, случись правителю, паче чаяния, обнаружить, что инакомыслящие столь многочисленны, что в состоянии совладать с ним, то я не вижу, чего он может добиться силой и суровостью, когда тем самым он дает им благовидный повод стакнуться, взяться за

оружие и тем крепче объединиться против него. Но этот предмет, отчасти граничащий с той частью вопроса, которая касается скорее интересов правителя, нежели его долга, я рассмотрю в более подходящем месте.

До сих пор я лишь очертил пределы, поставленные Богом власти правителя и покорности подданного, которые сами являются подданными великого царя царей и одинаково должны Ему повиноваться, а Он ожидает от них выполнения обязанностей, возлагаемых на обоих их местом и положением в обществе, совокупность же таковых следующая:

(1) существуют некоторые мнения и действия, кои полностью отделены от попечении государства и не оказывают прямого воздействия на жизнь людей в обществе, – ими являются все спекулятивные мнения и богопочитание; они явно имеют право на всеобщую терпимость, на которое не должен покушаться правитель;

(2) существуют некоторые мнения и действия, которые при естественном ходе вещей грозят человеческому обществу полным разрушением, как то мнение, что можно нарушить обещание, данное еретикам, что если правитель не реформирует веру, то это могут сделать подданные, что всякий обязан излагать и распространять любое мнение, в какое верит сам, и т.п., а среди действий всевозможные надувательства, несправедливости и т.д.; и все это правитель не должен терпеть ни под каким видом;

(3) существует третий род мнений и действий, которые сами по себе не приносят человеческому обществу ни вреда, ни пользы, и лишь характер государства и положение дел могут изменять их воздействие в добрую или дурную сторону – таковы, например, мнения о том, что полигамия законна или незаконна, что в определенное время года следует есть мясо или рыбу или, наоборот, воздерживаться от них, и другие подобные практические мнения и все действия, касающиеся безразличных вещей, все они имеют право на терпимость только до тех пор, пока не посягают на пользу общественности или каким-либо образом не досаждают правительству.

Пока довольно о терпимости в ее отношении к долгу правителя. Показав, что он обязан делать по совести, будет нелишним вкратце рассмотреть, что ему следует делать из благоразумия.

Однако, поскольку обязанности людей содержатся в общеустановленных правилах, когда как их благоразумие отлаживается обстоятельствами, касающимися их, в частности, при рассмотрении того, насколько терпимость входит в интересы правителя, будет необходимо перейти к частностям.

Поэтому, чтобы обозреть нынешнее состояние Англии, выделим только один вопрос, а именно: терпимость или принуждение представляют собой наиболее подходящее средство для обеспечения безопасности и мира и для роста благосостояния королевства?

Что касается обеспечения вашей безопасности и мира, то существует только одно средство, а именно, чтобы ваши сторонники внутри страны были многочисленны и деятельны, а враги малочисленны и презренны или, по крайней мере, чтобы из-за различия в их численности нападки на вас были для недовольных делом весьма опасным и трудным.

Что касается роста благосостояния королевства, каковое складывается из богатства и власти, то к нему самым непосредственным образом приводят многочисленность и трудолюбие ваших подданных.

Нельзя хорошо понять, какое влияние оказывает на все это терпимость, если не рассмотреть те различные группировки, которые существуют ныне у нас, — они же вполне охватываются двумя, а именно папистами и фанатиками.

Что касается папистов, то, наверное, известно, что не должно терпеть распространения их опасных мнений, которые грозят полным разрушением всем правительствам, кроме папского; правитель, чтобы пресечь их мнения, обязан приструнить сколь надобно всякого, кто устно или в печати станет проповедовать какое-либо из них. И это правило распространяется не только на папистов, но также на любых других людей, живущих среди нас, ибо подобная мера несколько помешает пропаганде таких учений, каковые всегда сулят дурные последствия и,



подобно змеям, никогда не поддадутся на доброе обращение и не забудут про свой яд.

Паписты не должны пользоваться благом терпимости, потому что там, где они владеют властью, они считают своей обязанностью отрицать ее за другими. Ведь неразумно разрешить свободное отправление веры всякому, кто не признает за основополагающее начало, что никому не позволено преследовать и угнетать другого из-за того, что он расходится с ним в вере. И раз уж правитель постановил, что терпимость есть то основание, на котором зиждутся мир и спокойствие его народа, то, простирая терпимость на всякого, кто пользуется благом сей снисходительности и в то же время осуждает ее как незаконную, он лишь вскармливает тех, которые почитают своим долгом досаждать его правительству, едва почувствуют себя в силе.

Поскольку ни снисходительностью, ни суровостью невозможно превратить папистов, покуда они остаются таковыми, в сторонников вашего правительства, ибо они враждебны ему как по своим принципам, так и по своим интересам, и потому должно рассматривать их как непримиримых врагов, в чьей верности вы никогда не можете быть уверены, пока они обязаны слепо повиноваться непогрешимому папе, который носит на поясе ключи от их совести и может при случае разрешить их от всех клятв, обещаний и обязанностей по отношению к государю, особенно если тот еретик, и вооружить их на волнения против правительства, то я думаю, они не должны пользоваться благом терпимости. Потому что в отличие от пресечения терпимость не поможет сократить их численность или хотя бы сдержать ее рост, как это обычно бывает с последователями всех других мнений, которые от преследований лишь крепнут и умножаются и в силу невзгод, выпадающих на их долю, предстают в привлекательном свете перед посторонними, ибо люди всегда рады сострадать мученикам; религию, способную устоять перед гонением, почитать безвинной, а исповедующих ее – чистосердечными. Однако я думаю, что это далеко не так в случае с католиками, которые менее других умеют возбуждать жалость, потому что получают только такое обхождение, какое, сколь известно, заслуживает жестокость их собственных принципов и поступков. Большинство людей считают,

что суровости, на которые они сетуют, суть справедливое наказание, заслуженное ими как врагами государства, а не преследование людей, беззаветно преданных своей вере, и это на самом деле так; к тому же никто не подумает, будто те, кто одновременно признают себя подданными иностранного государя и врага, несут наказание только за свою приверженность вере. Кроме того, и начала и учения этой религии в меньшей степени способны увлечь пытливые головы и нестойкие умы: обычно при добровольной перемене мировоззрения люди ищут раскрепощения и высоты чувства, рассчитывая оставаться вольными и располагать сами собой, а не отдаваться во власть и на произвол других. Наверняка терпимость не побудит их к расколу, а суровое обращение не заставит, подобно другим инаковерующим группам, слиться с фанатиками, чьи принципы, богопочитание и нрав столь непоследовательны, и, таким образом, не увеличивая числа сплоченных воедино недовольных, не усилит опасности. Добавьте к этому, что папизм, который был навязан истовому и невежественному миру ловкостью и изобретательностью католического священства и, подпираемый властью и силой, удерживался посредством таких же уловок, более, чем прочие религии, расположен к распаду там, где светская власть обходится с католиками сурово или хотя бы отнимает у них ободрение и поддержку, получаемые ими от своих священников.

Хотя притеснение папистов и не уменьшает числа наших врагов тем, что привлекает кого-то из них на нашу сторону, оно увеличивает число и поднимает силу наших сторонников и еще теснее, нам на подмогу и в защиту, объединяет протестантскую партию. Ведь от того, что папизм в нашей среде лишится всякой поддержки, намного выиграют интересы короля Англии как главы протестантов. Последователи прочих партий скорее образуют с нами единое содружество, когда увидят, что мы действительно сторонимся и преследуем тех, кто одинаково враждебен как нашей церкви, так и остальным протестантским вероисповеданиям; для них это будет залогом нашей дружбы, равно как и ручательством того, что их доверие к нам не будет обмануто, а соглашение, в какое мы с ними входим, — искреннее.

Все остальные диссентеры подпадают под позорное наименование фанатиков, а это, между прочим, как я думаю, было бы благоразумнее отвергнуть и забыть; ибо какой понимающий человек, живя в безурядном государстве, стал бы выискивать и закреплять за сектами черты различия – этого домогаются разве те, кто стремится к смуте, – или присваивать общее название различным партиям, чтобы тем самым подучить объединиться тех, кого ему надлежит разделять и держать на расстоянии друг от друга?

Но перейдем к более существенному. Я думаю, все стороны согласны, что от фанатиков надобно добиться пользы, поддержки и как можно большей верности нынешнему правительству, дабы обезопасить его от неурядиц дома и защитить от нашествий извне, а этого невозможно достигнуть ничем, кроме средств, способных изменить умонастроения фанатиков и привлечь их к вашим верованиям, или же, если они не расстаются со своими мнениями, убедить их оставить вражду и сделаться друзьями государства, хотя они и не сыны церкви.

Мне хочется, чтобы о том, сколь успешно сила и суровость способствуют перемене человечеством своих мнений, – пусть даже история полна примерами такого рода, и едва ли найдется случай, когда преследование, изгоняя из мира мнение, не сметало бы заодно и всех его последователей, – каждый, дабы далеко не ходить, попытал у своего собственного сердца, опыт которого засвидетельствует, возобладало ли когда насилие над его мнением, не утрачивают ли даже доводы нечто от своей убедительности, если их приводят с горячностью, и не стал ли он от того еще более упорствовать в своем мнении; уж так печется человеческая природа о сохранении свободы той области, что заключает в себе достоинство человека, подавив которое, вы обратили бы его в существо, мало чем отличное от скота. Я спрашиваю тех, кто сам в недавние времена столь твердо противостоял бесплодной силе гонения и убедился, сколь мало оно затронуло его мнения, а теперь столь торопится обрушить его на других: могла ли бы даже величайшая в мире суровость заставить их подвинуться хоть на шаг ближе к чистосердечному и искреннему восприятию мнений, которые были в то время господствующими? И пусть не говорят, это-де оттого, что они знали, что были правы, ибо всякий человек, покуда

верует, убежден, что он прав. Но сколь мало это упорство или постоянство обусловлено знанием, становится ясным на примере галерных рабов, возвращающихся из Турции, которые, хотя и перенесли всевозможные лишения ради того, чтобы не расстаться со своей религией, однако по их жизни и принципам можно догадаться, что большинство из них ровно ничего не знают об учении и делах христианства. Кто станет сомневаться, что эти несчастные узники, которые за отречение от веры, в коей их не слишком усердно наставляли и к коей они на воле горели не слишком большой любовью, могли бы вновь обрести свободу за измену своим мнениям, не перерезали бы горло жестоким хозяевам, обходившимся с ними столь сурово, позволь им это их цепи, но не причинили бы им никакого вреда, если бы те обращались с ними учтиво, как с полноправными военнопленными? Из чего мы видим, сколь рискованной была бы попытка – случись кому замыслить ее – обратить наш остров в подобие галеры, где большинство будет низведено до состояния рабов, которых ударами понуждают налегать на весла, но отказывают им и в малой части груза, в каких-либо льготах или в защите, – уж лучше им изготовить цепи на всех тех, с кем следует обходиться так же, как это делают турки, и убедить их стоять смирно, покуда эти цепи на них накладывают. Ибо, сколько б святоши ни проповедовали покорность, еще не известно случая, чтобы люди смиренно склонялись под гнетом и подставляли спины под удары, если полагали, что у них довольно сил постоять за себя.

Я говорю это не для того, чтобы оправдать подобные действия, которые я, как мне кажется, достаточно осудил в первой части этого рассуждения, но чтобы показать, каковы природа и нрав человечества и каковы обычно последствия гонений. Кроме того, насильственное насаждение мнений мешает людям уяснить их, ибо прививает им неодолимое подозрение насчет того, что те, кто так, силой, вербует прозелитов, не несут истины, а лишь преследуют собственные интересы и ищут власти. Прибегает ли кто к такому способу, чтобы убедить другого в несомненных истинах математики? Возможно, кто-то скажет, что от этих истин не зависит мое счастье. Я допускаю это и весьма в долгу перед человеком, который заботится о моем счастье, но мне трудно поверить, что действия, заставляющие столь сильно

страдать мое тело, совершаются из попечения о моей душе или что тот, кто радуется, видя, сколь скверно мне в этом мире, слишком заботится, чтобы я был счастлив в ином. Я удивляюсь, что те, кто так пылко радуется о благе других, не обращают чуть больше внимания на помощь бедным или не считают своей заботой охрану имущества богатых, которое ведь тоже есть полезная вещь и составляет часть нашего счастья, или судить по жизни тех, кто говорит нам о радостях небесных, но не менее других старается приобрести обширные владения на земле.

Однако в конце концов, даже если преследованиями и можно было бы не только время от времени покорить нетвердого, слабого духом фанатика (что редко удается, да и то обычно ценой потери двух или трех правоверных), даже если, говорю я, ими можно было бы разом загнать всех диссентеров в пределы церкви, то это не устранило бы, а только усугубило бы угрозу правительству, притом во столько раз, во сколько опаснее вместо честного и открытого противника иметь лживого, затаившегося и исступленного врага. Ибо наказание и страх могут побудить людей к притворству; не убеждая их разума, они едва ли способны заставить их воспринять мнение, но наверняка вызовут в них ненависть к особе своего притеснителя и сообщат им тем большее отвращение к тому и к другому. Таким соглашателям милее оставаться безнаказанными, нежели высказывать свое мнение, но тем самым они вовсе не одобряют вашего мнения. Не любовь к вашему правлению, а страх перед вашей силой стесняют их, и уж если их приковывает к вам такая цепь, то они сидели бы на ней куда прочнее, когда бы были явными раскольниками, а не затаившимися порицателями, так как тогда ее было бы не только легче носить, но и труднее сбросить; во всяком случае бесспорно, что, склоняя людей к вашему мнению иным способом, нежели убеждая их в его истинности, вы превращаете их в ваших друзей не в большей степени, чем насильственное крещение превратило в христиан бедняг индейцев, стадами загоняемых в реки.

Не сила преодолевает старые и вкладывает новые мнения в сердца людей, а учтивость, дружелюбие и мягкое обхождение; ибо многие люди, кому дела или лень мешают вникнуть в суть вещей, принимают многие мнения на веру, даже в

отношении религии, но никогда не позаимствуют их от человека, в знаниях, дружелюбии и искренности которого они не вполне уверены, а тем более от человека, их преследующего.

Люди же любознательные, хотя и не станут мыслить заодно с кем-либо единственно по причине его доброты, скорее согласятся, чтобы их переубедили, и сами будут искать доводы, которые могли бы склонить их исповедовать одинаковое мнение с тем, кого они обязаны любить.

Как скоро сила – худое средство переубеждения диссентеров, а приобщив их к своему мнению, вы прочно привязываете их к государству, – она безусловно еще меньше повлияет на тех, кого следует сделать вашими друзьями и кто непоколебимо предан своим убеждениям и придерживается мнения, отличного от вашего. Того, кто имеет иное мнение, отделяет от вас лишь некоторое расстояние; но если вы станете обращаться с ним дурно из-за того, что он почитает правильным, он будет питать к вам настоящую вражду. Первое – самое большее размолвка, второе – ссора. И этим не исчерпываются все беды, какие при нынешнем положении вещей породит среди нас суровость, ибо насилие и жестокое обращение увеличат не только вражду, но и число врагов. Ведь хотя фанатики, взятые все вместе, многочисленны и, возможно, их больше, чем чистосердечных друзей государственной религии, но они раздроблены на различные партии и так же далеки друг от друга, как и от вас, если только своим обращением с ними вы не оттолкнете их еще дальше от себя. Ибо, как таковые, их мнения столь же несовместимы одно с другим, как и с мнением англиканской церкви. Поэтому от людей, которые распались на множество групп, лучше всего предохраняться терпимостью, поскольку, если при вас их положение будет завиднее того, на которое они могут рассчитывать при любом другом, они едва ли объединятся, чтобы поставить у власти кого-то еще, ибо у них нет уверенности, что он будет относиться к ним столь же хорошо. Напротив, гонениями вы заставите их всех сплотиться против вас в одну партию, одушевленную одним замыслом, и внушите им соблазн сбросить ваше иго и попытаться создать новое правительство, при котором каждая группа надеется на верховенство либо на лучшее обращение под властью других, каковые не могут не знать, что, начини они по примеру

правительства применять жестокость, в силу которой сами же пришли к власти и собрали своих сторонников, как желанием и решимостью свергнуть их проникнутые другие; а потому можно ожидать, что они станут пользоваться ею с осторожностью. Но если вы полагаете, что различные партии уже готовы к соглашению и образовали против вас союз, скрепленный единым замыслом, – притом неважно, были ли причиной этого тяготы, перенесенные ими при вас, или нет, – если их столь много, что своим числом они равны вашим приверженцам или превосходят их, как, возможно, и есть в Англии, то приводить их в покорность силой бесполезно и рискованно. Если, как утверждают многие, Англии действительно необходимо единообразие веры и путь к нему лежит через принуждение, то я спрашиваю у тех, кто столь за него ратует, намерены ли они в самом деле установить его силой или нет. Если нет, то под этим предлогом тревожить и мучить бесплодными наказаниями своих собратьев не только опрометчиво, но и жестоко. Для того чтобы показать, в сколь малой, если не в ничтожной, мере преследование способствует установлению единообразия веры, я задам только один простой вопрос: существовала ли когда в этом королевстве свобода вероисповедания? Если да, то пусть кто-нибудь из священников, однажды подпавших под секвестр, расскажет, как их выдворяли из домов и смогли ли притеснения и суровость предохранить англиканскую церковь и остановить рост числа пуритан даже перед войной? Поэтому уж если вводить единообразие веры насилием, то следует говорить начистоту. Суровость, с помощью которой оно должно водвориться, не может не повлечь полное истребление и искоренение всех диссентеров разом. А насколько это согласуется с христианским учением, началами нашей церкви и реформацией католицизма, я предоставляю судить тем, кто полагает, что бойня во Франции достойна подражания<sup>4</sup>. Я хочу, чтобы они поразмыслили, установится ли в королевстве спокойствие, укрепится ли его правительство, если наказанием за неявку на литургию и неучастие во всех богослужениях нашей церкви будет смерть (ибо ничем иным единообразие веры не достигнуть).

Римскую религию, которая лишь недавно занесена в Японию и пустила там неглубокие корни (ибо от своих учителей, почитающих матью набожности

невежество, бедные новообращенные переняли весьма мало животворных истин и света христианства и знали не многим более Ave Maria и Pater noster)<sup>5</sup>, искоренили там только ценой гибели многих тысяч людей; да и то их число стало уменьшаться только после того, как суровые меры распространились за пределы круга преступников и смерть стала карой не только семье, приютившей священника, но и целым семьям по TV и другую сторону от ее дома, между иными простираются от веры в бессмертие души до неверия в нее, да и правитель их не стремится и не желает знать, к какой секте принадлежат его подданные, и нимало не принуждает их обратиться в его веру) и вовсе не из отвращения к христианству, которому они некоторое время позволяли спокойно произрастать у них, покуда учение папских священников не внушило им подозрения, что религия – это только предлог, цель же их – власть, и не заставило испугаться за устои государства; такое опасение сколько могли укрепили в них их собственные священники, желавшие искоренения этой растущей религии.

Но покажем, какова опасность установления единообразия. Дабы представить этот предмет во всей широте, нам остается обсудить следующие подробности:

(1) показать, какое влияние терпимость способна оказать на численность и трудолюбие вашего народа, от которых зависят могущество и богатство королевства;

(2) если всех в Англии надлежит привести к единообразию насильно, выяснить, какая партия или партии скорее всего объединятся в силу, способную понуждать остальных;

(3) показать, что все, кто высказывается против терпимости, по-видимому, считают, что суровость и сила суть единственные приемы правления и средства подавить любую группу, а это есть ошибка;

(4) что по большей части противоречия и различия между сектами не составляют, а если и составляют, то весьма незначительные и второстепенные приделки истинной религии;

(5) рассмотреть, почему вышло так, что христианство больше, чем какая-либо другая религия, послужило причиной возникновения стольких сект, войн и



беспорядков в гражданских обществах, и могут ли терпимость и широта взглядов предотвратить эти бедствия;

(6) что терпимость ведет к упорядочению правительства не чем иным, как воспитанием в большинстве единомыслия и поощрением во всех добродетели, которые достигаются посредством принятия и соблюдения строгих законов о добродетели и пороке и расширения сколь возможно условий принадлежности к церкви; т.е. догматы спекулятивных мнений должны быть немногочисленны и широки, а обряды богослужения – немногочисленны и легки, что и есть широта взглядов;

(7) что разъяснение и попытка доказательства некоторых догм, которые, по общему признанию, являются непостижимыми и познаются не иначе как через откровение, равно как требование, чтобы люди усваивали их в пределах, предлагаемых учителями ваших разных церквей, волей-неволей порождают множество атеистов.

Но об этом, когда у меня будет больше досуга.

**А.Шопенгауэр. Собр.соч. в 4-х томах. Т.2. Мир как воля и представление.**

**т.2. Дополнения к первому тому, доп. к четвертой книге/ Пер. и ред.**

**Ю.И.Айхенвальда.- М.: И.И.Кушнаревъ и Ко, 1903. - 673 с.**

Ошибка всех философов заключалась в том, что метафизическое, неразрушимое, вечное в человеке они полагали в интеллекте, между тем как на самом деле оно лежит исключительно в воле, которая от первого совершенно отлична и только одна первоначальна. Как я самым основательным образом показал во второй книге, интеллект — феномен производный и обусловленный мозгом, и поэтому он вместе с ним начинается и кончается. Воля одна — начало обуславливающее, зерно явления, от форм последнего, к которым относится и время, свободное, — а следовательно, и неразрушимое. Со смертью, таким образом, погибнет сознание, но не то, что породило и поддерживало это сознание: гаснет жизнь, но остаётся принцип жизни, который в ней проявлялся. Оттого всякому и

подсказывает несомненное чувство, что в нём есть нечто безусловно непреходящее и неразрушимое; даже свежесть и живость наших воспоминаний из очень далёкого времени, из раннего детства, свидетельствуют о том, что в нас есть нечто такое, что не увлекается потоком времени, не стареет, а пребывает неизменным. Но что такое это непреходящее, — этого нельзя себе ясно представить. Это не сознание, как и не тело, на котором, очевидно, зиждется сознание. Это скорее то, на чем зиждется самое тело вместе с сознанием, т.е. именно то, что, попадая в поле сознания, оказывается волей. Выйти за пределы этого непосредственного проявления её воли мы, разумеется, не можем, потому что нам не дано перешагнуть за предел сознания. И поэтому вопрос о том, что такое это неразрушимое в нас начало, поскольку оно не сознаваемое нами, т.е. что оно такое само по себе и безусловно, — этот вопрос должен остаться без ответа.

В пределах явления и посредством его форм, времени и пространства, как *principiū individuationis*, дело, по-видимому, обстоит так, что человеческий индивид погибает, а человеческий род неизменно пребывает и живёт. Но во внутреннем существе вещей, которое остаётся свободным от этих форм, отпадает и всё различие между индивидом и родом, и оба составляют непосредственно одно. Вся воля к жизни сполна находится в индивиде, как она находится и в роде, и потому бессмертие рода — это только символ неразрушимое индивида.

Таким образом, бесконечно важное понимание неразрушимости нашего истинного существа для смерти целиком зиждется на разнице между явлением и вещью в себе. Поэтому я освещу эту разницу самым ярким образом, вытеснив её теперь на том, что противоположно смерти, т.е. на возникновении животных существ, — на зачатии. Ибо этот процесс, такой же загадочный, как и смерть, непосредственнее всего рисует у нас перед глазами основное различие между явлением и внутренней сущностью вещей, т.е. между миром, как представлением, и миром, как волей, а равно и полную разнородность, существующую между законами этих обоих миров.

Акт зачатия представляется нам двояким образом: во-первых, для самосознания, единственным предметом которого, как я уже -говорил, служит воля

во всех её проявлениях; во-вторых, для сознания других вещей, т.е. мира как представления, или эмпирической реальности вещей. Со стороны воли, т.е. изнутри, субъективно, для самосознания, названный акт представляется как самое непосредственное и полное удовлетворение воли, т.е. как сладострастие. Со стороны же представления, т.е. извне, объективно, для сознания других вещей, этот акт есть начало искуснейшей ткани, основа невыразимо сложного животного организма, который после этого нуждается ещё только в дальнейшем развитии, для того чтобы предстать перед нашими изумленными глазами. Этот организм, бесконечную сложность и совершенство которого знает лишь тот, кто изучал анатомию, со стороны представления нельзя понимать и мыслить иначе как систему, обдуманную в самых закономерных комбинациях и осуществленную с чрезвычайным искусством и точностью, как труднейший проект самых глубоких размышлений; между тем, со стороны воли, в самосознании, для нас очевидно, что этот организм произошёл в результате некоего акта, прямо противоположного всякому размышлению, — слепого и неистового порыва, необыкновенно сладострастного ощущения. Эта противоположность сродни указанному выше бесконечному контрасту между абсолютной лёгкостью, с какою природа создаёт свои творения, и своей удивительной беспечностью, обрекающей их на гибель, и непостижимо искусной и продуманной конструкцией этих творений, судя по которой создать их было бесконечно трудно, и поэтому следовало бы, самым тщательным и образом заботиться об их сохранении — в то время как мы видим совершенно обратное. После того как в этом весьма необычном рассмотрении мы очень тесно сопоставили обе различные грани мира и как бы сжали их в одном кулаке, нам не следует ни на минуту разъединять их, чтобы убедиться в полной неприменимости законов явления, или мира как представления, к миру воли, или вещей в себе; тогда для нас станет понятнее, что когда на стороне представления, т.е. в мире явлений, перед нами предстаёт то возникновение из ничто, то совершенное уничтожение возникшего, — на другой стороне, в сфере вещи в себе, перед нами лежит такая сущность, в применении к которой вовсе не имеют смысла понятия возникновения и уничтожения. Ведь только что, углубившись в корень мира, где в самосознании

встречаются лицом к лицу явление и вещь в себе, мы как бы ощутили, насколько они, явление и воля, безусловно несоизмеримы между собою, что способ бытия одного (со своими законами), для другой не значит ничего и даже меньше, чем ничего.

*Кант* своим субъективным способом выяснил ту великую, хотя и отрицательную истину, что вещи в себе не может быть присуще время, так как оно заложено априорной формой в вашем восприятии. А смерть — это временный конец временного явления. Поэтому, стоит только отрешиться от формы времени, и сейчас же не окажется больше никакого конца, и даже слово это потеряет всякий смысл. Я же здесь, на своём объективном пути, стараюсь теперь выяснить положительную сторону дела, — именно то, что вещь в себе неприкосновенна для времени и процесса, возможного только для времени, т.е. — возникновения и исчезновения, и что явления, протекающие во времени, не могли бы иметь даже своего беспрерывно исчезающего, близкого к небытию существования, если бы в них не было зерна вечности. Конечно, *вечность* — это такое понятие, в основе которого не лежит никакого созерцания. Поэтому и содержание его чисто отрицательно, — оно означает, именно, вневременное бытие. *Время* же всё-таки — это лишь образ вечности, о χρόνος εἶκον τοῦ αἰώνος, как учил Платон. Оттого и наше временное бытие — не что иное, как образ, или символ, нашей внутренней сущности. Последняя должна иметь свои корни в вечности, потому что время, — это лишь форма нашего познания. Между тем только посредством времени мы познаём, что наша сущность и сущность всех вещей преходяща, конечна и обречена на уничтожение.

Во второй книге я выяснил, что адекватная объективность воли, как вещи в себе, на каждой из её ступеней — представляет собою *идею* (платоновскую); точно так же в третьей книге я показал, что идеи существ имеют своим коррелятом чистый субъект познания и что, следовательно, познание их возможно только в виде исключения, при особенно благоприятных условиях и ненадолго. Для индивидуального же познания, во времени, *идея* представляется в форме *вида*. Вид — это идея, благодаря воплощению во времени раздробившаяся на отдельные

моменты. Поэтому *вид* — самая непосредственная объективация вещи в себе, т.е. воли к жизни. Сокровенная сущность всякого животного, а равно и человека, лежит, таким образом, в *виде*. В нём, а не в индивидуе, находятся действительные корни столь могучей воли к жизни. Зато непосредственное осознание заложено исключительно в индивидуе: вот почему он и мнит себя отличным от своего рода и через это боится смерти. Воля к жизни по отношению к индивиду проявляется как голод и страх смерти, а по отношению виду — как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. В соответствии с этим мы не видим, что природа, свободная от названной иллюзии индивида, так же печётся о сохранении рода, как она равнодушна к гибели индивидов. Индивиды всегда — только средство для неё, а род — целью. Отсюда — резкий контраст между её скупостью при снабжении индивидов и её расточительностью там, где дело идёт о роде. Здесь часто от одного индивида в течение года происходят сотни тысяч зародышей и больше — такой плодовитостью отличаются, например, деревья, рыбы, раки, термиты и др. Наоборот, где дело касается индивида, так каждой особи отмерено в обрез лишь столько сил и органов, что она может поддерживать свою жизнь только ценою непрерывного напряжения. Поэтому всякое отдельное животное, коль скоро оно искалечено или ослабело, по большей части обрекается этим на голодную смерть. А где для природы случайно оказывается возможность произвести экономию и в крайнем случае обойтись без какого-нибудь органа, там она это делала даже в ущерб обычному порядку. Например, многие гусеницы лишены глаз, и эти бедные насекомые ощупью перебираются во тьме с листка на листок. При отсутствии у них щупальцев они производят это таким образом, что тремя четвертями своего тела повисают в воздухе, качаясь туда и сюда, пока не наткнутся на какой-нибудь устойчивый предмет, — причём они часто пропускают свой, тут же лежащий, корм. Но происходит это в силу *lex parsimoniae naturae*<sup>259</sup>, и к формуле этого закона, *natura nihil facit supervacaneum*, можно ещё прибавить: *et nihil largitur*<sup>260</sup>. Та же самая тенденция природы сказывается и в том, что чем полезен индивид по своему возрасту для продолжения своего рода, тем сильнее действует в нём *vis naturae medicatrix*<sup>261</sup>, и раны его поэтому легко заживают, и он легко исцеляется от болезней.

Всё это слабеет вместе с производительной способностью и совсем падает после того, как она угаснет, ибо в глазах природы индивид теряет тогда всю свою цену.

<sup>259</sup> "закона бережливости природы" (лат.)

<sup>260</sup> "природа не делает ничего бесполезного" ... "и ничего не делает зря" (лат.)

<sup>261</sup> целебная сила природы (лат.)

Если мы теперь бросим ещё взгляд на лестницу живых существ и соответствующую ей градацию сознания — с полипа вплоть до человека, — то мы увидим, что хотя эта дивная пирамида, ввиду непрерывной смерти индивидов, находится в постоянном колебании, но всё-таки, благодаря связующей силе рождения, она, в родах существ, пребывает неизменной в бесконечности времен. Таким образом, если, как я показал выше, *объективное*, род, представляет собою начало неразрушимое, то *субъективное*, которое состоит лишь в самосознании существ, по-видимому, очень недолговечней подвергается неустанному разрушению, для того чтобы, непостижимым образом, снова и снова возрождаться из ничего. Но поистине надо быть очень близоруким, для того чтобы дать ввести себя в обман этой иллюзии и не понять, что хотя форма пребывания во времени и присуща только объективному, всё же субъективное, или *воля*, которая живёт и проявляется во всех существах мира, а с нею и субъект *познания*, в котором этот мир отражается, — что это субъективное должно быть не менее неразруσιμο. В самом деле: долговечность объективного, или внешнего, может быть только проявлением неразрушимости субъективного, или внутреннего, ибо первое не может обладать ничем, что не получено от внутреннего. Всё обстоит вовсе не так, чтобы по существу и изначально было нечто объективное, явление, а затем уже произвольным и акцидентальным образом наступало нечто субъективное, вещь в себе, самосознание. Ибо очевидно, что первое, как явление, предполагает нечто являющееся; как бытие для другого, оно предполагает бытие для себя. Как *объект* оно предполагает субъект, а не наоборот, ведь повсюду корни вещей должны лежать в том, что они представляют сами для себя, т.е. в субъективном, а не в объективном, или в том, чем они являются лишь для других, в каком-то чужом сознании. Оттого, в первой книге, мы и нашли, что правильной исходной точкой для философии по существу и

необходимо должна быть точка зрения субъективная, выражаясь иначе — идеалистическая, подобно тому как противоположная точка, исходящая от объективного, ведёт к материализму. Но, в сущности, мы в гораздо большей степени составляем миром одно, чем это обыкновенно думают. Внутреннее существо мира — это наша воля. Явление мира — это наше представление. Для того, кто мог бы ясно сознать это единство, исчезла бы разница между будущим существованием внешнего мира после его личной смерти и его собственным существованием после смерти. И одно и другое предстало бы ему как нечто одно, и он смеялся бы над безумной мечтою, которая могла их разъединять. Ибо понимание неразрушимое нашего существа совпадает с отождествлением макрокосма и микрокосма.

Итак, эти соображения подтверждают для нас то, что: 1) воля к жизни - сокровеннейшая сущность человека; 2) сама по себе она бессознательна, слепа; 3) познание -- это первоначально чуждый ей, дополнительный принцип; 4) воля с этим познанием враждует и наше суждение одобряет победу знания над волей.

По поводу универсальности веры в метемпсихозу *Обри* в своей прекрасной книге "Du Nirvana Indien" ("Об индийской нирване", стр. 13) справедливо говорит: "это старое верование обошло весь мир, и в глубокой древности оно было так распространено, что один учёный англичанин считает его не имеющим ни отца, ни матери, ни родословной (Thomas Burnet, Beaus Obre. Histoire de Manichéisme — "История Манихейства", II, стр. 391)". Уже в "Ведах" и во всех священных книгах Индии метемпсихоза, как известно, представляет основу брахманизма и буддизма; ещё и теперь она господствует во всей неисламизированной Азии, т.е. среди большей половины человечества, представляя собой глубочайшее убеждение и оказывая невероятно могучее влияние на практическую жизнь. Она также входила в веру египтян, у которых её с восторгом переняли Орфей, Пифагор и Платон; в особенности же твёрдо придерживались её пифагорейцы. А то, что её исповедовали и в греческих мистериях, неоспоримо вытекает из девятой книги "Законов" Платона (стр. 38 и 42, в двуяз. изд.). *Немезий* (De nat. hom. С. 2 — "О прир[оде] чел(овека)", гл. 2) говорит даже: "Все греки, без исключения, признававшие бессмертие души,

считали, что она переносится из одного тела в другое". Точно так же учение метемпсихозы содержится и в "Эддах", в частности в "Волуспе". Не в меньшей степени оно было и основной религией друидов (Caes/ De bello Gall. VI; A.Pictet. Le mystère des Bardes d'île de Bretagne. —Цез[арь]. "О галль[ской] войне", VI. — А. Пиктэ. "Тайна Барда, острова Бретани", 1856). Даже в Индостане одна мусульманская секта, *бохрах*, о которой обстоятельно повествует Кольбрук (Asiatic researches. Vol. 7 — "Азиатских исследованиях", т. 7, стр. 336 и далее), верует в метемпсихозу и потому воздерживается от всякой мясной пищи. Даже у американских, а также у негритянских народов и у австралийцев обнаруживаются следы этого учения, что подтверждает помещённое в английской газете "Times" от 29 января 1841 г. подробное описание казни двух австрийских дикарей за поджог к убийство. там сказано: "Младший из них встретил свою участь с ожесточенной и мужественной решимостью — его мысли были направлены на месть; произнесённые им слова, которые можно было понять, свидетельствовали от том, что он воскреснет в виде "белого", и это придавало ему мужества". Точно так же и в книге *Унгевииттера* "Австралия" (1853), сообщается, что папуасы Новой Голландии считают белых своими же родственниками, вернувшимися в мир. Всё это показывает, что вера в метемпсихозу представляет собою естественное убеждение человека, когда он отдаётся непредвзятому размышлению о жизни. Именно она является тем, за что Кант приписывал своим трём мнимым идеям разума, — философией, прирожденной человеческому разуму и вытекающей из его собственных форм; и если где-либо она отсутствует, то это значит, что она вытеснена другими положительными религиозными учениями. Я замечал, что её непосредственное убедительное влияние обнаруживает всякий, кто хоть раз слышал о ней.

### **А.Шопенгауэр. «Размышления о государстве, политике и праве»**

#### **(Фрагменты сочинений).**

Собр.соч. в 5-ти томах. Т.1. Мир как воля и представление. т.1 / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. А.А.Чанышева. Пер. с нем. Ю.И.Айхенвальда под ред. Ю.Н.Попова. - М.: Московский клуб, 1992; Собр.соч. в 4-х томах. Т.2. Мир как воля и представление. т.2. Дополнения к первому тому. / Пер. и ред. Ю.И.Айхенвальда. - М.: И.И.Кушнарёв и Ко, 1903. - 673 с.; Избранные произведения / Сост., авт. вступ. ст. и примеч. И.С.Нарский. - М.: Просвещение, 1992;



## 2. НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ И СОБСТВЕННОСТЬ

### 2.1. Понятие несправедливости

В то время, как воля представляет такое самоутверждение собственного тела в бесчисленных рядах индивидов, она в силу присущего всем эгоизма легко выходит в каком-либо индивиде за пределы этого утверждения, - вплоть до отрицания той же самой воли, проявляющейся в другом индивиде. Воля первого вторгается в область чужого утверждения воли в том случае, если индивид губит или калечит самое тело другого, или же заставляет силы этого чужого тела служить его воле, а не воле, являющейся в другом теле, - другими словами, тела и таким образом увеличивает силу, служащую его воле, больше, чем это даёт ему на это право сила собственного тела, - следовательно, утверждает собственную волю за пределами собственного тела, отрицая волю, являющуюся в другом теле. [316]

Это вторжение в сферу чужого утверждения воли отчётливо сознавалось испокон веков, и его понятие было названо словом несправедливость. Ибо обе стороны мгновенно схватывают, в чем тут дело, правда, постигая это не в отчётливой абстракции, как мы здесь, а своим чувством. Терпящий несправедливость чувствует вторжение в сферу утверждения своего собственного тела через отрицание его чужим индивидом; он чувствует это как непосредственное духовное страдание, которое совершенно отличается и отделено от сопровождающей его физической боли, причиняемой самим деянием, или от огорчения по поводу утраты. С другой стороны, в совершающем несправедливость мгновенно возникает сознание, не *in abstracto*, а в виде тёмного чувства, и это называют угрызениями совести, или, ближе к данному случаю, чувством содеянной несправедливости. [3. 316, гл. 62.]

### 2.2. Величина несправедливости

При всяком несправедливом поступке несправедливость по качеству остается той же, именно ущемлением другого, касается ли оно его личности, его свободы, его собственности, его чести. Но по количеству она может быть очень различной. Это различие в размере несправедливости - ему соответствует размер порицания, с каким

к данной несправедливости относятся. Яставляю для неё такую формулу: величина несправедливости моего поступка равна величине зла, какое я им причиняю другому, разделенной на величину выгоды, какую я сам из него извлекаю; а величина справедливости моего поступка равна величине выгоды, какую доставит мне ущемление другому, разделенной на величину вреда, какой он при этом потерпит. [5. 214-215 : разд. II "Критика основы, указанной для этики Кантом", гл. 17].

### 2.3. Понятие собственности

Ибо такой собственностью, которой без несправедливости нельзя отнять у человека, может быть, согласно нашему пониманию несправедливого, только то, что обработано собственными силами этого человека, так что захват этого отнимает силы его тела у объективированной в нём воли, чтобы заставить их служить воле, объективированной в другом теле. Лишь в таком случае совершающий несправедливость вторгается в сферу чужого утверждения воли, хотя и покушается не на чужое тело, а на неодушевленную, совершенно отличающуюся от него вещь: ведь с этой вещью как бы срослись и отождествились труд и сила чужого тела. Отсюда следует, что всякое истинное, т.е. моральное, право собственности первоначально основывается исключительно на обработке, как это почти всюду признавали до Канта и как это отчетливо и прекрасно выражает древнейшее из всех законодательств: "Мудрецы, сведущие в старине, объясняют, что возделанная нива составляет собственность того, кто выкорчевал лес, очистил и вспахал её, - как антилопа принадлежит первому охотнику, который её смертельно ранил" (законы Ману, IX, 44. 317).

### 2.4. Право собственности

В самом деле, каким образом простое изъявление моей воли устранить других от пользования вещью - может тотчас же создать и самое право на неё? Очевидно, само это изъявление предварительно нуждается в правомерном обосновании, а вовсе не оно служит таким основанием, как это думает Кант. Да и поступает ли по существу, т.е. в моральном смысле, несправедливо тот, кто не признает этих притязаний на исключительное обладание вещью, не основанных не на чем, кроме собственного заявления? Ведь совершенно ясно, что не может быть никакого правомерного

завладения, а существует только правомерное освоение, приобретение вещи путем приложения к ней первоначально собственных сил. Там, где вещь посредством какого-нибудь труда, как бы ни был он незначителен, обрабатывается, улучшается, ограждается от повреждений, хотя бы этот труд заключался только в том, чтобы скрыть или выдолбить из почвы дико растущий плод, - там посягающий на эту вещь очевидно лишает другого результатов его сил, потраченных на неё, т.е. заставляет тело этого человека служить не собственной, а его воле, утверждает собственную волю за пределами её проявления, вплоть до отрицания чужой воли, - т.е. совершает несправедливость. [318]

Напротив, одно только пользование вещью без всякой её обработки или охраны от повреждения так же мало даёт права на неё, как и изъявление своей воли на исключительное владение ею. Поэтому, если какой-нибудь род в течение хотя бы целого столетия один охотился в известной местности, не сделав, однако, ничего для её улучшения, то он не может без моральной несправедливости запретить охоту в ней чужому пришельцу, который вдруг пожелал этого. Вот отчего так называемое право преокупации, согласно которому за простое давнишнее пользование вещью требуют ещё сверх того вознаграждения, т.е. присваивают себе исключительное право на дальнейшее пользование ею, в моральном отношении совершенно неосновательно. Тому, кто опирается только на это право вновь прибывший тог бы с гораздо большим правом возразить: "Именно потому, что ты уже так долго пользовался этой вещью, справедливо, чтобы теперь воспользовались ею и другие." [318]

Для всякой вещи, которая не поддается никакой обработке посредством улучшения или предохранения от несчастных случаев, не существует морально обоснованного права на исключительное владение ею, кроме разве добровольной уступки со стороны всех остальных, например, в виде вознаграждения за другие услуги; но это уже предполагает построенное на договоре общежитие, государство.

Морально обоснованное право собственности, как это показано выше, даёт, по своей природе, владельцу такую же неограниченную власть над вещью, какую он имеет над собственным телом; из этого следует, что он путем обмена или дара может

переносить свою собственность на других, которые затем владеют данной вещью с тем же моральным правом, что и он. [3. 319, гл. 62.]

Право собственности возникает, на мой взгляд, только через обработку вещей. "Какое право имеет охотник на громадный лес, который он случайно обжег, преследуя свою добычу?" [заявление северо-американского экс-президента Квинси Адамса 1840 г.]. Собственность, - это прибыль от труда и не что иное, как воплощенный труд. Это ещё раз показывает, что право собственности можно обосновать только на труде, потраченном на вещи; только в этом качестве оно находит себе свободное признание и приобретает моральную оценку.

Совершенно своеобразное подтверждение этой же истины даёт тот моральный факт, что в то время как закон так же строго, а в некоторых странах ещё и строже, наказывает браконьерство, как кражу денег, тем не менее гражданская честь, последней навеки разрушаемая, от первого, т.е. от браконьерства, собственно, не терпит значительного урона, и браконьер, поскольку за ним нет другой вины, хотя и не считается безгрешным, но, в противоположность вору, не слывет за бесчестного и не подвергается всеобщему отвержению. Ибо принципы гражданской чести зиждутся на морально, а не на чисто позитивном праве; дичь же не есть предмет обработки, а потому не есть и предмет морально-ценного владения: право на неё имеет поэтому совершенно позитивный характер и с моральной точки зрения не действительно. [1. 619; 2. 142 : гл. XLVII "К этике"].

## 2.5. Совершение несправедливости

Несправедливость, понятие которой мы только что разобрали в самой общей абстракции, находит себе *in concreto* наиболее полное, прямое и наглядное выражение в каннибализме. Непосредственно за этим идет убийство, и потому, как только оно совершится, угрызения совести, смысл которых мы только что изложили отвлеченно и сухо, мгновенно следуют с ужасающей явственностью и наносят душевному покою неисцелимую рану на всю оставшуюся жизнь; ибо наш ужас перед совершенным убийством, как и наш трепет до его совершения, соответствуют той безграничной привязанности к жизни, которой проникнуто все живое как проявление воли к жизни. По существу однородны с убийством и отличаются от него

только степенью преднамеренное изуродование или простое калечение чужого тела, даже всякий удар. Далее, несправедливость проявляется в порабощении другого индивида, в принуждении его к рабству, наконец - в покушении на чужую собственность, которое, поскольку она служит плодом чужого труда, по существу однородно с предыдущей несправедливостью и относится к ней как простое калечение к убийству. [317]

## 2.6. Насилие и обман. Обман = насилие

Что касается совершения несправедливости вообще, то оно осуществляется либо насилием, либо хитростью: по своему нравственному значению это одно и то же. В особенности при убийстве безразлично, пользуюсь ли я кинжалом или ядом; так же обстоит дело и при всяком физическом оскорблении. Все разнообразные случаи несправедливости могут быть сведены к тому, что я, совершая несправедливое, заставляю другого индивида служить не своей, а моей воле, действовать не по своей, а по моей воле. На пути насилия я достигаю этого с помощью физической причинности; на пути же хитрости - посредством мотивации, т.е. причинности, прошедшей через познание; иначе говоря, я достигаю этого тем, что подставляю воле другого человека обманные мотивы, в силу которых он, думая следовать своей воле, следует моей. Так как среда, в которой находятся мотивы, есть познание, то я могу исполнить это, только совершив подлог в его познании - а это и есть обман. Своей целью он всегда имеет воздействие на долю другого, не просто на его познание как таковое и само по себе, но на познание лишь как средство, поскольку оно определяет его волю. Ибо самый обман мой, исходя из моей воли, нуждается в мотиве, а таким может быть только чужая воля, а не чужое познание само по себе, потому что оно как таковое никогда не может иметь влияния на мою волю, не может её волновать и быть мотивом её целей: только чужое желание и действие могут быть таким мотивом, а через них следовательно, косвенно и чужое познание. то относится не только ко всякому обману, вытекающему из явного своекорыстия, но и к такому обману, который имеет своим источником чистую злобу, жаждущую насладиться мучительными последствиями чужой ошибки, ею же вызванной. Даже обыкновенный хвастун стремится к тому, что усилив этим хвастовством уважение к

себе или изменив к лучшему мнение других людей, оказать или облегчить себе большее влияние на их желания и поступки. Простой отказ в истине, т.е. в изъятии вообще, сам по себе не есть нечто неправо, но таковым является, несомненно, всякое навязывание лжи. Кто не хочет указать заблудившемуся путнику настоящей дороги, тот не совершает по отношению к нему никакого правонарушения, но его совершает тот, кто указывает ему неверный путь. [3. 320]

## 2.7. Нравственная законность и обязательность договоров

Из сказанного следует, что всякий обман, как и всякое насилие, есть несправедливость, ибо он уже как таковой стремится распространить власть моей воли на других индивидов, т.е. утвердить мою волю путем отрицания их воли, так же как и насилие. Но самый настоящий обман - это нарушение договора, потому что здесь все приведенные определения присутствуют отчётливо в полном составе. Ибо когда я заключаю договор, то чужое обещанное деяние является непосредственным и признанным мотивом моего деяния, которое в свою очередь должно наступить. Обмен обязательств совершается обдуманно и формально. Правдивость сделанного каждой из сторон заявления предполагается зависящей от воли участника. Если же другой нарушил договор, то он меня обманул и, подлогом указав моему познанию неверные мотивы, склонил мою волю на сторону своего умысла, распространил господство своей воли на другого индивида, т.е. совершил полную несправедливость. Вот на чем основывается нравственная законность и обязательность договоров. [3. 320, гл. 62.]

## 2.8. Понятие долга

Будет уместно установить столь часто применяемое в этике, как и в жизни, понятие долга, которому, однако, дают слишком широкое толкование. Мы нашли, что несправедливость всегда состоит в нанесении обиды другому, касается ли она его личности, его свободы, его собственности или его чести. Отсюда следует, по-видимому, что всякая несправедливость должна быть положительным посягательством, деянием. Но существуют поступки, само несовершенство которых есть уже несправедливость; такие поступки называются обязанностями. Это - истинно философское определение понятия долга, которое, напротив, теряет всякую

своеобразность и потому лишается смысла, если, как в прежней морали, мы будем называть обязанностью всякий похвальный образ действий, забывая, что то, что есть долг, должно быть также повинностью. Долг есть, следовательно, такой поступок, простым несовершением которого мы ущемляем уже другого, т.е. причиняем ему несправедливость. Очевидно, это возможно только при том условии, если человек взял на себя данный поступок, т.е. именно обязался к нему. Поэтому все обязательства основаны на принятом обязательстве. Последнее есть обычно прямое, взаимное соглашение, как, например, между государем и народом, правительством и чиновниками, господином и слугою, адвокатом и клиентом, врачом и больным, вообще между всяким, кто принял на себя какого-либо рода труд, и его доверителем в самом широком смысле этого слова. Вот почему всякая обязанность даёт какое-либо право, ибо никто не может обязываться без мотива, т.е. в данном случае без какой-либо выгоды для себя. Мне известно только одно обязательство, которое принимается не путем соглашения, а непосредственно самым поступком: здесь тот, перед кем его имеют, ещё не был на свете, когда оно принималось, - я говорю об обязанности родителей по отношению к их детям. Кто производит на свет ребенка, тот обязан содержать его, пока он не будет способен жить самостоятельно. Ибо одним уже неоказанием помощи, т.е. бездействием, человек нанёс бы ущерб своему ребенку, даже обрек бы его на гибель. Моральна обязанность детей по отношению к родителям не имеет такого непосредственного и решительного характера. Её место занимает благодарность за то, что родители сделали больше, нежели того требовала их строгая обязанность. Однако каким отвратительным, часто даже возмутительным пороком ни представляется неблагодарность, благодарность все-таки нельзя назвать обязанностью, так как её отсутствие не есть ущемление другого, не есть, стало быть, несправедливость. [5. 215-216 : разд. III "Обоснование этики", гл. 17].

## 2.9. Естественное право. Критика Гоббса

Терпящий несправедливость болезненно сознает отрицание своей воли, насколько она выражается уже в его теле и его естественных потребностях, для удовлетворения которых природа отсылает его к силам этого же тела; одновременно сознает он и то, что мог бы, не совершая несправедливости, дать всяческий отпор

этому отрицанию, если бы только у него хватило сил. Тот чисто моральный смысл есть единственный, который право и несправедливость имеют для человека как для человека, а не как для гражданина; этот смысл сохранился бы и в естественном состоянии без всякого положительного закона, и он составляет основу и содержание всего того, что было названо естественным правом, но что лучше было бы назвать моральным правом. [3, 322, гл. 62]

В естественном состоянии от каждого зависит только то, чтобы в каждом данном случае не совершать несправедливости; но совсем не в его власти не терпеть в каждом данном случае несправедливости: последнее зависит от его случайной внешней силы. Поэтому, хотя и в естественном состоянии человечества понятия права и несправедливости имеют значение и вовсе не условны, тем не менее они значимы тогда только в качестве моральных понятий для самопознания собственной воли в каждом. Кто же хочет устранить или отвергнуть чисто моральный взгляд на человеческое поведение и рассматривать поступки только с точки зрения их внешнего влияния и последствий, тот может, конечно, вместе с Гоббсом считать право и несправедливость условными, произвольно принятыми и потому вне положительного закона даже и не существующими определениями, и мы никогда не могли бы примерами внешнего опыта убедить его в том, что не относится к внешнему опыту. [3, 322, гл. 62]

Чистое учение о праве представляет, таким образом, главу этики и непосредственно относится только к действию, а не к претерпеванию, страданию. Ибо только первое есть обнаружение воли, и лишь её рассматривает этика. Страдание - это просто факт, этика лишь косвенно может принимать во внимание и страдание, а именно только чтобы доказать, что совершаемое ради того, чтобы не пострадать от несправедливости, не является несправедливым деянием. [3, 322, гл. 62] .

### 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

#### 3.1. Законодательство

Если таким образом, мораль имеет своим исключительным предметом справедливые или несправедливые деяния и если она в состоянии точно определять границы поведения для того, кто решится не совершать неправды, то, наоборот,



государственное право, учение о законодательстве, касается только перенесения несправедливости и некогда не стало бы интересоваться несправедливыми деяниями, если бы не их необходимый коррелат - перенесение несправедливости, на которое направлено внимание права, ибо это его враг, с которым оно борется. И если бы можно было себе представить такой несправедливый поступок, с которым не связано нарушение чужого права, то государство, оставаясь последовательным, вовсе не стало бы его запрещать.

Затем, так как предметом морали и единственно реальным её содержанием является воля, помыслы, то для неё твёрдая решимость на несправедливый поступок, которую задерживает и парализует только внешняя сила, вполне равна действительно совершенной неправде, и перед судом морали оказывается неправедным тот, у кого есть подобное желание. Наоборот, государство совсем не интересуется волей и помыслом как таковыми: для него важно только деяние (как покушение или как факт), вследствие его коррелата - страдания другой стороны; для него, следовательно, единственно реальным является факт, событие, тогда как намерение и помыслы рассматриваются им лишь постольку, поскольку они уясняют характер деяния. Поэтому государство никому не запретит носить против другого в мыслях убийство и яд, если только оно уверено, что страх секиры или колеса будет постоянно сдерживать осуществление таких помыслов.

### 3.2. Цель законодательства

Точно также государство вовсе не задается безумной целью истребить склонность к неправедным деяниям, злые помыслы: нет, просто всякому возможному мотиву к совершению неправды оно всегда стремится противопоставить, в виде неминуемого наказания, другой, более сильный мотив к отказу от неё; сообразно с этим уголовный кодекс представляет собой по возможности наиболее полный список противомотивов ко всем преступным деяниям, предусмотренным как возможные, - конечно, и мотивы, и деяния намечены в нём *in abstracto* для применения в соответствующих случаях *in concreto*. Для этой цели государственное право, или законодательство, заимствует из этики ту главу, которая является учением о праве и которая вместе с внутренним смыслом правды и

неправды определяет также и точную границу между обеими, - но законодательство заимствует эту главу исключительно для того, чтобы воспользоваться её обратной стороной, и все границы, какие мораль запрещает преступать, если не желаешь причинять неправды, оно рассматривает с иной стороны как границы, нарушение которых другими не может быть позволено, если не желаешь терпеть неправды, и от которых, следовательно, мы имеем право отгонять других; вот почему эти границы, с их, возможно, и пассивной стороны, укрепляются законами. [324]

Отсюда видно, что подобно тому как историка очень остроумно прозвали перевернутым пророком, так правовед - это перевернутый моралист, и оттого правоведение в собственном смысле, т.е. учение о правах, которые мы можем требовать, является перевернутой этикой, - в той главе её, где она учит о ненарушимых правах. Понятие неправого и его отрицания, права, сначала моральное, становится юридическим, благодаря перенесению исходной точки с активной стороны на пассивную, т.е. благодаря перестановке. [325]

### 3.3. Положительное законодательство

Как я сказал, законодательство заимствует своё чистое учение о праве, или учение о сущности и границах права и неправого, из этики, чтобы воспользоваться её обратной стороной для своих целей, этике чуждых, и в соответствии с этим установить положительные законы и средство их поддержания, т.е. государство. Положительное законодательство представляет собой, таким образом, чисто моральное учение о праве, примененное с обратной стороны. Применение это может происходить с учётом специфических отношений и условий известного народа. Но только в том случае, если положительное законодательство в существенном всецело определяется указаниями чистого учения о праве, только тогда установленное законодательство является собственно положительным правом, а государство - правомерным союзом, государством в подлинном смысле слова, морально допустимым, не аморальным учреждением. В противном же случае положительное законодательство является организацией положительной неправды и само представляет собой официально признанную насильственную неправду. Такой характер имеет всякая деспотия, государственный строй большинства

мусульманских стран; сюда же относятся иные стороны многих законодательств, например, крепостное право, барщина и т.п. [326]

### 3.4. Содержание чистого учения о праве

Чистое учение о праве, или естественное право, лучше сказать - моральное право лежит в основе всякого правомерного законодательства (хотя всегда своей оборотной стороной), так же как чистая математика лежит в основе каждой из прикладных отраслей. Важнейшие пункты чистого учения о праве, как их философия должна передать законодательству рамки указанной цели, следующие:

- 1) объяснение подлинного внутреннего смысла происхождения понятий неправого и права и их применения и места в морали;
- 2) выведение права собственности;
- 3) выведение моральной силы договоров, так как она является моральной основой государственного договора;
- 4) объяснение возникновения и цели государства, отношения этой цели к морали и объяснение результата такого отношения - целесообразного перенесения морального учения о праве (с его оборотной стороны) на законодательство;
- 5) выведение права наказания.

Остальное содержание учения о праве - это лишь приложение названных принципов, ближайшее определение границ права и неправого для всех возможных житейских отношений, которые поэтому соединяются и распределяются под известными точками зрения и рубриками. В этих частных теориях все учебники чистого права в общем сходятся между собою, они весьма отличаются только в принципах, потому что принципы всегда сходны с какой-нибудь философской системой.

### 3.5. Наказание и его отличие от мести

Несомненно, что вне государства не существует права наказания. Всякое право наказывать основывается единственно на положительном законе, который до совершения поступка установил за него известную кару, так что страх её в качестве противомотива должен перевешивать все возможные мотивы к совершению такого поступка. Этот положительный закон надо рассматривать как санкционированный и

признанный всеми гражданами страны. Он основан, таким образом, на общем договоре, исполнять который, т.е. осуществлять наказание - с одной стороны и переносить его - с другой, обязаны все члены государства при всех обстоятельствах, поэтому справедливо принуждение к тому, чтобы нести наказание. Следовательно, непосредственная цель наказания в отдельном случае - это исполнение закона как договора. Единственная цель закона - это устрашение перед нарушением чужих прав, ибо для того, чтобы каждый был защищен от несправедливости, люди соединились в государство, отказались от совершения несправедливости и взяли на себя бремя поддержания государства. Следовательно, закон и его исполнение - наказание - по существу своему имеют в виду будущее, а не прошедшее. В этом отличие наказания от мести, мотивированной исключительно свершившимся, т.е. прошлым как таковым. Воздавая мучениями за неправодеяния, но не имея при этом цели в будущем, мы осуществляем месть, цель которой может состоять лишь в том, чтобы в зрелище причиненного нами чужого страдания найти себе утешение в страдании, которое вынесли мы сами. Это - злоба и жестокость, которые этически не могут быть оправданы. Несправедливость, причиненная мне другим, вовсе не даёт мне права поступать несправедливо по отношению к нему. Воздаяние злом за зло без дальнейшей цели не может быть оправдано ни морально, ни каким-нибудь иным разумным основанием, и *jus talionis* [право воздаяния] в качестве самостоятельного, конечного принципа уголовного права не имеет смысла. Ни один человек не имеет права выступать в качестве чисто морального судьи и воздающего и наказывать преступления другого страданием, и отсюда библейское: "Мне отмщение, – говорить Господь, – и Аз воздам". Но зато человек имеет полное право заботиться о безопасности общества, а это возможно только путем запрещения всех тех деяний, которые обозначаются словом "криминальные", - такое запрещение предотвращает их противомотивами, т.е. угрозой наказания; эта угроза может быть действительна, если только она исполняется в каждом случае, происходящем вопреки ей. Целью наказания, или, точнее, уголовного закона служит устрашение перед преступлением. Если какой-нибудь государь захочет помиловать справедливо осужденного

преступника, то его министр возразит ему, что в таком случае это преступление скоро будет совершено вновь.

Цель в будущем отличает наказание от мести, а такую цель наказание имеет в виду лишь тогда, когда оно налагается во исполнение закона и, поддерживает устрашающую силу закона, в чем и заключается его цель. Убийца, подлежащий, согласно закону, смертной казни, должен непременно и с полным правом рассматриваться как простое средство. Ибо он нарушил публичную безопасность, главную цель государства, - мало того, она низвергнута, если закон остается неисполненным: преступник, его жизнь, его личность должны теперь послужить средством. Для исполнения закона и тем самым для восстановления общественной безопасности; и он делается таким средством вполне справедливо, ради исполнения государственного договора, в который вступал и он в качестве гражданина и в силу которого он обеспечивал себе безопасное пользование своей жизнью, свободой и собственностью, внося в качестве залога всеобщей безопасности и свою жизнь, свободу и собственность, и теперь этот залог отбирается.

Предложенная здесь теория наказания, для здравого ума непосредственна ясная, в главном конечно мысль не новая. В своих основных чертах она содержится уже в том, что говорит об этом Пуфендорф - "De officio hominis et civis" ["Об обязанности человека и гражданина"] кн. II, гл. 13. К ней же примыкает и Гоббс: "Левиафан", гл. 15 и 28. Мало того, мы находим её уже в изречениях древних философов; так, Платон ясно излагает её в "Протагоре", в "Горгии", наконец, в одиннадцатой книге "Законов". Сенека отлично выражает мнение Платона и теорию любого наказания в следующих немногих словах: *Nemo prudens punit, quia peccatum est; sed ne peccetur* [Благоразумный человек наказывает не за совершение проступка, а для того, чтобы он не совершался впредь] (*De Ira*, I, 16). [3. 329, гл. 62]

### 3.6. Уголовное право. Степень наказания

В основе уголовного права должен бы, по моему мнению, лежать тот принцип, что наказывается собственно не человек, а только поступок, - для того чтобы последний не совершился ещё раз: преступник - это лишь материал, на котором карается поступок, - для того чтобы закон, в результате которого наступает

наказание, сохранил свою устрашающую силу. Это и нужно понимать под выражением : "он подвергся действию закона".

По воззрению Канта, которое сводится к известному принципу воздаяния, наказанию подвергается не поступок, а человек. И пенитенциарная система стремится наказать не столько поступок, сколько человека, для того чтобы он исправился. Этим она устраняет истинную цель наказания - устрашение перед поступком, - для того чтобы достигнуть очень проблематической цели исправления. Но вообще никогда нельзя одним средством стремиться к достижению двух разных целей; тем более надо сказать это о тех случаях, когда обе цели в том или другом смысле противоположны. Воспитание, это - благодеяние; наказание, это - страдание: пенитенциарная система хочет одновременно осуществить и то, и другое.

Далее, как бы ни было велико то участие, которое грубость и невежество, в союзе с внешней нуждой, принимают во многих преступлениях, все-таки нельзя приписывать им главной роли, потому что бесчисленное множество других людей, живущих в той же грубости и в совершенно сходных обстоятельствах, не совершают преступлений. Главную роль в последних играет поэтому личный, моральных характер, а последний, как я это выяснил [см. ниже - прим.сост] в своем конкурсном сочинении о свободе воли, безусловно не меняется. Поэтому действительное моральное исправление даже и невозможно, - возможно только устрашение перед поступком. Наряду с этим, конечно, возможно достигнуть и того, чтобы преступник просветлел умом и чтобы в нём проснулась любовь к труду: результат покажет, насколько это возрождение продолжительно. Кроме того, из установленной мною в тексте цели наказания явствует, что, насколько возможно, мнимая тягость его должна преобладать над действительною, - между тем одиночное заключение достигает обратного. О великой муке его никто не свидетельствует, и тот, кто ещё не испытал её, совсем не может её предвосхитить и оттого не страшится перед ней. Человеку, которого нужда и горе манят к преступлению, она грозит противоположным полюсом человеческого страдания - скукой; но, как справедливо замечает Гёте:

"Если ждёт нас тягостная мука,

Нам желанной гостьей будет скука".

И для человека, находящегося в таком положении нужды, перспектива одиночного заключения так же не страшна, как и вид тех чертогообразных тюрем, которые честные люди строят для мошенников. Если рассматривать одиночные тюрьмы как учреждения воспитательные, то остается сожалеть о том, что попасть туда можно, только совершив преступление, - лучше было бы, если бы они последнее опережали...

Если, как учил Беккария, наказание должно строго соответствовать преступлению, то это основывается не на том, что первое должно служить искуплением за последнее, а на том, что залог должен соответствовать ценности того, за что он оставлен. В силу этого каждый вправе требовать в залог безопасности собственной жизни чужую жизнь; но он не вправе требовать того же в залог безопасности своего имущества, потому что для последнего достаточным залогом является чужая свобода.

Вообще, правильным масштабom для грозящего наказания являются те вредные последствия, которые желательно предотвратить, - а не служит подобным масштабom нравственная несостоятельность запрещенного деяния. При определении степени наказания наряду с размерами предупреждаемых вредных последствий необходимо принимать в расчёт и силу мотивов, побуждающих к запретному деянию. Совсем другое мерило для наказания надо бы употреблять, если бы истинным основанием для него служило искупление, возмездие, "равным – за равное". Но уголовный кодекс не должен быть ничем иным, как перечнем мотивов, противодействующих возможным преступным деяниям [противомотивов]; и оттого каждый из этих мотивов должен значительно перевешивать мотивы к таким деяниям, и тем в большей степени, чем сильнее тот вред, который может произойти от предотвращаемого законом деяния, чем сильнее искушение к последнему и чем труднее изобличение преступника; конечно, все это должно опираться на ту верную предпосылку, что воля не свободна, а определяется мотивами, - иначе к ней нельзя было бы даже подступиться. Вот что я хотел сказать по поводу своего учения о праве. [1. 620-622; 2. 142-144 : гл. XLVII "К этике"].

### 3.7. Гражданский закон

Юстиции и полиции не всегда бывает достаточно, существуют проступки, открытие которых слишком трудно, даже такие, наказание которых ведет к сомнительным результатам, - в этих случаях, стало быть, мы лишены общественной защиты. К тому же, гражданский закон, самое большое, может побудить к справедливости, но не к человеколюбию и добрым делам уже по той причине, что тогда каждый захотел бы быть пассивной и никто не хотел бы быть активной стороной. [5. 188 : разд. III "Обоснование этики", гл. 13].

### 4. Несвобода человеческих деяний и ответственность

#### 4.1. Понятие характера

Мотив действует при условии некоторого внутреннего побуждения, т.е. определенных свойств воли, которые называются характером последней; каждый мотив даёт этому характеру только определённое направление, - индивидуализирует его для конкретного случая.

Характер - устойчивое и неизменное свойство воли, приводящееся в движение самыми различными мотивами, к которым он приспособляется, отчего возникающие из него действия могут быть очень разнообразны, но при этом носят отпечаток одного и того же. [1. 352-353, - гл. XXVII. "Об инстинкте и творческом влечении".]

#### 4.2. Свобода воли и несвобода в действии

Безосновность воли, действительно, и признали там, где она проявляется наиболее очевидно, как воля человека, и назвали последнюю свободной, независимой. Но в то же время из-за безосновности самой воли проглядели необходимость, коей всюду подчинено её проявление, и объявили действия свободными, чем они быть не могут, так как всякое отдельное действие вытекает со строжайшей необходимостью из влияния мотива на характер. Всякая необходимость, как уже сказано, только отношение следствия к причине и никак не что иное. Закон основания - общая форма всякого явления, и человек в своей деятельности, подобно всякому другому явлению, должен ему подчиняться. Но так как в самосознании воля познается непосредственно и сама по себе, то в этом сознании заключается и сознание свободы. Но упускается из виду, что индивидуум, лицо уже не воля сама в



себе, а уже проявление воли, и как такое уже определено и вошло в форму явления, - закон основания. Из этого происходит та изумительная вещь, что всякий *a priori* [до опыта] считает себя вполне свободным, даже в своих отдельных действиях, и думает, что может каждую минуту начать новый образ жизни, что значило бы сделаться другим. Но *a posteriori*, по опыту, он находит, к своему удивлению, что он не свободен, а подчинен необходимости, что, несмотря на все планы и размышления, он не изменяет своих действий и вынужден с начала и до конца своей жизни проводить тот же, им самим же осуждаемый характер, как бы до конца разыгрывая принятую на себя роль. [2, 42; 3, 142 : гл. 23]

#### 4.3. Неизменность характера

В своем конкурсном сочинении о свободе воли [см. 5. 82 : гл. III "Воля перед сознанием других вещей"] я выяснил изначальность и неизменность прирожденного характера, из которого вытекает моральная прирожденность нашей жизненной работы. Это - несомненный фактор. Но для того чтобы брать проблемы во всей их значительности, необходимо время от времени резко противопоставлять друг другу противоположные моменты. На них можно убедиться, как невероятно велико прирожденное различие между человеком и человеком, как в моральном, так и в интеллектуальном отношениях. [...] Невозможно допустить, чтобы такие черты различия, которые изменяют всю сущность человека и ничем не могут быть устранены, которые, далее, в конфликте с обстоятельствами определяют все течение его жизненного пути, - невозможно, говорю я, допустить, чтобы такие черты различия были присущи их носителю безо всякой вины или заслуги с его стороны и являлись делом простого случая. Уже отсюда явствует, что человек в известном смысле должен быть своим собственным произведением. [1. 619; 2. 144-145 : гл. XLVII "К этике"].

#### 4.4. Ответственность, однако, за деяния

Впервые Гоббс, затем Спиноза, затем Юм, а также Гольбах в "Системе природы" и, наконец, всего подробнее и основательнее Пристли настолько ясно доказали и поставили вне сомнения полную и строгую необходимость волевых актов при проявлении мотивов, что она должна быть причислена к вполне установленным

истинам, так что продолжать разговоры о свободе отдельных поступков человека, о *libero arbitrio indifferentiae* [безразличной свободе воли (лат.)], могли лишь невежество и недоразвитость. И Кант, благодаря неопровержимым доводам этих своих предшественников, принимал полную необходимость волевых актов как нечто непреложное. [..]

При этом, однако, остается фактом, что наши поступки сопровождаются сознанием самовласти и изначальности, в силу чего мы признаем их за наше дело и всякий с несомненной уверенностью чувствует себя действительным деятелем своих деяний и морально за них ответственным. А так как ответственность так или иначе предполагает возможность в прошлом иного поведения, т.е. свободу, то в сознании ответственности непосредственно содержится также сознание свободы. И вот найденным наконец ключом для решения этого из самой сущности дела возникающего противоречия было кантовское глубокомысленное различие между явлением и вещью в себе, составляющее глубочайшее различие между явлением и вещью в себе, составляющее глубочайшую суть всей его философии и именно её главную заслугу.

Это кантовское учение и сущность свободы вообще можно уяснить себе также, поставив их в связь с одной общей истиной, наиболее сжатым выражением которой я считаю довольно часто попадающееся у схоластов положение: "*Operari sequitur esse*" ["действие следует из бытия" - лат.], т.е. всякая вещь на свете действует сообразно с тем, что она есть, сообразно со своей природой, в которой поэтому уже *potencia* содержатся все её проявления, наступая *actu*, когда их вызывают внешние причины, чем и обнаруживается именно сама эта природа. Это - эмпирический характер, тогда как его внутреннюю, недоступную опыту, последнюю основу служит, умпостигаемый характер, т.е. внутренняя сущность данной вещи.

Человек не составляет исключения из остальной природы; и у него есть свой неизменный характер, который однако вполне индивидуален и у каждого иной. Последний-то и эмпиричен для нашего восприятия, но именно поэтому он есть лишь явление; что же представляет он по своей внутренней сущности, называется умпостигаемым характером. Все его поступки, определяемые в своих внешних

свойствах мотивами, никогда не могут оказаться иными, нежели это соответствует этому неизменному индивидуальному характеру: каков кто есть, так должен он и поступать.

Вот почему для данного индивидуума в каждом данном отдельном случае безусловно возможен лишь один поступок: *operari sequitur esse*. Свобода относится не к эмпирическому, а единственно к умопостигаемому характеру. *Operari* данного человека с необходимостью определяется извне мотивами, изнутри же - его характером, поэтому все, что он делает, совершается необходимо. Но в его *esse* вот где лежит свобода. Он мог бы быть иным, и в том, что он есть, содержится вина и заслуга. Ибо все, что он делает, вытекает отсюда само собою как простой королларий.

Благодаря теории Канта мы освобождаемся, собственно, от основного заблуждения, которое необходимость относило к *esse*, а свободу к *operari*, и приходим к выводу, что дело обстоит как раз наоборот. Поэтому, хотя моральная ответственность человека прежде всего и видимо касается того, что он делает, в сущности же она относится к тому, что он есть, ибо, раз дано последнее, его поведение при появлении мотивов никогда не могло бы оказаться иным, нежели оно было.

Но как ни строга необходимость, с какой при данном характере навязываются мотивами деяния, тем не менее никому, даже и тому, кто в этом убежден, никогда не придет в голову находить себе в этом оправдание и сваливать вину на мотивы, ибо человек ясно сознает, что здесь, судя по делу и поводам, т.е. *objective*, вполне был возможен и даже получился бы совершенно иной, даже противоположный поступок, если бы только он сам был иным. А что он, как это явствует из поступка, таков, а не иной - вот за что он чувствует себя в ответе, здесь, в *esse*, лежит то место, куда направлен бич совести.

#### 4.5. Совесть

Ибо совесть - это именно лишь из собственного образа действий получающееся и все интимнее становящееся знакомство с собственным "я". Поэтому укоры совести, возникая по поводу *operari*, все-таки направлены против *esse*. Так как мы сознаем за

собою свободу. лишь через посредство ответственности, то где содержится последняя, там же должна содержаться и первая - стало быть, в *esse*. *Operari* находится во власти необходимости. Но, подобно тому как с другими, точно так же и с самими собою мы знакомимся лишь эмпирически, и у нас нет никакого априорного знания о своем характере. Напротив, мы имеем о нём первоначально очень высокое мнение, так как правило "*Quisque praesumitur bonus, donee probetur contrarium*" ["Всякий предполагается хорошим, пока не доказано противное" - лат.] имеет силу и перед внутренним *foro* [судом лат.]. [5. 180-182: разд. II "Критика основы, указанной для этики Кантом", гл. 10].

#### 4.6. Раскаяние

Нравственное раскаяние обуславливается тем, что до совершения поступка влечение к нему не оставляет интеллекту свободной арены и не даёт ему отчётливо и в совершенстве рассмотреть противодействующие мотивы, а наоборот, все время навязывает ему именно такие мотивы, которые к этому поступку склоняют, когда же последнее совершится, эти настоятельные мотивы самим поступком нейтрализуются, т.е. теряют свою силу, и вот теперь действительность показывает интеллекту противоположные мотивы, ввиду наступивших уже результатов поступка, и интеллект узнает теперь, что они оказались бы сильнее своих соперников, если бы он только надлежащим образом рассмотрел и взвесил их. Человек убеждается таким образом, что он сделал нечто такое, что собственно не соответствует его воле: это сознание и есть раскаяние. Он поступал прежде не с полной интеллектуальной свободой, потому что не все мотивы достигли тогда действительной силы. То, что подавило мотивы, противодействовавшие поступку, это, если последний был поспешен, - аффект, если он был обдуман, - страсть. Часто бывает и так, что разум хотя и показывает человеку в абстракции противоположные мотивы, но не находит себе опоры в достаточно сильной фантазии, которая в образах рисовала бы ему всю их вескость и истинное значение. Примерами сказанного могут быть те случаи, когда жажда мести, ревность, корыстолюбие доводят человека до смертоубийства; когда же последнее совершится, все эти мотивы угасают, и теперь поднимают свой голос справедливость, жалость, воспоминание о прежней дружбе и

говорят все то, что они сказали бы и раньше, если бы только им предоставили слово. И тогда приходит горькое раскаяние и говорит: "если бы это уже не случилось, - это не случилось, это не случилось бы никогда". [1. 616; 2. 138 : гл. XLVII "К этике"]. .

## 5. Пути облагораживания человечества

Если теперь нашу теорию о том, что характер наследуется от отца, а интеллект от матери, мы приведем в связь с нашей прежней мыслью о той значительной разнице, которую природа установила между человеком и человеком, а также и с нашим взглядом на полную неизменность как характера, так и умственных способностей, то мы придем к тому убеждению, что действительное облагораживание человечества может быть достигнуто не столько извне, сколько изнутри, т.е. не просвещением и наукой, а на чисто физиологическом пути размножения. Нечто подобное имел ввиду Платон, когда в пятой книге своей "Республики" набрасывал свой удивительный план, как усилить и облагородить свою воинскую касту. Если бы можно было кастрировать всех негодяев и запереть в монастырь всех дур, если бы можно было людям благородного характера предоставить целый горем, а всех умных и даровитых девушек снабдить мужьями, и притом мужьями в полном смысле этого слова, - то скоро народилось бы такое поколение, которое своим блеском затмило бы век Перикла. Но и не углубляясь в подобные утопии, все таки стоит подумать о том, что если бы в числе наказаний, как самое тяжкое после смертной казни, существовала кастрация (если не ошибаюсь, так это действительно имело место у некоторых древних народов), то из мира исчезли бы целые поколения негодяев, - тем более что, как известно, большинство преступлений совершается уже в возрасте между двадцатью и тридцатью годами. [1. 544-545, - гл. XLIII. "Наследственность свойств".]

В Англии кем-то было предложено кастрировать воров. Предложение не дурно. Наказание очень сурово, - оно покрывает человека позором и в то же время не мешает его способности к работе; притом, если склонность к воровству наследственна, то это последнее парализуется. От подобной кары укрощается дух человека, и ввиду того, что к воровским подвигам весьма часто склоняет половой

инстинкт, то отпадает и этот повод к ним. [Сообщение Лихтенберга 1804 г., см. 1. 545 сн.] .

## ВЫВОД

Таким образом, мы признали в государстве средство, с помощью которого эгоизм, вооруженный разумом, старается избежать собственных дурных последствий, направляющихся против него самого; при этом каждый способствует благу всех, так как видит, что в общем благе заключается и его собственное. Если бы государство вполне достигло своей цели, то оно, все более покоряя себе и остальную природу посредством объединенных в нём человеческих сил, в конце концов уничтожило бы всякого рода беды и могло бы в известной мере превратиться в нечто похожее на страну Шларифию (158 по каноническому изданию сказок братьев Гримм). Но, во-первых, оно все ещё очень далеко от этой цели; во-вторых, другие, все ещё бесчисленные беды, присущие жизни, по прежнему держали бы её во власти страдания; и если бы даже все они и были устранены, то каждое освободившееся место тотчас же занимала скука; в-третьих, государство никогда не может совершенно устранить распри индивидов, ибо она в мелочах досаждала там, где её изгоняют в крупном; и, наконец, Эрида, благополучно вытесненная изнутри, устремляется вовне: изгнанная государственным укладом как соперничество индивидов, она возвращается извне как война народов и, подобно возросшему долгу, требует сразу и в большей сумме тех кровавых жертв, которые в мелочах были отняты у неё разумной предусмотрительностью. И если даже предположить, что, умудрённое опытом тысячелетий, человечество, наконец, все это одолеет и устранит, то последним результатом оказался бы действительный избыток населения всей планеты, а весь ужас этого может себе представить теперь только смелое воображение. [3. 329, гл. 62] .

**Л.Н.Толстой «Не убий» Полн. собр. соч. Т.34. М., 1952г.**

Не убий (Исход XX, 13)

Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его (Лк. VI, 40).

...Ибо все, взявшие меч, мечом погибнут (Мф., XXVI, 52).

И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. VII, 12).

Когда по суду казнят королей, как Карла I, Людовика XVI, Максимилиана Мексиканского, или в дворцовых революциях убивают их, как Петра III, Павла и разных султанов, шахов и богдыханов, то об этом обыкновенно молчат; но когда убивают их без суда и без дворцовых революций, как Генриха IV, Александра II, императрицу австрийскую, шаха персидского и теперь Гумберта, то такие убийства возбуждают среди королей и императоров и их приближенных величайшее удивленное негодование, точно как будто эти люди никогда не принимали участия в убийствах, не пользовались ими, не предписывали их. А между тем самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, были виновниками, участниками и сообщниками, – не говоря уже о домашних казнях, – убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений; недобрые же короли и императоры были виновниками сотен тысяч, миллионов убийств.

Учение Христа отменяет закон: «око за око и зуб за зуб», но те люди, которые не только всегда держались, но и теперь держатся этого закона и в ужасающих размерах, в наказаниях и на войнах, применяют его и, кроме того, не только око за око, но без всякого вызова предписывают убивать тысячи, как они это делают, объявляя войны, – не имеют права возмущаться на применение к ним этого закона в такой малой и ничтожной степени, что едва ли придется один убитый король или император на сто тысяч, а может быть, и миллион убитых и убиваемых по распоряжениям и с согласия королей и императоров. Королям и императорам не только нельзя возмущаться на такие убийства, как Александра II или Гумберта, но должно удивляться, как так редкие такие убийства после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подают людям.

Люди толпы так загипнотизированы, что видят и не понимают значения того, что постоянно совершается перед ними. Они видят постоянную заботу всех королей, императоров, президентов о дисциплинированном войске, видят те смотры, парады, маневры, которые они делают, которыми хвастаются друг перед другом, и с увлечением бегают смотреть на то, как **их** братья, наряженные в дурацкие, пестрые, блестящие одежды, под звуки барабанов и труб превращаются в машины и, по крику одного человека, делают все в раз одно и то же движение и не понимают того, что это значит. Но ведь значение этого очень просто и ясно: это не что иное, как приготовление к убийству. Это – одурение людей для того, чтобы сделать их орудиями убийства. И делают это, и заведуют этим, и гордятся этим только короли, императоры и президенты. И они-то, специально занятые убийством, сделавшие себе профессию из убийства, всегда носящие военные мундиры и орудия убийства – шпаги на боку, ужасаются и возмущаются, когда убивают одного из них.

Убийства королей, как последнее убийство Гумберта, ужасны не по своей жестокости. Дела, совершаемые по распоряжениям королей и императоров, – не только прошедшего, как Варфоломеевская ночь, избиения за веру, ужасные усмирения крестьянских бунтов, версальские бойни, – но и теперешние правительственные казни, замаривания в одиночных тюрьмах, дисциплинарных батальонах, вешания, отрубания голов, побоища на войнах, – без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами. Ужасны эти убийства и не по своей незаслуженности. Если Александр II и Гумберт не заслуживали убийства, то еще менее заслуживали его тысячи русских, погибших под Плевной, и итальянцев, гибших в Абиссинии. Ужасны такие убийства не по жестокости и незаслуженности, а по неразумию тех, которые их совершают.

Если убийцы королей делают это под влиянием личного чувства негодования, вызванного страданиями порабощенного народа, виновниками которых им представляются Александр, Карно, Гумберт, или личного чувства оскорбления и мести, – то как ни безнравственны такие поступки, они понятны; но каким образом организация людей, – анархистов, как говорят теперь, – выславшая Бресси и угрожающая другим императорам, ничего лучшего не может придумать для



улучшения положения людей, как убийство тех, уничтожение которых настолько же может быть полезно, насколько отрезание головы у того сказочного чудовища, у которого на место отрезанной головы тотчас же вырастает новая? Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место. *Le roi est mort, vive le roi!* (Король умер, – да здравствует король!) Так зачем же убивать их?

Только при самом поверхностном взгляде убийство этих людей может представляться средством спасения от угнетения народа и войн, губящих жизни человеческие. Стоит только вспомнить о том, что такие же угнетения и такие же войны происходили всегда, независимо от того, кто стоял во главе правительства: Николай или Александр, Фридрих или Вильгельм, Наполеон или Людовик, Пальмерстон или Гладстон, Карно или Фор, Мак Кинлей или другой кто, – для того, чтобы понять, что не какие-либо определенные люди причиняют эти угнетения и войны, от которых страдают народы. Бедствия людей происходят не от отдельных лиц, а от такого устройства общества, при котором все люди так связаны между собою, что все находятся во власти нескольких людей, или, чаще, одного человека, который или которые так развращены этим своим противоестественным положением над судьбою и жизнью миллионов людей, что всегда находятся в болезненном состоянии, всегда в большей или меньшей степени одержимы манией *grandiosa* (величия), которая незаметна в них только вследствие их исключительного положения. Не говоря уже о том, что люди эти с первого детства и до могилы окружены самой безумной роскошью и всегда сопутствующей им атмосферой лжи и подбострастия, все воспитание их, все занятия, всё сосредоточено на одном: на изучении прежних убийств, наилучших способов убийств в наше время, наилучших приготовлений к убийствам. С детских лет они учатся убийству во всех возможных формах, всегда носят при себе орудия убийства: сабли, шпаги, наряжаются в разные мундиры, делают парады, смотры, маневры, ездят друг к другу, даря друг другу ордена, полки, и не только ни один человек не назовет им того, что они делают, настоящим именем, не скажет им, что заниматься приготовлениями к убийству

отвратительно и преступно, но со всех сторон они слышат только одобрения, только восторги перед этой их деятельностью. За всяким их выездом, парадом, смотром бежит толпа людей и восторженно приветствует их, и им кажется, что это весь народ выражает одобрение их деятельности. Та часть прессы, которую одну они видят и которая им кажется выражением чувств всего народа или лучших представителей его, самым раболепным образом не переставая возвеличивает все их слова и поступки, как бы глупы и злы они ни были. Приближенные же мужчины, женщины, духовные, светские, – все люди, не дорожающие человеческим достоинством, стараясь перещеголять друг друга утонченной лестью, во всем потворствуют им и во всем обманывают их, не давая им возможности видеть настоящую жизнь. Люди эти могут прожить сто лет и никогда не увидеть настоящего свободного человека и никогда не услышать правды. Ужасаешься иногда, слушая слова и видя поступки этих людей; но стоит только вдуматься в их положение, чтобы понять, что всякий человек на их месте поступал бы так же. Разумный человек, очутившийся на их месте, поступал бы так же. Разумный человек, очутившийся на их месте, может сделать только один разумный поступок: уйти из этого положения; оставаясь же в их положении, всякий будет делать то же самое.

В самом деле, что должно сделаться в голове какого-нибудь Вильгельма германского, ограниченного, мало образованного, тщеславного человека с идеалом немецкого юнкера, когда нет той глупости и гадости, которую бы он сказал, которая бы не встречена была восторженным hoch (ура) и, как нечто, в высшей степени важное, не комментировалось бы прессой всего мира. Он скажет, что солдаты должны убивать по его воле даже своих отцов – кричат ура! Он скажет, что евангелие надо вводить железным кулаком – ура! Он скажет, что в Китае войска должны не брать в плен, а всех убивать, и его не сажают в смиренный дом, а кричат ура и плывут в Китай исполнять его предписание. Или скромный по природе Николай II начинает свое царствование тем, что объявляет почтенным старикам на их желание обсуждать свои дела, что самоуправление есть бессмысленные мечтания, и те органы печати, те люди, которых он видит, восхваляют его за это. Он предлагает детский, глупый и лживый проект всеобщего мира, в то же время делает

распоряжение об увеличении войск, и нет пределов восхвалению его мудрости и добродетели. Без всякой надобности, бессмысленно и безжалостно он оскорбляет и мучает целый народ – финляндцев, и опять слышит только одобрения. Устраивает наконец, ужасную по своей несправедливости, жестокости и несообразности с проектом мира, китайскую бойню, и все, со всех сторон, восхваляют его в одно и то же время и за победы, и за продолжение мирной политики своего отца. В самом деле, что должно делаться в головах и сердцах этих людей?

Так что виноваты в угнетениях народов и в убийствах на войнах не Александры, и Гумберты, и Вильгельмы, Николаи, и Чемберлены, руководящие этими угнетениями и войнами, а те, кто поставили и поддерживают их в положении властителей над жизнью людей. И потому не убивать надо Александров, Николаев, Вильгельмов, Гумбертов, а перестать поддерживать то устройство обществ, которое их производит. А поддерживает теперешнее устройство обществ – эгоизм людей, продающих свою свободу и честь за свои маленькие материальные выгоды.

Люди, стоящие на низшей ступени лестницы, частью вследствие одурения патриотическим и ложно-религиозным воспитанием, частью вследствие личной выгоды, поступаются своей свободой и чувством человеческого достоинства в пользу людей, стоящих выше их и предлагающих им материальные выгоды. В таком же положении находятся и люди, стоящие на несколько высшей ступени лестницы, и также вследствие одурения и преимущественно выгоды поступаются своей свободой и человеческим достоинством; то же и с стоящими еще выше, и так это идет до самых высших ступеней – до тех лиц, или до того одного лица, которое стоит на вершине конуса и которому уже нечего приобретать, для которого единственный мотив деятельности есть властолюбие и тщеславие и которое обыкновенно так развращено и одурено властью над жизнью и смертью людей и связанной с нею лестью и подбострастием окружающих его людей, что, не переставая делая зло, вполне уверено, что оно благодетельствует человечество.

Народы, сами жертвуя своим человеческим достоинством для своих выгод, производят этих людей, которые не могут делать ничего другого, как то, что они

делают, а потом сердятся на них за их глупые и злые поступки. Убивать этих людей, – все равно, что избаловать детей, а потом сечь их.

Для того чтобы не было угнетения народа и ненужных войн и чтобы никто не возмущался на тех, кто кажется виновниками их, и не убивал **их**, надо, казалось бы, очень мало, а именно только то, чтобы люди понимали вещи, как они есть, и называли их настоящими именами; знали бы, что войско есть орудие убийства и собирание и управление войском, – то самое, чем с такой самоуверенностью занимаются короли, императоры, президенты, – есть приготовление к убийству.

Только бы каждый король, император, президент понимал, что его должность заведования войсками не есть почетная и важная обязанность, как внушают ему его льстецы, а скверное и постыдное дело приготовления к убийствам, и каждый частный человек понимал бы, что уплата податей, на которые нанимают и вооружают солдат, и тем более поступление в военную службу не есть безразличный поступок, а дурной, постыдный поступок не только поощрения, но участия в убийстве, – и сама собой уничтожилась бы та возмущающая нас власть императоров, президентов и королей, за которую теперь убивают их.

Так что не убивать надо Александров, Карно, Гумбертов и других, а надо разъяснить им то, что они сами убийцы, и, главное, не позволять им убивать людей, отказываться убивать по их приказанию. Если люди еще не поступают так, то происходит это только от того гипноза, в котором правительства из чувства самосохранения старательно держат их. А потому содействовать тому, чтобы люди перестали убивать и королей, и друг друга, можно не убийствами -убийства, напротив, усиливают гипноз, а пробуждением от него. Это самое я и пытаюсь делать этой заметкой.

8 августа 1900.

**Л.Н.Толстой. «Царство божие внутри вас, или христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»**

Познаете истину, и истина освободит вас. (Иоанн. VII, 32)

И не бойтесь убивающих тело, души же могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне. (Матф. X, 28)

Вы куплены дорогою ценою – не делайтесь рабами человеков. (К Коринфянам VII, 22)

## I

Одним из первых откликов на мою книгу были письма от американских квакеров. В письмах этих, выражая свое сочувствие моим взглядам о незаконности для христианина всякого насилия и войны, квакеры сообщили мне подробности о своей, так называемой, секте, более 200 лет исповедующей на деле учение Христа о непротivлении злу насилием и не употреблявшей и теперь не употребляющей для защиты себя оружия. Вместе с письмами квакеры присылали мне свои брошюры, журналы и книги. Из этих присланных мне ими журналов, брошюр и книг я узнал, до какой степени уже много лет тому назад ими неопровержимо была доказана для христианина обязанность выполнения заповеди о непротivлении злу насилием и была обличена неправильность церковного учения, допускающего казни и войны.

Целым рядом рассуждений и текстов доказав то, что с религией, основанной на миролюбии и благоволении к людям, несовместима война, т.е. калечение и убийство людей, квакеры утверждают и доказывают, что ничто столько не содействовало затемнению Христовой истины в глазах язычников и не мешало распространению христианства в мире, как непризнание этой заповеди людьми, именовавшими себя христианами, – как разрешение для христиан войны и насилия.

"Христово учение, вошедшее в сознание людей не посредством меча и насилия, говорят они, а посредством непротivления злу, посредством кротости, смирения и миролюбия, – только примером мира, согласия и любви между своими последователями и может распространиться в мире".

"Христианин, по учению самого Бога, может быть руководим в отношениях к людям только миролюбием, и потому не может быть такого авторитета, который заставил бы христианина действовать противно учению Бога и главного свойства христианина по отношению своих близких".

"Правило государственной необходимости, говорят они, может заставить изменить закону Бога тех, которые ради житейских выгод стараются согласить несогласимое, но для христианина, который истинно верит тому, что следование учению Христа дает ему спасение, правило это не может иметь никакого значения".

Знакомство с деятельностью квакеров и их сочинениями: с Фоксом, Пэнном и в особенности с книгой Даймонда (Dymond) 1827 г. – показало мне, что не только давным-давно признана невозможность соединения христианства с насилием и войною, но что эта несовместимость давным-давно так ясно и несомненно доказана, что надо только удивляться, каким образом может продолжаться это невозможное соединение христианского учения с насилием, которое проповедовалось и продолжает проповедоваться церквами.

Кроме сведений, полученных мною от квакеров, около этого же времени я получил тоже из Америки сведения о том же предмете из совершенно другого и прежде мне вовсе неизвестного источника. Сын Вильяма Ллойда Гаррисона, знаменитого борца за свободу негров, писал мне, что, прочтя мою книгу, в которой он нашел мысли, сходные с теми, которые были выражены его отцом в 1838 году, он, полагая, что мне будет интересно узнать это, присылает мне составленную его отцом почти 50 лет назад декларацию или провозглашение непротивления – "Non resistance".

Провозглашение это возникло при следующих условиях: Вильям Ллойд Гаррисон, рассуждая в существовавшем в 1838 году в Америке обществе для установления мира между людьми о мерах прекращения войны, пришел к заключению, что установление всеобщего мира может быть основано только на явном признании заповеди непротивления злу насилием (Мф. V, 39) во всем ее значении, так, как понимают ее квакеры, с которыми Гаррисон находился в дружеских отношениях. Придя к такому заключению, Гаррисон и составил тогда и предложил обществу следующее провозглашение, которое было подписано тогда, в 1838 году, многими членами.

## ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ОСНОВ, ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА, ОСНОВАННОГО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ВСЕОБЩЕГО МИРА (Бостон 1838 г.)

Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом по отношению к себе, к делу, близкому нашему сердцу, к стране, в которой мы живем, и ко всему остальному миру огласить это наше исповедание, выразив в нем те основы, которых мы держимся, цели, к которым мы стремимся, и средства, которые мы намерены употреблять для достижения всеобщего благодетельного и мирного переворота. Вот это наше исповедание.

Мы не признаем никакого человеческого правительства. Мы признаем только одного царя и законодателя, только одного судью и правителя над человечеством. Отечеством нашим мы признаем весь мир, соотечественниками своими признаем все человечество. Мы любим свою родину столько же, сколько мы любим и другие страны. Интересы, права наших сограждан нам не дороже интересов и прав всего человечества. Поэтому мы не допускаем того, чтобы чувство патриотизма могло оправдывать мщение за обиду или за вред, нанесенный нашему народу...

Мы признаем, что народ не имеет права ни защищать себя от внешних врагов, ни нападать на них. Мы признаем также, что отдельные лица в своих личных отношениях не могут иметь этого права. Единица не может иметь большего значения, чем совокупность их. Если правительство не должно оказывать сопротивления чужестранным завоевателям, имеющим целью опустошать наше отечество и избивать наших сограждан, то точно так же не должно быть оказываемо сопротивление силою отдельным лицам, нарушающим общественное спокойствие и грозящим частной безопасности. Проповедуемое церквами положение о том, что все государства на земле установлены и одобряемы Богом и что все власти, существующие в Соединенных Штатах, в России, в Турции, соответствуют воле Бога, столь же нелепо, как и кощунственно. Это положение представляет творца нашего существом пристрастным и устанавливающим и поощряющим зло. Никто не решится утверждать того, чтобы власти, существующие в какой бы то ни было стране, действовали по отношению к своим врагам в духе учения и по примеру

Христа. А потому деятельность этих властей не может быть приятна Богу, и потому и власти эти не могли быть установлены Богом и должны быть низвергнуты не силою, но духовным возрождением людей.

Мы признаем нехристианскими и незаконными не только самые войны – как наступательные, так и оборонительные, – но и все приготовления к войнам: устройство всяких арсеналов, укреплений, военных кораблей; признаем нехристианским и незаконным существование всяких постоянных армий, всякого военного начальства, всяких памятников, воздвигнутых в честь побед или павших врагов, всяких трофеев, добытых на поле сражения, всяких празднований военных подвигов, всяких присвоений, совершенных военной силой; признаем нехристианским и незаконным всякое правительственное постановление, требующее военной службы от своих подданных.

Вследствие всего этого мы считаем для себя невозможным не только службу в войсках, но и занятие должностей, обязующих нас принуждать людей поступать хорошо под страхом тюрьмы или смертной казни. Мы поэтому добровольно исключаем себя из всех правительственных учреждений и отказываемся от всякой политики, от всяких земных почестей и должностей.

Не считая себя вправе занимать места в правительственных учреждениях, мы точно так же не считаем себя вправе и избирать на эти места других лиц. Мы также считаем себя не вправе судиться с людьми, чтобы заставить их возвратить взятое у нас. Мы считаем, что мы обязаны отдать и кафтан тому, кто взял нашу рубашку, но никак не подвергать его насилию (Мф. V, 40.)

Мы верим в то, что уголовный закон Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб – отменен Иисусом Христом и что по Новому Завету всем его последователям проповедуется прощение врагам вместо мщения, во всех случаях без исключения. Вымогать же насилием деньги, запира́ть в тюрьму, ссы́лать или казнить, очевидно, не есть прощение обид, а мщение.

История человечества наполнена доказательствами того, что физическое насилие не содействует нравственному возрождению и что греховные наклонности человека могут быть подавлены лишь любовью, что зло может быть уничтожено только



добром, что не должно надеяться на силу руки, чтобы защищать себя от зла, что настоящая безопасность для людей находится в доброте, долготерпении и милосердии, что лишь кроткие наследуют землю, а поднявшие меч от меча погибнут.

И поэтому, как для того, чтобы вернее обеспечить жизнь, собственность, свободу, общественное спокойствие и частное благо людей, так и для того, чтобы исполнить волю того, кто есть царь царствующих и господь господствующих, мы от всей души принимаем основное учение непротивления злу злом, твердо веруя, что это учение, отвечая всем возможным случайностям и выражая волю Бога, в конце концов должно восторжествовать над всеми злыми силами. Мы не проповедуем революционного учения. Дух революционного учения есть дух мести, насилия и убийства. Он не боится Бога и не уважает личности человека. Мы же желаем быть преисполненны духа Христова. Следуя основному нашему правилу непротивления злу злом, мы не можем производить заговоров, смут или насилий. Мы подчиняемся всем узаконениям и всем требованиям правительства, кроме тех, которые противны требованиям Евангелия. Сопротивление наше ограничивается покорным подчинением, имеющим быть наложенными на нас за неповиновение, наказаниям. Намереваясь без сопротивления переносить все направленные на нас нападения, мы между тем, с своей стороны, намерены не переставая нападать на зло мира, где бы оно ни было, вверху или внизу, в области политической, административной или религиозной, стремясь всеми возможными для нас средствами к осуществлению того, чтобы царства земные слились в одно царство господа нашего Иисуса Христа. Мы считаем несомненной истиной то, что все то, что противно Евангелию и духу его и потому подлежит уничтожению, должно быть сейчас же уничтожаемо. И потому, если мы верим предсказанию о том, что наступит время, когда мечи перекуются на орала и копыя на серпы, мы сейчас же, не откладывая этого на будущее время, должны делать это по мере сил наших. И потому все те, которые выделывают, продают, употребляют оружие, содействуют всяким военным приготовлениям, этим самым вооружаются против мирного господства Сына Божьего на земле. Высказав наши основы, скажем теперь о том, какими путями мы надеемся достигнуть нашей цели. Мы надеемся победить "безумием проповеди".

Мы будем стараться распространять свои взгляды среди всех людей, к каким бы народам, исповеданиям и слоям общества они ни принадлежали. Для этой цели мы будем устраивать публичные чтения, распространять печатные объявления и брошюры, составлять общества и подавать прошения во всякие правительственные учреждения. Вообще будем стремиться всеми доступными для нас средствами к достижению коренного переворота во взглядах, чувствах и действиях нашего общества относительно греховности насилия по отношению к внешним и внутренним врагам. Принимаясь за это великое дело, мы вполне сознаем, что наша искренность может быть подвергнута жестоким испытаниям. Наша задача может навлечь на нас оскорбления, обиды, страдания и даже смерть. Нас ожидает непонимание, ложное толкование и клевета. Против нас должна подняться буря. Гордость и фарисейство, честолюбие и жестокость, правители и власти – все это может соединиться, чтобы уничтожить нас. Таким образом поступали с мессией, которому мы стремимся подражать по мере сил своих. Но нас не пугают эти ужасы. Мы надеемся не на людей, а на всемогущего господа. Если мы отказались от человеческого заступничества, что же может поддержать нас, как не одна вера, побеждающая мир? Мы не будем удивляться тем испытаниям, которым мы подвергаемся, а будем радоваться тому, что удостоимся разделить страдания Христа.

Вследствие всего этого мы предаем души свои Богу, веруя тому, что сказано, что тот, кто оставит дома и братьев и сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или поля ради Христа, получит во сто раз больше и наследует жизнь вечную.

Итак, твердо веруя, несмотря на все, что может вооружиться против нас, в несомненное торжество во всем мире основ, выраженных в этом провозглашении, мы прилагаем здесь свои подписи, надеясь на разум и совесть человечества, более же всего на силу Божью, которой и вручаем себя.

Вслед за этим провозглашением были основаны Гаррисоном общество непротивления и журнал, называвшийся "Непротивляющимся" ("Non-resistant"), в котором проповедовалось учение непротивления во всем его значении и со всеми его последствиями, как оно было выражено в провозглашении. Сведения о дальнейшей

судьбе общества и журнала непротивления получены мною из прекрасной биографии В.Л. Гаррисона, составленной его сыновьями.

Общество и журнал просуществовали недолго: большинство сотрудников Гаррисона по делу освобождения рабов, опасаясь того, чтобы слишком радикальные требования, выраженные в журнале "Непротивляющемся", не оттолкнули людей от практического дела освобождения негров, – большинство сотрудников отказалось от исповедания принципа непротивления, как он был выражен в провозглашении, и общество и журнал прекратили свое существование.

Это провозглашение Гаррисона, так сильно и красноречиво выражавшее такое важное для людей исповедание веры, казалось, должно бы было поразить людей и сделаться всемирно-известным и предметом всестороннего обсуждения. Но ничего подобного не было. Оно не только не известно в Европе, но среди американцев, столь высоко чтущих память Гаррисона, провозглашение это почти неизвестно.

Та же неизвестность постигла и другого борца за непротивление злу, недавно умершего, в продолжение 50 лет проповедовавшего это учение, американца Адина Баллу. До какой степени мало известно всё то, что относится к вопросу непротивления, видно из того, что Гаррисон-сын, написавший превосходную, в 4-х больших томах, биографию своего отца, этот Гаррисон-сын на вопрос мой о том, существует ли теперь общество непротивления и есть ли последователи его, отвечал мне, что, сколько ему известно, общество это распалось и последователей этого учения не существует, тогда как в то время, когда он писал мне, жил в Массачусетсе, в Нопедате, Адин Баллу, участвовавший в трудах отца Гаррисона и посвятивший 50 лет жизни на проповедь устно и печатно учения непротивления. Впоследствии я получил письмо от Вильсона, ученика и помощника Баллу, и вошел в сношение с самим Баллу. Я написал Баллу, и он отвечал мне и прислал мне свои сочинения. Вот некоторые выписки из них.

"Иисус Христос – мой господь и учитель, – говорит Баллу в одной из статей, обличающей непоследовательность христиан, признающих право защиты и войны. – Я обещал, оставив всё, следовать за ним, на худое и доброе до самой смерти. Но я гражданин демократической республики Соединенных Штатов, которой я присягал в

верности в том, что я буду поддерживать конституцию моей страны, если нужно, жертвою жизни. Христос требует от меня, чтобы я сделал другим то, что я хотел бы, чтобы мне делали. Конституция Соединенных Штатов требует от меня, чтобы я делал двум миллионам рабов (тогда были рабы, теперь на место их смело можно поставить рабочих) как раз обратное тому, что бы я хотел, чтобы мне делали, т. е. содействовал бы тому, чтобы держать их в том рабстве, в котором они находятся. И это ничего, я продолжаю избирать или избираться, я помогаю управлять, я даже готов быть выбран на какую-либо должность управления. Это не мешает мне быть христианином. Я продолжаю исповедовать и не нахожу затруднения исполнять завет с Христом и с правительством".

"Иисус Христос запрещает мне противиться делающим зло и лишать их ока за око и зуба за зуб, крови за кровь, жизни за жизнь".

"Мое правительство требует от меня как раз противного и защиту себя основывает на виселице, ружье, мече, употребляемых против своих домашних и внешних врагов. И соответственно этому страна снабжается виселицами, тюрьмами, арсеналами, военными кораблями и солдатами".

"В поддержании и употреблении этих дорогостоящих убийственных приспособлений мы можем весьма удобно осуществить добродетель прощения обижающих нас, любви к врагам, благословения проклиняющих нас и делания добра ненавидящим нас. Для этой цели у нас есть постоянные христианские священники, чтобы молиться за нас и призывать благословение Божие на святые убийства. Я все это вижу (т. е. противоречие исповедания и жизни) и продолжаю и исповедовать и управлять и горжусь тем, что я в одно и то же время и набожный христианин и преданный слуга правительству. Не хочу я согласиться с этим безумным понятием непротивления. Не могу я отказаться от своего влияния и оставить одних безнравственных людей во главе правительства. Конституция говорит: правительство имеет право объявлять войну, и я соглашаюсь, я поддерживаю это, я клянусь, что буду поддерживать. Я от этого не перестаю быть христианином. Война тоже христианская обязанность. Разве не христианское дело убить сотни тысяч ближних, насиловать женщин, разорять и сжигать города и делать всевозможные

жестокости? Пора бросить все эти выдуманные сентиментальности. Это самое настоящее средство прощать обиды и любить врагов. Если мы только делаем это в духе любви, ничего не может быть более христианского, как такое огульное убийство".

В другой брошюре, под заглавием: "Сколько нужно людей, чтобы преобразить злодейство в праведность", он говорит: "Один человек не должен убивать. Если он убил, он преступник, он убийца. Два, десять, сто человек, если они делают это, – они убийцы. Но государство или народ может убивать, сколько он хочет, и это не будет убийство, а хорошее, доброе дело. Только собрать побольше народа, и бойня десятков тысяч людей становится невинным делом. Но сколько именно нужно людей для этого?"

Вот в чем вопрос. Один не может красть, грабить, но целый народ может. Но сколько именно нужно для этого? Почему 1, 10, 100 человек не должны нарушать закона Бога, а очень много могут?"

А вот катехизис Баллу, составленный для его паствы.

## КАТЕХИЗИС НЕПРОТИВЛЕНИЯ

(Перевод сделан свободно, с некоторыми пропусками)

Вопр. – Откуда взято слово "непротивление"?

Отв. – Из изречения: не противься злему. Мф. V, 39.

Вопр. – Что выражает это слово?

Отв. – Оно выражает высокую христианскую добродетель, предписываемую Христом.

Вопр. – Следует ли слово непротивление принимать в самом его обширном смысле, т.е. что оно указывает на то, чтобы не делать никакого сопротивления злу.

Отв. – Нет, оно должно быть понимаемо в точном смысле наставления Спасителя, т.е. не платить злом за зло. Злу должно противиться всякими праведными средствами, но никак не злом.

Вопр. – Из чего видно, что Христос в таком смысле предписал непротивление?

Отв. – Из слов, которые он при этом сказал. Он говорил: Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.

Вопр. – О ком он говорил в словах: вы слышали, что сказано?

Отв. – О патриархах и пророках, о том, что они сказали, – что содержится в писаниях Ветхого Завета, который евреи обыкновенно называют Закон и пророки.

Вопр. – Какие предписания разумел Христос под словами: "вам сказано"?

Отв. – Те предписания, в которых Ной, Моисей и другие пророки дают право причинять личный вред носителям вреда, чтобы наказывать и уничтожать злые дела.

Вопр. – Приведите такие предписания.

Отв. – "Кто прольет кровь человеческую между людьми, того самого кровь прольется". Быт. IX, 6.

"Кто ударит человека так, что тот умрет, да будет предан смерти. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб". Исх. XXI, 12, 23, 25.

"Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти". "А кто сделает повреждение ближнему своему, тому должно сделать то же, что он сделал". "Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб". Лев. XXIV, 17, 19, 20.

"А судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот есть свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то поступайте с ним так, как он умышлял поступить с братом своим. Да не пощадит его глас твой: душу за душу, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу". Второз. XIX, 18, 21.

Вот предписания, о которых говорит Иисус.

Ной, Моисей и пророки учили так, что тот, кто убивает, калечит или мучает своих ближних, делает зло. Чтобы противиться такому злу и уничтожать его, нужно делающего зло наказывать смертью или искалечением или каким-нибудь личным мучением. Обиде нужно противопоставить обиду, убийству – убийство, мучению – мучение, злу – зло. Так учили Ной, Моисей и пророки. Но Христос отрицает все это.

"Я говорю вам, написано в Евангелии: не противься злему, не противься обиде – обидою, но скорее перенеси повторенную обиду от делающего зло". То, что было позволено, запрещается. Понявши, какого рода противлению они учили, мы точно знаем, чему учит непротивление Христа.

Вопр. – Допускали ли древние сопротивление обиде обидою?

Отв. – Да. Но Иисус запретил это. Христианин ни в каком случае не имеет права лишать жизни или подвергать обиде делающего зло ближнего.

Вопр. – Может ли он убить или искалечить другого при самообороне?

Отв. – Нет.

Вопр. – Может ли он войти с жалобой в суд с той целью, чтобы его обидчик был наказан?

Отв. – Нет. Ибо, что он делает через других, в сущности он сам делает.

Вопр. – Может ли он сражаться в войске против неприятелей или против домашних бунтовщиков?

Отв. – Конечно, нет. Он не может принимать никакого участия в войне или воинских приготовлениях. Он не может употреблять смертоносного оружия. Он не может противиться обиде обидой, все равно один ли он, или вместе с другими, сам или через других людей.

Вопр. – Может ли он добровольно выбирать или снаряжать военных людей правительству?

Отв. – Он не может делать ничего этого, если хочет быть верным закону Христа.

Вопр. – Может ли он добровольно давать деньги для помощи правительству, поддерживаемому военной силой, смертной казнью, вообще насилием?

Отв. – Нет, если только деньги не предназначены на какой-нибудь особый предмет, справедливый в самом себе, где и цель и средства добрые.

Вопр. – Может ли он платить подати такому правительству?

Отв. – Нет, он не должен добровольно платить подати, но не должен противиться взиманию податей. Подать, налагаемая правительством, взыскивается независимо от воли подданных. Ей нельзя противиться, не прибегая самому к насилию. Насилия же

христианин употреблять не может, поэтому он должен предоставить прямо свою собственность насильственному ущербу, производимому властями.

Вопр. – Может ли христианин подавать голос при выборах и участвовать в суде или управлении?

Отв. – Нет, участие в выборах, суде или управлении есть участие в правительственном насилии.

Вопр. – В чем главное значение учения о непротивлении злу?

Отв. – В том, что оно одно дает возможность вырвать с корнем зло, как из своего сердца, так и из сердца ближнего. Учение это запрещает делать то, чем увековечивается и умножается зло в мире. Тот, кто нападает на другого и обижает его, зажигает в другом чувство ненависти, корень всякого зла. Обидеть другого, потому что он нас обидел, будто бы для того, чтобы устранить зло, значит повторить дурное дело и над ним и над собой, значит породить или по крайней мере освободить – поощрить того самого демона, которого мы будто бы хотим изгнать. Сатана не может быть изгнан сатаной, неправда не может быть очищена неправдою, и зло не может быть побеждено злом.

Истинное непротивление есть единственное настоящее сопротивление злу. Оно сокрушает голову змия. Оно убивает и в конец истребляет злое чувство.

Вопр. – Но если мысль учения и верна, то исполнимо ли оно?

Отв. – Так же исполнимо, как всякое добро, предписываемое законом Божиим. Добро не может быть исполняемо во всех обстоятельствах без самоотречения, лишения, страдания и, в крайних случаях, без потери самой жизни. Но тот, кто дорожит жизнью более, чем исполнением воли Бога, уже мертв для единственной истинной жизни. Такой человек, стараясь спасти свою жизнь, потеряет ее. Кроме того, и вообще там, где непротивление стоит пожертвования одною жизнью или каким-нибудь существенным благом жизни, противление стоит тысячи таких жертв.

Непротивление сохраняет – противление разрушает.

Несравненно безопаснее поступать справедливо, чем несправедливо; сносить обиду, чем противиться ей насилием, – безопаснее даже в отношении к настоящей жизни. Если бы все люди не противились злу злом, наш мир был бы блажен.



Вопр. – Но когда лишь немногие будут так поступать, что станется с ними?

Отв. – Если бы так поступал даже только один человек, а все остальные согласились распять его, то не более ли славно ему было бы умереть в торжестве непротивляющейся любви, молясь за врагов своих, чем жить, нося корону Цезаря, обрызганную кровью убитых? Но один ли, или тысячи людей, твердо решивших не противиться злу злом, все равно, среди просвещенных ли, или среди диких ближних, гораздо больше безопасны от насилия, чем те, которые полагаются на насилие. Разбойник, убийца, обманщик скорее оставит их в покое, чем тех, кто сопротивляется оружием. Взявшие меч от меча погибнут, а ищущие мира, поступающие дружелюбно, безобидно, забывающие и прощающие обиды большею частью наслаждаются миром или если умирают, то умирают благословляемы.

Таким образом, если бы все соблюдали заповедь непротивления, то, очевидно, не было бы ни обиды, ни злодейства. Если бы таких было большинство, то они установили бы управление любви и доброжелательства даже над обижающими, никогда не противясь злу злом, никогда не употребляя насилия. Если бы таких людей было довольно многочисленное меньшинство, то они произвели бы такое исправительное нравственное действие на общество, что всякое жестокое наказание было бы отменено, а насилие и вражда заменились бы миром и любовью. Если бы их было только малое меньшинство, то оно редко испытывало бы что-нибудь худшее, чем презрение мира, а мир между тем, сам того не чувствуя и не будучи за то благодарен, постоянно становился бы мудрее и лучше от этого тайного воздействия. И если бы в самом худшем случае некоторые из членов меньшинства были бы гонимы до смерти, то эти погибшие за правду оставили бы по себе свое учение, уже освещенное их мученической кровью.

Да будет мир со всеми, кто ищет мира, и всепобеждающая любовь да будет негибнущим наследием всякой души, добровольно подчиняющейся закону Христа:

"Не противься злу насилием".

Баллу в продолжение 50 лет писал и издавал книги преимущественно о вопросе непротивления злу насилием. В сочинениях этих, прекрасных по ясности мысли и

красоте изложения, вопрос рассмотрен со всех возможных сторон. Устанавливается обязательность этой заповеди для всякого христианства, исповедующего Библию как Божеское откровение. Приводятся все обычные возражения против заповеди непротивления как из Ветхого Завета, так и из Нового, как, например: изгнание из храма и т. п., и на все выставляются опровержения; показывается независимо от писания практическая разумность этого правила и выставляются все обычно делаемые против нее возражения и опровергаются. Так, одна глава его сочинения трактует о непротивлении злу в исключительных случаях, в которой он признает, что если бы были случаи, в которых невозможно применение непротивления злу, то это доказывало бы, что правило это вообще несостоятельно. Приводя эти исключительные случаи, он доказывает, что именно в них-то и нужно и разумно применение этого правила. Нет стороны вопроса, как для сторонников его, так и для противников, которая бы не была исследована в этих сочинениях. Всё это я говорю для того, чтобы показать тот несомненный интерес, который должны бы иметь такие сочинения для людей, исповедующих христианство, и что потому, казалось бы, деятельность Баллу должна бы была быть известной, и мысли, выраженные им, должны бы были быть или признаны, или опровергнуты; но ничего подобного не было.

Деятельность Гаррисона-отца с его основанием общества непротивляющихся и декларация еще более, чем сношения мои с квакерами, убеждали меня в том, что отступление государственного христианства от закона Христа о непротивлении насилием есть дело, давно замеченное и указанное и для обличения которого работали и не перестают работать люди. Деятельность Баллу еще более подтвердила мне это. Но судьба и Гаррисона и в особенности Баллу, никому не известного, несмотря на 50 лет упорной и постоянной работы в одном, и том же направлении, подтвердила для меня и то, что существует какой-то невысказанный, но твердый уговор замалчивания всех таких попыток.

В августе 1890 года Баллу скончался, и в американском христианского направления журнале (*Religio-Philosophicae journal*, August 23) был его некролог.

В хвалебном некрологе этом пишется о том, что Баллу был духовным руководителем общины, что он произнес от 8 до 9 тысяч проповедей, женил 1000 пар

и написал около 500 статей, но ни одного слова не сказано о той цели, которой он посвятил свою жизнь, не сказано даже и слова: "непротивление".

Как всё то, что 200 лет проповедуют квакеры, как деятельность Гаррисона-отца, основание его общества и журнала, его провозглашение, так и вся деятельность Баллу точно как будто не существуют и не существовали.

Поразительным примером такой неизвестности сочинений, направленных на разъяснение непротивления злу насилием и обличение тех, которые не признают этой заповеди, служит судьба книги чеха Хельчицкого, только недавно ставшей известной и до сих пор еще не напечатанной.

Вскоре по выходе моей книги по-немецки я получил из Праги письмо от профессора тамошнего университета, сообщившее мне о существовании никогда нигде не напечатанного сочинения чеха Хельчицкого XV века, под названием "Сеть веры". В сочинении этом, как писал мне профессор, Хельчицкий около 4-х веков тому назад высказывал тот же взгляд на истинное и ложное христианство, который высказывал и я в сочинении "В чем моя вера?". Профессор писал мне, что сочинение Хельчицкого должно было быть издано в первый раз на чешском языке в журнале Петербургской академии наук. Не имея возможности достать самое сочинение, я постарался познакомиться с тем, что известно о Хельчицком, и такие сведения я получил из немецкой книги, присланной мне тем же пражским профессором, и из истории чешской литературы Пыпина. Вот что сказано у Пыпина:

"Сеть веры" есть учение Христово, которое должно извлекать человека из темной глубины житейского моря и его неправд. Истинная вера состоит в том, чтобы верить Божьим словам; но теперь пришло такое время, что люди истинную веру принимают за ересь, и поэтому разум должен указать, в чем состоит истинная вера, если кто этого не знает. Тьма закрыла ее от людей, и они не узнают истинного закона Христа".

"Для объяснения этого закона Хельчицкий указывает на первобытное устройство христианского общества, — то устройство, которое, говорит он, считается теперь в римской церкви гнусным еретичеством".

"Эта первобытная церковь была его собственным идеалом общественного устройства, основанного на равенстве, свободе и братстве. Христианство, по мнению Хельчицкого, до сих пор хранит в себе эти основания, нужно только, чтоб общество возвратилось к его чистому учению, и тогда оказался бы излишним всякий иной порядок, которому нужны короли и папы: во всем достаточно одного закона любви..."

"Исторически Хельчицкий относит упадок христианства ко времени Константина Великого, которого папа Сильвестр ввел в христианство со всеми языческими нравами и жизнью. Константин, в свою очередь, наделил папу светским богатством и властью. С тех пор обе власти постоянно помогали друг другу и стремились только к внешней славе. Доктора и магистры и духовное сословие стали заботиться только о том, чтобы покорить весь свет своему владычеству, вооружали людей друг против друга на убийства и грабежи и совсем уничтожали христианство в вере и в жизни. Хельчицкий совершенно отвергает право войны и смертную казнь: всякий воин, даже и "рыцарь", есть только насильник, злодей и убийца".

То же, с некоторыми биографическими подробностями и выдержками из переписки Хельчицкого, сказано в немецкой книге.

Узнав, таким образом, сущность учения Хельчицкого, я с тем большим нетерпением ожидал появления "Сети веры" в журнале Академии. Но прошел год, два, три – книга не появлялась. Только в 1888 году я узнал, что начатое печатание книги приостановилось. Я достал корректурные листы того, что было отпечатано, и прочел книгу. Книга во всех отношениях удивительная.

Содержание ее совершенно верно передано Пыпиным. Основная мысль Хельчицкого та, что христианство, соединившись с властью при Константине и продолжая развиваться в этих условиях, совершенно извратилось и перестало быть христианством. Заглавие "Сеть веры" дано Хельчицким его сочинению потому, что, взяв эпиграфом стих Евангелия о призвании учеников с тем, чтобы они стали ловцами людей, Хельчицкий, продолжая это сравнение, говорит: "Христос посредством учеников захватил в свою сеть веры весь мир, но большие рыбы,

пробив сеть, выскочили из нее и в проделанные этими большими рыбами дыры ушли и все остальные, так что сеть осталась почти пустая".

Большие рыбы, пробившие сеть, это властители, императоры, папы, короли, которые, не отказываясь от власти, приняли не христианство, а только личину его.

Хельчицкий учит тому же, чему учили и учат теперь непротивляющиеся менониты, квакеры, в прежние времена – богомилы, павликиане и многие другие. Он учит тому, что христианство, требующее от своих последователей кротости, смирения, незлобия, прощения обид, подставления другой щеки, когда бьют по одной, любви к врагам, – несовместимо с насилием, составляющим необходимое условие власти.

Христианин, по толкованию Хельчицкого, не только не может быть начальником или солдатом, но не может принимать никакого участия в управлении, не может быть торговцем или даже землевладельцем, а может быть только или ремесленником, или земледельцем.

Книга эта – одна из редких, уцелевших от костров книг, обличающих официальное христианство. Все такие книги, называемые еретическими, сожжены вместе с авторами, так что древних сочинений, обличающих отступление от официального христианства, очень мало, и потому эта книга особенно интересна.

Но, кроме того, что она интересна, как ни смотреть на нее, книга эта есть одно из замечательнейших произведений мысли и по глубине содержания, и по удивительной силе и красоте народного языка, и по древности. А между тем книга эта остается, вот уже более четырех веков, ненапечатанной и продолжает быть неизвестной, за исключением ученых специалистов.

Казалось бы, что все такого рода сочинения и квакеров, и Гаррисона, и Баллу, и Хельчицкого, утверждающие и доказывающие на основании Евангелия, что наш мир ложно понимает учение Христа, должны бы возбуждать интерес, волнение, шум, споры в среде как пастырей, так и пасомых.

Сочинения такого рода, затрагивающие самую сущность христианского учения, должны бы были, казалось, быть разобраны и признаны справедливыми или отвергнуты и опровергнуты.

Но ничего подобного нет. Со всеми этими сочинениями повторяется одно и то же. Люди самых разных взглядов, как верующие, так и – что достойно удивления – неверующие либералы, как бы сговорившись, все одинаково упорно молчат о них, и все то, что делается людьми для разъяснения истинного смысла учения Христа, остается неизвестным или забытым.

Но еще более удивительна неизвестность двух сочинений, о которых я узнал оже по случаю появления моей книги. Это книга Dymond'a "On war" – "О войне", изданная в первый раз в Лондоне в 1824 году и Daniel Musser'a "О непротивлении", написанная в 1864 году. Неизвестность этих книг удивительна особенно потому, что, не говоря о достоинстве их, обе книги трактуют не столько о теории, сколько о практическом приложении теории к жизни, отношении христианства к военной службе, что теперь особенно важно и интересно при общей воинской повинности.

Спросят, может быть: как же обязан поступить подданный, который верит, что война несовместима с его религией, но от которого правительство требует участия в военной службе?

Кажется, что это вопрос самый живой и такой, на который ответ при теперешней общей воинской повинности особенно важен. Все или огромное большинство людей – христиане, и все мужчины призываются к военной службе. Как же должен человек, как христианин, отвечать на это требование? Ответ Dymond'a такой:

"Обязанность его состоит в том, чтобы с кротостью, но и с твердостью отказаться от службы".

"Есть некоторые люди, которые без всякого определенного рассуждения прямо почему-то заключают, что ответственность за государственные меры ложится только на тех, которые распоряжаются, или что правительство и цари решают вопросы о том, что хорошо или дурно для подданных, и что подданные обязаны только повиноваться. Я думаю, что рассуждения такого рода только отуманивают совесть людей. "Я не могу не участвовать в совете правительства и потому не ответственен в его преступлениях". Правда, мы не ответственны в преступлениях правителей, но мы ответственны в своих собственных преступлениях. И преступления правителей делаются нашими, если мы, зная, что это преступления, содействуем их

совершению... Те, которые полагают, что они обязаны повиноваться правительству и что ответственность за совершаемые ими преступления переносится с них на их государей, сами себя обманывают".

"Говорят: "Мы передаем свои поступки воле других людей, и наши поступки не могут быть ни дурными, ни хорошими; в наших поступках не может быть ни заслуги за доброе, ни ответственности за злое, так как они совершаются не по нашей воле".

Замечательно, что это самое выражено в наставлении солдатам, которое их заставляют заучивать: там сказано, что только начальник отвечает за последствия своего приказа.

Но это несправедливо. Человек не может снять с себя ответственности за свои поступки. И это видно из следующего:

"Если начальник велит вам убить ребенка вашего соседа, убить вашего отца, вашу мать, послушаетесь ли вы? Если же вы не послушаетесь, то и все рассуждение никуда не годится, потому что если вы можете не послушаться правителей в одном случае, то где же вы найдете тот предел, до которого вы можете повиноваться? Нет другого предела, кроме того, который определен христианством, и предел этот и разумен и исполним".

"И потому мы полагаем, что обязанность каждого человека, считающего, что война несовместима с христианством, – кротко, но твердо отказаться от военной службы. И пусть те, которым приходится так поступать, пусть они помнят, что на них лежит великая обязанность. От их верности своей религии зависит – настолько, насколько она зависит от людей, – судьба мира в человечестве. Пускай они исповедуют свое убеждение и защищают его. И не одними словами, но и страданиями, если то будет нужно. Если вы верите, что Христос запретил убийство, не верьте ни суждениям, ни приказам людей, призывающих вас к участию в нем. Таким твердым отказом от участия в насилии вы привлечете к себе благословение, данное тем, которые слышат слова эти и исполняют их, и придет время, когда и мир почтит вас как участников в возрождении человечества".

Книга Мосера называется "Утверждение непротивления" или "Разделение царства Христа и царства мира сего", в 1864.

Книга эта посвящена тому же вопросу и разъясняет его по случаю требования американским правительством от своих граждан военной службы во время междуусобной войны. И тоже имеет самое современное значение, разъясняя вопрос о том, как, при каких условиях люди должны и могут отказываться от военной службы. В вступлении автор говорит:

"Известно, что в Соединенных Штатах есть много людей, сознательно отрицающих войну. Их называют "непротивляющимися" или "беззащитными" христианами. Эти христиане отказываются защищать свою страну, носить оружие и, по требованию правительства, воевать против его врагов. До сих пор эта религиозная причина была уважаема правительством, и те, которые выставляли ее, были освобождаемы от службы. Но с началом нашей междуусобной войны общественное мнение возмущено этим обстоятельством. Естественно, что лица, считающие своей обязанностью нести все тяжести и опасности военной жизни для защиты своего отечества, чувствуют недоброжелательство к тем лицам, которые вместе с ними в продолжение долгого времени пользовались покровительством и выгодами правительства; во время же нужд и опасности не хотят участвовать в несении трудов и опасности для защиты его. Естественно даже и то, что положение таких людей признают неразумным, уродливым и признают его подозрительным".

"Много ораторов и писателей, – говорит автор, – восстали против такого положения и старались доказать несправедливость непротивления и по здравому смыслу и по писанию; и это совершенно естественно, и во многих случаях эти писатели правы, – правы в отношении к лицам, которые, отказываясь от трудов военной службы, не отказываются от выгод, получаемых ими от правительств, но – не правы по отношению самого принципа "непротивления". Прежде всего автор доказывает обязательность для христианина правила непротивления тем, что предписание это ясно и что оно без возможности перетолкования дано Христом всякому христианину.

"Судите сами, справедливо ли повиноваться человеку более чем Богу", – сказали Петр и Иоанн. И точно так же всякий человек, желающий быть христианином,



должен относиться к требованиям идти на войну, когда Христос сказал ему: "Не противься злу насилием".

Этим вопрос о самом принципе автор считает решенным. Но другой вопрос, о том, имеют ли право отказаться от военной службы лица, не отказывающиеся от выгод, даваемых насилием правительства, автор разбирает подробно и приходит к заключению, что христианин, следующий закону Христа, если он не идет на войну, не может точно так же принимать участия ни в каких правительственных распоряжениях: ни в судах, ни в выборах, – не может точно так же и в личных делах прибегать к власти, полиции или суду. – Далее в книге разбирается отношение Ветхого Завета к Новому, значение правительства для нехристиан; представляются возражения на учение непротивления и опровержения их. Заканчивает свою книгу автор следующим:

"Христиане не нуждаются в правительстве и потому не могут: ни повиноваться ему в том, что противно учению Христа, ни, тем менее, участвовать в нем".

"Христос избрал своих учеников из мира, – говорит он, – они не ожидают мирских благ и мирского счастья, а, напротив, они ожидают жизни вечной. Дух, в котором они живут, делает их довольными и счастливыми во всяком положении. Если мир терпит их, они всегда довольны. Если же мир не хочет оставить их в покое, то они уйдут в другое место, так как они странники на земле и у них нет определенного места жительства. Они считают, что мертвые могут хоронить своих мертвецов, им же нужно одно: "следовать за своим учителем".

Не касаясь вопроса о том, верно или неверно определение обязанности христианина по отношению к войне, которая устанавливается в обеих книгах, нельзя не видеть практической важности и настоятельности решения этого вопроса.

Есть люди – есть сотни тысяч квакеров, есть менониты, есть все наши духоборцы, молокане и люди, не принадлежащие ни к каким определенным сектам, которые считают, что насилие, а потому и военная служба – несовместимы с христианством, и потому каждый год у нас в России несколько призываемых людей отказываются от военной службы на основании своих религиозных убеждений. Как же поступает правительство? Отпускает их? – Нет. Заставляет их идти и, в случае несогласия,

наказывает их? – Нет. В 1818 году правительство поступило следующим образом. Вот никому почти в России не известная выписка из дневника Ник. Ник. Муравьева-Карского, не пропущенная цензурой:

2 октября 1818 г. Тифлис.

Поутру комендант сказал мне, что недавно прислано в Грузию пять крестьян помещичьих Тамбовской губернии. Сии люди были в солдаты сданы, но не хотят служить; их уже несколько раз кнутом секли и сквозь строй гнали, но они отдают себя охотно на самые жестокие мучения и на смерть, дабы не служить. "Отпустите нас, – говорят они, – и не троньте нас, мы никого трогать не будем. Все люди равны, и государь тот же человек, как и мы; зачем мы будем ему подати платить, зачем я буду подвергать свою жизнь опасности, чтобы убить на войне человека, мне не сделавшего никакого зла? Вы можете нас по кускам резать, а мы не переменим своих мыслей, не наденем шинели и не будем пайка есть. Тот, который над нами сжалится, даст нам милостыню, а казенного мы ничего не имели и иметь не хотим". Вот слова сих мужиков, которые уверяют, что им подобных есть множество в России. Их четыре раза водили в Комитет министров и, наконец, решились о том представить государю, который приказал для поправления отправить их в Грузию и предписал главнокомандующему доносить ему ежемесячно о постепенных успехах для приведения сих крестьян к настоящим мыслям".

Чем кончилось это поправление – неизвестно, так как неизвестен и весь эпизод, содержащийся в глубокой тайне.

Так поступало правительство 75 лет тому назад, – так поступало оно в большом количестве случаев, всегда старательно скрываемых от народа. Так же поступает оно и теперь, за исключением немцев-менонитов, живущих в Херсонской губернии, отказ которых от военной службы признается уважительным и которых заставляют отбывать сроки службы в работах при лесничестве.

В тех недавних случаях отказа от военной службы, вследствие религиозных убеждений неменонитов, правительственные лица поступали так:

Сначала прилагают все употребляемые в наше время меры насилия для "поправления" отказывающихся и приведения их "к настоящим мыслям" и держат производство этих дел в величайшей тайне. Я знаю, что про одного из отказавшихся в 1884 году в Москве через два месяца после его отказа составилось огромное, толстое дело, хранившееся в министерстве под величайшим секретом.

Начинается обыкновенно с того, что отказывающегося посылают к священникам и, к стыду их, они всегда увещевают отказывающихся. – Но так как увещание во имя Христа – отречься от Христа бывает большей частью безуспешным, то отказавшегося после увещания духовных лиц посылают к жандармам. Жандармы обыкновенно, не находя ничего политического, возвращают его назад, и тогда отказавшегося посылают к ученым, к врачам и в сумасшедший дом. Во всех этих пересылках отказывающийся, лишенный свободы, терпит всякого рода унижения и страдания, как приговоренный преступник (это повторялось в четырех случаях). Из сумасшедшего дома доктора выпускают отказавшегося, и тогда начинаются всякие тайные, хитрые меры, чтобы и не отпустить отказавшегося, поощрив тем других отказываться так же, как и он, и вместе с тем не оставить его среди солдат, чтобы и солдаты не узнали от него того, что призвание их к военной службе совершается совсем не по закону Бога, как их уверяют, а против него.

Самое удобное для правительства было бы казнить отказавшегося: засечь палками или каким-нибудь иным способом, как это делалось прежде. Но казнить открыто человека за то, что он верен учению, которое мы сами исповедуем, – нельзя. Оставить же человека, отказывающегося от повиновения, тоже нельзя. И вот правительство старается или страданиями заставить этого человека отречься от Христа, или как-нибудь незаметно избавиться от него, не казня его открыто, скрыть как-нибудь и поступок этого человека и его самого от других людей. И начинаются всякого рода уловки и хитрости и мучения этого человека. Или ссылают этого человека на окраины, или вызывают на непослушание и тогда судят за нарушение дисциплины и запирают в тюрьму, дисциплинированный батальон, где уже тайно от всех свободно мучают его, или признают сумасшедшим и запирают в дом умалишенных. Так, одного сослали в Ташкент, т. е. как будто перевели в

Ташкентское войско, другого в Омск, третьего судили за непослушание и заперли в тюрьму, четвертого в дом умалишенных.

Везде повторяется одно и то же. Не только правительство, но и большинство либеральных, свободно мыслящих людей, как бы сговорившись, старательно отворачиваются от всего того, что говорилось, писалось, делалось и делается людьми для обличения несовместимости насилия в самой ужасной, грубой и яркой его форме – в форме солдатства, т. е. готовности убийства кого бы то ни было, – с учением не только христианства, но хотя бы гуманности, которое общество будто бы исповедует.

Так что сведения, полученные мною о том, в какой степени уже давно разъяснено и всё больше и больше разъясняется истинное значение учения Христа, и о том, как относятся к этому разъяснению и исполнению учения высшие, правящие классы не только России, но в Европе и в Америке, убедили меня в том, что существует в этих правящих классах сознательно враждебное отношение к истинному христианству, выражающееся преимущественно замалчиванием всех проявлений его.

## II

Такое же впечатление желания скрыть, замолчать то, что я старался высказать в своей книге, произвели во мне и суждения о ней.

Книга по выходе ее, как я и ожидал, была запрещена и по закону должна была быть сожжена. Но книга вместо сожжения была разобрана чиновниками и распространилась в большом количестве списков и литографных оттисков и в переводах, напечатанных за границей.

И очень скоро на книгу появились критики, не только духовные, но и светские, которые правительство не только допускало, но и поощряло. Так что даже опровержение книги, которая считалась никому не известной, назначено было темой богословских сочинений в академиях.

Критики на мою книгу, как русские, так и иностранные, разделяются на два главные рода: критики религиозные – людей, считающих себя верующими, и критики светские – вольнодумные.

Начну с первых:

В книге моей я обвиняю церковных учителей в том, что они учат противно заповедям Христа, ясно и определенно выраженным в нагорной проповеди, и особенно противно заповеди о непротивлении злу и лишают этим учение Христа всего его значения. Церковные учителя признают нагорную проповедь с заповедью о непротивлении злу насилием Божественным откровением и потому, если они уже раз нашли нужным писать о моей книге, то, казалось бы, им необходимо было прежде всего ответить на этот главный пункт обвинения и прямо высказать, признают или не признают они обязательным для христианина учение нагорной проповеди и заповедь о непротивлении злу насилием, и отвечать не так, как это обыкновенно делается, т.е. сказать, что хотя, с одной стороны, нельзя собственно отрицать, но, с другой стороны, опять-таки нельзя утверждать, тем более, что и т.д., а ответить так же, как поставлен вопрос в моей книге: действительно ли Христос требовал от своих учеников исполнения того, чему он учил в нагорной проповеди, и потому, может или не может христианин, оставаясь христианином, идти в суд, участвуя в нем, осуждая людей или ища в нем защиты силой, может или не может христианин, оставаясь христианином, участвовать в управлении, употребляя насилие против своих ближних, и самый главный, всем предстоящий теперь с общей воинской повинностью, вопрос – может или не может христианин, оставаясь христианином, противно прямому указанию Христа обещаться в будущих поступках, прямо противных учению, и, участвуя в военной службе, готовиться к убийству людей или совершать их?

Вопросы поставлены ясно и прямо, и, казалось, надобно ясно и прямо ответить на них. Но во всех критиках на мою книгу ничего подобного не было сделано, точно так же как не было сделано и по отношению всех тех обличений церковных учителей в отступлении их от закона Христа, которыми со времен Константина полна история.

Очень много было говорено по случаю моей книги о том, как я неправильно толкую те и другие места Евангелия, о том, как я заблуждаюсь, не признавая троицы, искупления и бессмертия души; говорено было очень многое, но только не то одно, что для всякого христианина составляет главный, существенный вопрос жизни: как

соединить ясно выраженное в словах учителя и в сердце каждого из нас учение о прощении, смирении, отречении и любви ко всем: к ближним и к врагам, с требованием военного насилия над людьми своего или чужого народа.

Все, что можно назвать подобиями ответов на этот вопрос, можно свести к следующим пяти разрядам. Я старался собрать в этом отношении все, что мог, не только по критикам на мою книгу, но и по всему тому, что и в прежние времена писалось на эту тему.

Первый самый грубый способ ответа состоит в смелом утверждении того, что насилие не противоречит учению Христа, что оно разрешено и даже предписано христианам Ветхим и Новым Заветом.

Этого рода утверждения исходят большею частью от людей, находящихся на высоких ступенях правительственной или духовной иерархии и вследствие этого совершенно уверенных, что на их утверждения возражать никто не посмеет, а если кто и будет возражать, то они не услышат этих возражений. Люди эти большею частью до такой степени, вследствие одурманивания властью, потеряли представление о том, что есть то христианство, во имя которого они занимают свое положение, что все то, что есть в христианстве христианского, представляется им сектантством; все же то, что в писании как Ветхого, так и Нового Завета может быть перетолковано в смысле антихристианском и языческом, они считают основанием христианства. В пользу своего утверждения о том, что христианство не противоречит насилию, эти люди выставляют обыкновенно с величайшей смелостью самые соблазнительные места из Ветхого и Нового Завета, самым нехристианским образом толкуя их: казнь Анания и Сапфиры, казнь Симона Волхва и т.п. – Приводятся все те слова Христа, которые можно перетолковать как оправдание жестокости: изгнание из храма, "Отраднее будет земле содомской, чем городу этому" и т.д.

По понятиям этих людей, христианское правительство нисколько не обязано руководиться духом смирения, прощения обид и любви к врагам.

Опровергать такое утверждение бесполезно потому, что люди, утверждающие это, сами себя опровергают или, скорее, отвергают себя от Христа, выдумывая своего Христа и свое христианство вместо того, во имя которого и существует и

церковь и то положение, которое они в ней занимают. Если бы все люди знали, что церковь проповедует Христа казнящего и не прощающего и воюющего, то никто бы не верил в эту церковь и некому было бы доказывать то, что она доказывает.

Второй способ, несколько менее грубый, состоит в том, чтобы утверждать, что хотя действительно Христос учил подставлять щеку и отдавать кафтан и что очень высокое нравственное требование, но... что есть на свете злодеи, и если не усмирять силой этих злодеев, то погибнет весь мир и погибнут добрые. Довод этот я нашел в первый раз у Иоанна Златоуста и выставлю несправедливость его в книге "В чем моя вера?".

Довод этот неоснователен потому, что если мы позволим себе признать каких-либо людей злодеями особенными (рака), то, во-первых, мы этим уничтожаем весь смысл христианского учения, по которому все мы равны и братья как сыны одного Отца Небесного; во-вторых, потому, что если бы и было разрешено Богом употреблять насилие против злодеев, то так как никак нельзя найти того верного и несомненного определения, по которому можно наверное узнать злодея от незлодея, то каждый человек или общество людей стало бы признавать взаимно друг друга злодеями, что и есть теперь; в-третьих, потому, что если бы и было возможно несомненно узнавать злодеев от незлодеев, то и тогда нельзя бы было в христианском обществе казнить, или калечить, или запирасть в тюрьмах этих злодеев, потому что в христианском обществе некому бы было исполнять это, так как каждому христианину, как христианину, предписано не делать насилия над злодеем.

Третий способ ответов, еще более тонкий, чем предыдущий, состоит в утверждении того, что хотя заповедь о непротивлении злу насилием и обязательна для христианина, когда зло направлено лично против него, она перестает быть обязательной, когда зло направлено против ближних, и что тогда христианин не только не обязан исполнять заповеди, но обязан для защиты ближних противно заповеди употреблять насилие против насилующих.

Утверждение это совершенно произвольно, и во всем учении Христа нельзя найти подтверждения такому толкованию. Такое толкование есть не только ограничение заповеди, но прямое отрицание и уничтожение ее. Если каждый имеет

право употреблять насилие при угрожающей другому опасности, то вопрос об употреблении насилия сводится к вопросу определения того, что считать опасностью для другого. Если же мое частное суждение решает вопрос опасности для другого, то нет того случая насилия, которого нельзя бы было объяснить угрожающей другому опасностью. Казнили и сжигали колдунов, казнили аристократов и жирондистов, казнили и их врагов, потому что те, которые были во власти, считали их опасными для людей.

Если бы это важное ограничение, в корне подрывающее значение заповеди, входило в мысль Христа, то о нем должно было быть где-нибудь упомянуто. Во всей же проповеди и жизни учителя не только не сделано этого ограничения, но, напротив, как раз дано предостережение против такого ложного и соблазнительного, уничтожающего заповедь ограничения. Ошибка и невозможность такого ограничения с особенной яркостью показана в Евангелии при рассказе о рассуждении Каиафы, сделавшего именно это ограничение. Он признавал, что нехорошо казнить невинного Иисуса, но видел в этом опасность не для себя, но для всего народа и потому сказал: "лучше погибнуть одному человеку, чем всему народу". И еще ярче высказано отрицание такого ограничения в словах, сказанных Петру при его попытке воспротивиться насилием злу, направленному против Иисуса (Мф. XXVI, 52). Петр защищал не себя, но своего любимого и божественного учителя. И Христос прямо запретил ему это, сказав, что поднявший меч от меча погибнет.

Кроме того, оправдание насилия, употребляемого над ближним для защиты другого ближнего от худшего насилия, всегда неверно, потому что никогда при употреблении насилия против не совершившегося еще зла нельзя знать, какое зло будет больше – зло ли моего насилия или того, от которого я хочу защищать. Мы казним преступника, избавляя от него общество, и никак не можем знать, не изменился ли бы завтра бывший преступник и не есть ли наша казнь бесполезная жестокость. Мы запираем опасного, по нашему мнению, члена общества, но с завтрашнего дня этот человек мог перестать быть опасным и заключение его напрасно. Я вижу, что известный мне разбойник преследует девушку, у меня в руке



ружье – я убиваю разбойника, спасаю девушку, но смерть или поранение разбойника совершилось наверное, то же, что бы произошло, если бы этого не было, мне неизвестно. А какое огромное количество зла должно произойти, как оно и происходит, – от признания людьми за собой права предупреждать могущее случиться зло. 0,99 зла мира от инквизиции до динамитных бомб и казней и страданий десятков тысяч так называемых политических преступников основано на этом рассуждении.

Четвертый, еще более утонченный ответ на вопрос, как должно относиться христианину к заповеди Христа о непротивлении злу насилием, состоит в том, чтобы утверждать, что заповедь непротивления злу насилием не отрицается ими, а признается, как и всякая другая, но что они только не приписывают этой заповеди особенного, исключительного значения, как это делают сектанты. Приписывание этой заповеди неизменного условия христианской жизни, как это делают Гаррисон, Баллу, Даймонд, квакеры, менониты, шекеры и как это делали моравские братья, вальденцы, альбигойцы, богомилы, павликиане, – есть одностороннее сектантство. Заповедь эта имеет ни больше, ни меньше значения, чем и все другие, и человек, преступивший по слабости какую бы то ни было заповедь, а также и заповедь о непротивлении, не перестает быть христианином, если он правильно верит.

Изворот этот очень искусен, и многие люди, желающие быть обманутыми, легко обманываются им. Изворот состоит в том, чтобы прямое сознательное отрицание заповеди свести к случайному нарушению ее. Но стоит только сравнить отношение церковных учителей к этой и к другим действительно признаваемым ими заповедям, чтобы убедиться в том, что отношение церковных учителей к заповедям, которые они признают, и к этой – совершенно различно.

Заповедь против блуда они действительно признают и потому никогда ни в каком случае не признают того, чтобы блуд не был злом. Никогда церковные проповедники не указывают случаев, когда заповедь против блуда должна бы была нарушаться, и всегда поучают тому, что должно избегать соблазнов, вводящих в искушение против блуда. Но не то с заповедью непротивления. Все церковные проповедники знают случаи, когда заповедь эта может быть нарушена. И так и учат людей. И не только не

учат избегать этих соблазнов, из которых главный есть присяга, но сами производят его. Церковные проповедники никогда ни в каком случае не проповедают нарушения всякой другой заповеди. По отношению же заповеди о непротивлении они прямо учат тому, что не надо слишком прямо понимать это запрещение, что не только не всегда нужно исполнять заповедь, но что есть условия, положения, в которых нужно делать прямо противное, т.е. судить, воевать, казнить. Так что по случаю заповеди о непротивлении злу насилием проповедуется в большей части случаев о том, как не исполнять ее. Исполнение этой заповеди, говорят они, очень трудно и свойственно только совершенству. Но как же ей быть не трудной, когда нарушение ее не только не запрещается, но прямо поощряется, когда прямо благословляются суды, тюрьмы, пушки, ружья, войска, сражения.

Стало быть, неправда то, что заповедь эта признается церковными проповедниками наравне с другими заповедями. Церковные проповедники прямо не признают ее и, только не смея сознаться в этом, стараются скрыть свое непризнание ее.

Таков четвертый способ ответов.

Пятый способ, самый тонкий, самый употребительный и самый могущественный, состоит в уклонении от ответа, в делании вида, что вопрос этот кем-то давным-давно разрешен вполне ясно и удовлетворительно и что говорить об этом не стоит.

Этот способ употребляется всеми более или менее культурными духовными писателями, т.е. такими, которые чувствуют для себя обязательными законы логики. Зная, что противоречие, существующее между чтением Христа, которое мы на словах исповедуем, и всем строем нашей жизни, нельзя распутать словами и, касаясь его, можно только сделать его еще очевиднее, они с большей или меньшей ловкостью, делая вид, что вопрос о соединении христианства с насилием уже разрешен или вовсе не существует, обходят его (\*).

(\* Знаю только одну не критику в точном смысле слова, но статью, трактующую том же предмете и имеющую в виду мою книгу, немного отступающую от этого общего определения. Это брошюра Троицкого (Казань) "Нагорная беседа". Автор,

очевидно, признает учение Христа в его настоящем значении. Он говорит, что заповедь о непротивлении злу насилеиет значит то самое, что она значит, тоже и о заповеди о клятве; он не отрицает, как это делают другие, значение учения Христа, но, к сожалению, не делает из этого признания тех неизбежных выводов, которые в нашей жизни сами собой напрашиваются при таком понимании учения Христа. Если противиться злу насилеиет и клясться не должно, то всякий естественно спрашивает: как же военная служба? Присяга? А вот на этот вопрос автор не дает ответа, а надо ответить. А если нельзя ответить, то лучше и не говорить, потому что умолчание производит заблуждение. \*)

Большинство духовных критиков на мою книгу пользуются этим способом. Я бы мог привести десятки таких критик, в которых без исключения повторяется одно и то же: говорится обо всем, но только не о том, что составляет главный предмет книги. Как характерный пример таких критик приведу статью знаменитого, утонченного английского писателя и проповедника Фаррара, великого, как и многие ученые богословы, мастера обходов и умолчаний. Статья эта напечатана в американском журнале "Fogum" за октябрь 1888 года.

Изложив добросовестно вкратце содержание моей книги, Фаррар говорит:

"Толстой пришел к убеждению, что мир был грубо обманут, когда людей уверили, что учение Христа "не противься злу или злом" совместимо с войной, судами, смертной казнью, разводами, клятвой, народными пристрастиями и вообще с большинством учреждений гражданской и общественной жизни. Он верит теперь, что Царство Бога наступит тогда, когда люди будут исполнять 5 заповедей Христа, именно: 1) жить в мире со всеми людьми; 2) вести чистую жизнь; 3) не клясться; 4) никогда не противиться злу и 5) отказываться от народных различий".

"Толстой, говорит он, отрицает боговдохновенность Ветхого Завета, посланий, отрицает все догматы церкви, как-то: троицы, искупления, сошествия св. духа, священства, и признает только слова и заповеди Христа". "Но верно ли такое толкование учения Христа? – говорит он. – Обязаны ли все люди поступать так, как учит Толстой, т.е. исполнять 5 заповедей Христа?"

Так и ждешь, что на этот существенный вопрос, который один только и мог побудить человека писать статью о книге, человек скажет, что это толкование учения Христа верно и что надо следовать ему, или скажет, что такое толкование неверно; докажет, почему, и даст другое правильное толкование тех слов, которые я неправильно толкую. Но ничего подобного не делается. Фаррар выражает только "убеждение", что – "Толстой, хотя и руководимый самой благородной искренностью, впал в заблуждение частных и односторонних толкований смысла Евангелия и разума (mind) и воли Христа".

В чем это заблуждение, не разъясняется, а говорится только: "Входить в доказательства этого невозможно в этой статье, потому что я уже и так превзошел количество листов, предоставленных мне".

И он с спокойным духом заключает:

"Между тем, если читатель чувствует себя смущенным мыслью о том, что он обязан, как христианин, так же как и Толстой, покинуть свои привычные условия жизни и жить как простой работник, то пусть он успокоится и держится принципа: "Securus judicat ordis terrarum" [Весь мир судить легкомысленно]. За малыми исключениями, – продолжает он, – все христианство от апостольских времен и до наших дней пришло к убеждению, что цель Христа состояла в том, чтобы дать людям великий принцип, но не в том, чтобы разрушить основы учреждения всего человеческого общества, которое утверждается на Божеском установлении (sanction) и на необходимости. Если бы моей задачей было доказать, как невозможно учение коммунизма, основываемое Толстым на Божественных парадоксах (sic), которые могут быть истолковываемы только на основании исторических принципов в согласии со всеми методами учения Христа, – это потребовало бы более места, чем я имею в своем распоряжении".

Экое горе, места ему нет! И странное дело, никому вот уже 15 веков нет места доказать то, что Христос, которого мы исповедуем, говорил совсем не то, что он говорил. А доказать они могли бы, если бы захотели. Впрочем, и не стоит доказывать то, что всем известно. Довольно сказать: "Securus judicat ordis terrarum".

Таковы без исключения все критики культурных верующих людей и потому понимающих опасность своего положения. Единственный выход из него для них – надежда на то, что, пользуясь авторитетом церкви, древности, святости, можно запугать читателя, своим умом обдумать вопрос. И это удастся.

Кому в самом деле придет в голову то, что все то, что с такой уверенностью и торжественностью повторяется из века в век всеми этими архидамиакнами, епископами, архиепископами, святиейшими синодами и папами, что все это есть гнусная ложь и клевета, взводимая ими на Христа для обеспечения денег, которые им нужны для сладкой жизни на шеях других людей, – ложь и клевета до такой степени очевидная, особенно теперь, что единственная возможность продолжать эту ложь состоит в том, чтобы запугивать людей своей уверенностью, своей бессовестностью.

Это всё то же, что происходило последние годы в воинских присутствиях: сидят за столом за зеркалом, на первых местах, под портретом во весь рост императора, старые, важные, в регалиях чиновники и свободно, развязно беседуют, записывают, приказывают и вызывают. Тут же в наперсном кресте и шелковой рясе с выпростанными седыми волосами на эпитрахилии благообразный старец священник перед аналоем, на котором лежит золотой крест с кованным в золоте Евангелием.

Вызывают Ивана Петрова. Выходит юноша, дурно, грязно одетый, испуганный, с дрожащими мускулами лица и блестящими бегающими глазами и прерывающимся голосом, шепотом почти говорит: "я... по закону... я, как христианин... я не могу..."

– Что он бормочет? – спрашивает нетерпеливо, щурясь и прислушиваясь, председатель, поднимая голову от книги.

– Говорите громче! – кричит на него полковник с блестящими погонами.

– Я... я... как христианин...

И, наконец, оказывается, что юноша отказывается от военной службы, потому что он христианин.

– Не говори вздору. Ставь в мерку. Доктор, потрудитесь смерить. Годится?

– Годится.

– Батюшка, Приведите к присяге.

Никто не только не смущен, но даже не обращает внимания на то, что лопочет этот испуганный, жалкий юноша. "Они все что-нибудь лопочат, а нам некогда, надо еще столько принять".

Рекрут что-то хочет сказать еще. – "Это против закона Христа".

– Ступайте, ступайте, без вас знают, что по закону, что не по закону, а вы отправляйтесь. Батюшка, внушите ему. Следующий: Василий Никитин.

И дрожащего юношу уводят. И кому, и сторожам, и Василию Никитину, которого вводят, и всем, которые со стороны видели эту сцену, придет в голову, что те неясные короткие слова юноши, тотчас же замятые начальством, содержат в себе истину, а те громкие, торжественно произносимые речи самоуверенных, спокойных чиновников и священника суть ложь, обман.

Такое же впечатление производят статьи не одного Фаррара, но все те торжественные проповеди, статьи и книги, которые появляются со всех сторон, как только где-нибудь проглянет истина, обличающая царствующую ложь. Тотчас же начинаются длинные, умные, изящные, торжественные разговоры или писания о вопросах, близко касающихся предмета с искусным умолчанием о самом предмете.

В этом состоит пятый и самый действительный способ устранения того противоречия, в которое поставило себя церковное христианство, исповедуя на словах Христа и отрицая в жизни его учение и научая этому людей.

Те, которые оправдываются по первому способу, прямо, грубо утверждая, что Христос разрешил насилие: войны, убийства, – сами себя отвергают от учения Христа; те, которые защищаются по второму, третьему и четвертому способу, сами путаются, и их легко уличить в их неправде, но эти последние, не рассуждающие, не достаивающие рассуждать, а прячущиеся за свое величие и делающие вид, что все это ими или еще кем-то уже давно решено и не подлежит уже никакому сомнению, – эти кажутся неуязвимыми и будут неуязвимы до тех пор, пока люди будут находиться под действием гипнотического внушения, наводимого на них правительствами и церквями, и не встряхнутся от него.

Так относились к моей книге духовные, т.е. исповедующие веру в Христа. И иначе им нельзя было отнестись: их связывает то противоречие, в котором они

находятся – веры в божественность учителя и неверия в его самые ясные слова, – из которого им надо как-нибудь выпутываться, и потому нельзя было ожидать от них свободных суждений о самой сущности вопроса, о том изменении жизни людей, которое вытекает из приложения учения Христа к существующему порядку. Такого рода суждений я ожидал от светских, вольнодумных критиков, которые ничем не связаны с учением Христа и могут свободно смотреть на него. Я ожидал, что вольнодумные писатели посмотрят на Христа не только как на установителя религии поклонения и личного спасения (как его понимают церковники), а, выражаясь их языком, и как на реформатора, разрушающего старые и дающего новые основы жизни, реформа которого не совершилась еще, а продолжается и до сих пор.

Такой взгляд на Христа и его учение вытекает из моей книги. Но, к удивлению моему, из числа в большом количестве появившихся на мою книгу критик, не было ни одной, ни русской, ни иностранной, которая трактовала бы предмет с той самой стороны, с которой он изложен в книге, т.е. которая посмотрела бы на учение Христа как на философское, нравственное и социальное (говоря опять языком научных людей) учение. Ни в одной критике этого не было.

Русские светские критики, поняв мою книгу так, что все ее содержание сводится к непротивлению злу, и поняв самое учение о непротивлении злу (вероятно, для удобства возражения) так, что оно будто бы запрещает всякую борьбу со злом, русские светские критики с раздражением напали на это учение и весьма успешно в продолжение нескольких лет доказывали, что учение Христа неправильно, так как оно запрещает противиться злу. Их опровержения этого мнимого учения Христа были тем более успешны, что они вперед знали, что их рассуждения не могут быть ни опровергаемы, ни исправляемы, так как цензура, не пропустив книги, не пропускала и статей в защиту ее.

Замечательно при этом то, что у нас, где нельзя сказать слова о священном писании без запрета цензуры, несколько лет во всех журналах извращалась, критиковалась, осуждалась, осмеивалась прямо и точно выраженная заповедь Христа (Мф. V, 39).

Русские светские критики, очевидно, не зная всего того, что было сделано по разработке вопроса о непротивлении злу, и даже иногда как будто предполагая, что это я лично выдумал правило непротивления злу насиліем, нападали на самую мысль, опровергая, извращая ее и с большим жаром выставяя аргументы, давным-давно уже со всех сторон разобранные и опровергнутые, доказывали, что человек непременно должен (насиліем) защищать всех обиженных и угнетенных и что поэтому учение о непротивлении злу насиліем есть учение безнравственное.

Всем русским критикам все значение проповеди Христа представлялось только в том, что она как будто им назло мешает известной деятельности, направленной против того, что ими в данную минуту считается злом, так что выходило, что на принцип непротивления злу насиліем нападали два противоположные лагеря: консерваторы потому, что этот принцип препятствовал их деятельности противления злу, производимому революционерами, их преследованиям и казням; революционеры же потому, что этот принцип препятствовал противлению злу, производимому консерваторами, и их ниспровержению. Консерваторы возмущались тем, что учение о непротивлении злу насиліем препятствует энергетическому подавлению революционных элементов, могущих погубить благосостояние народа; революционеры возмущались тем, что учение о непротивлении злу насиліем препятствует ниспровержению консерваторов, губящих благосостояние народа. Замечательно при этом то, что революционеры нападали на принцип непротивления злу насиліем, несмотря на то, что он самый страшный и опасный для всякого деспотизма, так как с тех пор, как стоит мир, на противоположном принципе, необходимости противления злу насиліем, основывались и основываются все насилия, от инквизиции до Шлиссельбургской крепости.

Кроме того, русские критики указывали и на то, что приложение к жизни заповеди о непротивлении злу насиліем своротило бы человечество с того пути цивилизации, по которому оно идет. Путь же цивилизации, по которому идет европейское человечество, есть, по их мнению, тот самый, по которому и должно всегда идти все человечество.

Таков был главный характер русских критиков.



Иностранные критики исходили из тех же основ, но рассуждения их о моей книге несколько отличались от рассуждений русских критиков не только меньшей раздражительностью и большей культурностью, но и по существу дела.

Рассуждая о моей книге и вообще о евангельском учении, как оно выражено в нагорной проповеди, иностранные критики утверждали, что такое учение не есть собственно христианское (христианское учение, по их мнению, есть католицизм и протестантство) – учение же нагорной проповеди есть только ряд очень милых непрактических мечтаний *du charmant docteur*, как говорит Ренан, годных для наивных и полудиких обитателей Галилеи, живущих за 1800 лет назад, и для русских полудиких мужиков – Сютаева, Бондарева и русского мистика Толстого, но никак не приложимых к высокой степени европейской культуры.

Иностранные светские критики тонким манером, не оскорбляя меня, старались дать почувствовать, что суждения мои о том, что человечество может руководиться таким наивным учением, как нагорная проповедь, происходят отчасти от моего невежества, незнания истории, незнания всех тех тщетных попыток осуществления в жизни принципов нагорной проповеди, которые были делаемы в истории и ни к чему не привели, отчасти от непонимания всего значения той высокой культуры, на которой со своими крупновскими пушками, бездымным порохом, колонизацией Африки, управлением Ирландии, парламентом, журналистикой, стачками, конституцией и Эйфелевой башней стоит теперь европейское человечество.

Так писал Vog'ue, так писал Leroy Beanlien, так писал Матью Арнольд, так писал американский писатель Савадж и Ингерзаль, популярный американский свободомыслящий проповедник, и многие другие.

"Учение Христа не годится, потому что не соответствует нашему индустриальному веку", – наивно говорит Ингерзаль, выражая этим с совершенной точностью и наивностью то самое, что думают утонченно образованные люди нашего времени об учении Христа. Учение не годится для нашего индустриального века, точно как будто то, что существует индустриальный век, есть дело священное, которое не должно и не может быть изменено. Вроде того, как если бы пьяницы

против советов о том, как им привести себя в трезвое состояние, отвечали бы, что эти советы неуместны при их алкоголическом состоянии.

Рассуждения всех светских писателей, как русских, так и иностранных, как ни различен их тон и манера доводов, все в сущности сводятся к одному и тому же странному недоразумению, именно к тому, что учение Христа, одно из последствий которого есть непротивление злу насилием, непригодно нас, потому что оно требует изменения нашей жизни.

Учение Христа не годно, потому что, если бы оно было исполнено, не могла бы продолжаться наша жизнь; другими словами: если бы мы начали жить хорошо, как нас учил Христос, мы не могли бы продолжать жить дурно, как мы живем и привыкли жить. Вопрос же о непротивлении злу насилием не только не обсуждается, но самое упоминание о том, что в учение Христа входит требование непротивления злу насилием, уже считается достаточным доказательством неприложимости всего учения.

А между тем, казалось бы, необходимо указать хоть на какое-нибудь решение этого вопроса, так как он стоит в основе почти всех дел, которые занимают нас.

Вопрос ведь состоит в том: каким образом разрешать столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот? И потому считать, что зло есть то, что я считаю злом, несмотря на то, что противник мой считает это добром, не есть ответ. Ответов может быть только два: или тот, чтобы найти верный и неоспоримый критериум того, что есть зло, или тот, чтобы не противиться злу насилием.

Первый выход был пробован с начала исторических времен и, как мы все знаем, не привел до сих пор к успешным результатам.

Второй ответ – не противиться насилием тому, что мы считаем злом, до тех пор, пока мы не нашли общего критериума, – этот ответ предложен Христом.

Можно находить, что ответ, данный Христом, неправилен; можно выставить на место его другой, лучший, найдя такой критериум, который для всех несомненно и одновременно определял бы зло; можно просто не сознавать сущности вопроса, как не сознают этого дикие народы, но нельзя, как это делают ученые критики

христианского учения, делать вид, что вопроса никакого вовсе и не существует или что признание за известными лицами или собраниями людей (тем менее, когда эти люди мы сами) права определять зло и противиться ему насилием разрешает вопрос; тогда как мы все знаем, что такое признание нисколько не разрешает вопроса, так как всегда есть люди, не признающие за известными людьми или собраниями этого права.

А это-то признание того, что то, что нам кажется злом, то и есть зло, или совершенное непонимание вопроса, и служит основой суждений светских критиков о христианском учении, так что суждения о моей книге, как церковных, так и светских критиков, показали мне то, что большинство людей прямо не понимают не только самого учения Христа, но даже и тех вопросов, на которые оно служит ответом.

### III

Так что сведения, полученные мною после выхода моей книги о том, как не переставая понималось и понимается меньшинством людей христианское учение в его прямом и истинном смысле, так и критики на нее, и церковные и светские, отрицающие возможность понимать учение Христа в прямом смысле, убедили меня в том, что тогда как, с одной стороны, никогда для меньшинства не прекращалось, но все яснее и яснее становилось истинное понимание этого учения, так, с другой стороны, для большинства смысл его все более и более затемнялся, дойдя, наконец, до той степени затемнения, что люди прямо уже не понимают самых простых положений, самыми простыми словами выраженных в Евангелии.

Непонимание учения Христа в его истинном, простом и прямом смысле в наше время, когда свет этого учения проник уже все самые темные углы сознания людского; когда, как говорил Христос, теперь уже с крыш кричат то, что он говорил на ухо; когда учение это проникает все стороны человеческой жизни: и семейную, и экономическую, и гражданскую, и государственную, и международную, — непонимание это было бы необъяснимо, если бы непониманию этому не было причин.

Одна из этих причин это та, что как верующие, так и неверующие твердо убеждены, что учение Христа понято ими давно и так полно, несомненно и окончательно, что никакого другого значения, кроме того, которое они придают ему, и не может быть в нем. Причина этого состоит в продолжительности предания ложного понимания и потому непонимания его.

Самая сильная струя воды не может прибавить ни капли жидкости в сосуд, который полон.

Можно самому непонятливому человеку объяснить самые мудреные вещи, если он не составил себе о них еще никакого понятия; но самому понятливому человеку нельзя объяснить самой простой вещи, если он твердо убежден, что знает, да еще несомненно знает то, что передается ему.

Христианское учение представляется людям нашего мира именно таким давно и несомненно каждому до всех своих мельчайших подробностей известным учением, которое не может быть понимаемо иначе, как так, как оно понято.

Христианство понимается теперь исповедующими церковные учения как сверхъестественное, чудесное откровение обо всем том, что сказано в символе веры; неверующими же, – как пережитое человечеством проявление его потребности веры в сверхъестественное; как историческое явление, вполне выразившееся в католичестве, православии, протестантстве и не имеющее уже для нас никакого жизненного значения. Для верующих значение учения скрывается церковью, для неверующих – наукою.

Скажу сперва о первых.

1800 лет тому назад среди языческого римского мира явилось, странное, не похожее ни на какое из прежних, новое учение, приписывавшееся человеку Христу.

Новое учение это было совершенно новое как по форме, так и по содержанию, и для еврейского мира, среди которого оно возникло, и в особенности для того римского мира, среди которого оно проповедовалось и распространялось.

Среди разработанности религиозных правил еврейства, где, по словам Исаии, было правило на правиле, и среди римского, выработанного до великой степени совершенства, законодательства явилось учение, отрицавшее не только всякие

божества, – всякий страх перед ними, всякие, гадания и веру в них, – но и всякие человеческие учреждения и всякую необходимость в них.

Вместо всяких правил прежних исповеданий, учение это выставяло только образец внутреннего совершенства, истины и любви в лице Христа и последствия этого внутреннего совершенства, достигаемого людьми, – внешнего совершенства, предсказанного пророками, – Царства Божия, при котором все люди разучатся враждовать, будут все научены Богом и соединены любовью и лев будет лежать с ягненком.

Вместо угроз наказания за неисполнение правил, которые выставялись прежними законами, как религиозными, так и государственными, вместо приманки наград за исполнение их, учение это призывало к себе только тем, что оно истина. "Кто хочет узнать об этом учении – от Бога ли оно, пусть исполняет его" (Иоан. VII, 17). "Если я говорю истину, почему не верите мне? Зачем ищете убить человека, сказавшего вам истину? Только истина освободит вас. Исповедовать Бога надо только в истине. Всё учение откроется и уяснится духом истины. Делайте то, что я говорю, и узнаете, правда ли то, что я говорю" (Иоан. VIII).

Доказательств учения не выставялось никаких, кроме истины, кроме соответствия учения с истиной. Всё учение состояло в познании истины и следовании ей, в большем и большем постигновении истины и большем и большем приближении к ней в делах жизни.

Нет по этому учению поступков, которые бы могли оправдать человека, сделать его праведным, есть только влекущий к себе сердца образец истины для внутреннего совершенства в лице Христа, а для внешнего – в осуществлении Царства Божия. Исполнение учения – только в движении по указанному пути, в приближении к совершенству внутреннему – подражания Христу, и внешнему – установления Царства Божия. Большее или меньшее благо человека зависит по этому учению не от той степени совершенства, до которого он достигает, а от большего или меньшего ускорения движения.

Движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте по этому учению большее благо, чем неподвижная праведность фарисея. Заблудшая

овца дороже 99-ти заблудших. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже, любимее Богом тех, которые не пропадали.

Всякое состояние по этому учению есть только известная степень на пути к недостижимому внутреннему и внешнему совершенству и потому не имеет значения. Благо только в движении к совершенству, остановка же на каком бы то ни было состоянии есть прекращение блага.

"Пусть левая не знает, что делает правая", а "не надежен для Царства Божия работник, взявшийся за плуг к оглядывающийся назад". "Не радуйтесь тому, что бесы повинуются вам, а ищите того, что имена ваши были написаны на небесах". "Будьте совершенны, как совершенен отец ваш небесный". "Ищите Царствия Божия и правды его".

Исполнение учения только в безостановочном движении – в постигновении всё высшей и высшей истины, и всё в большем и большем осуществлении ее в себе всё большей и большей любовью, а вне себя всё большим и большим осуществлением Царства Божия.

Очевидно, что явившееся среди еврейского и языческого мира учение это не могло быть принято большинством людей, живших совершенно иною жизнью, чем та, которой требовало это учение; и что даже теми, которыми оно было принято, оно, как совершенно противоположное всем прежним взглядам, не могло быть понято во всем его значении.

Только рядом недоразумений, ошибок, односторонних разъяснений, исправляемых и дополняемых поколениями людей, смысл христианского учения всё более и более уяснялся людям. Совершалось воздействие христианского мирозерцания на еврейское и языческое и языческого и еврейского на христианское. И христианское, как живое, всё более и более проникало отживающее еврейское и языческое и выступало всё яснее и яснее, освобождаясь от накладываемых на него ложных примесей. Люди всё дальше и дальше постигали смысл христианства и более и более осуществляли его в жизни.

Чем дальше жило человечество, тем более и более уяснялся ему смысл христианства, как это не могло и не может быть иначе со всяким учением о жизни.

Последующие поколения исправляли ошибки предшественников и всё более и более приближались к пониманию истинного его смысла.

Так это было с самых первых времен христианства. И вот тут-то, с самых первых времен его, появились люди, начавшие утверждать про себя, что тот смысл, который они придают учению, есть единый истинный и что доказательством этого служат сверхъестественные явления, подтверждающие справедливость их понимания.

Это-то и было главной причиной сначала непонимания учения, а потом и полного извращения учения.

Предполагалось, что учение Христа передается людям не как всякая другая истина, а особенным, сверхъестественным способом, так что истинность понимания учения доказывается не соответственностью передаваемого с требованиями разума и всей природы человека, а чудесностью передачи, служащей непререкаемым доказательством истинности понимания. Возникло это предположение из непонимания, и последствием его была невозможность понимания.

Началось это с самых первых времен, когда так неполно еще и часто превратно понималось учение, как мы видим это по Евангелиям и Деяниям. Чем менее было понято учение, тем оно представлялось темнее и тем нужнее были внешние доказательства его истинности. Положение о том, чтобы не делать другим того, что не хочешь, чтобы тебе делали, не нужно было доказывать чудесами, и положению этому не нужно было требовать веры, потому что положение это само по себе убедительно, соответствуя и разуму и природе человека; но положение о том, что Христос был Бог, надо было доказывать чудесами совершенно непонятными.

Чем было темнее понимание учения Христа, тем более примешивалось к нему чудесного; а чем более примешивалось чудесного, тем более учение отклонялось от своего смысла и становилось темнее, тем сильнее надо было утверждать свою непогрешимость и тем менее учение становилось понятно.

С самых первых времен по Евангелиям, Деяниям, Посланиям можно видеть, каким образом непонимание учения вызывало необходимость доказательств через чудесное и непонятное.

Началось это, по книге Деяний, с того собрания, на котором сошлись ученики в Иерусалиме для разрешения возникшего вопроса о крещении или некрещении необрезанных и о едящих идоложертвенное.

Самая постановка вопроса показывала, что обсуждавшие его не понимали учения Христа, отвергающего все внешние обряды: омовения, очищения, посты, субботы. Прямо сказано: "сквернит не то, что в уста входит, а то, что исходит из сердца", и потому вопрос о крещении необрезанных мог возникнуть только среди людей, любивших учителя, смутно чувствовавших величие его учения, но еще очень неясно понимавших самое учение. Так оно и было.

Насколько члены собрания не понимали учения, настолько понадобилось им внешнее подтверждение своего неполного понимания. И вот для решения вопроса были произнесены на этом собрании, как это описывает книга Деяний, в первый раз долженствовавшие внешним образом утвердить справедливость известных утверждений, эти страшные, наделавшие столько зла, слова: "угодно святому духу и нам", т. е. утверждалось, что справедливость того, что они постановили, засвидетельствовали чудесным участием в этом решении святого духа, т. е. Бога. Но утверждение о том, что святой дух, т. е. Бог, говорил через апостолов, опять надо было доказать. И вот понадобилось для этого утверждать то, что в пятидесятницу святой дух в виде огненных языков сошел на тех, которые утверждали это. (В описании сошествие св. духа предшествует собору, но написаны Деяния много после того и другого.) Но и сошествие святого духа надо было подтвердить для тех, которые не видали огненных языков (хотя и непонятно, почему огненный язык, зажегшийся над головой человека, показывает, что то, что будет говорить этот человек, – несомненная правда), и понадобились еще чудеса и исцеления, воскресения, умерщвления и все те соблазнительные чудеса, которыми наполнены Деяния и которые не только никогда не могут убедить в истинности христианского учения, но могут только оттолкнуть от него. Последствия такого способа утверждения истины были те, что чем более нагромождались одно за другим эти подтверждения истинности рассказами о чудесах, тем более отклонялось самое учение от своего первоначального смысла и тем непонятнее становилось оно.



Так это было с первых времен и так это шло, постоянно усиливаясь, логически дойдя в наше время до догматов пресуществления и непогрешимости папы или епископов, или писаний, т. е., совершенно непонятного, дошедшего до бессмыслицы и до требований слепой веры не Богу, не Христу, не учению даже, а лицу, как в католичестве, или лицам, как в православии, или – веры книжке, как в протестантстве. Чем шире распространялось христианство и чем большую оно захватывало толпу неподготовленных людей, тем менее оно понималось, тем решительнее утверждалась непогрешимость понимания и тем менее становилась возможность понять истинный смысл учения. Уже ко времени Константина всё понимание учения свелось к резюме, утвержденным светской властью, – резюме споров, происходивших на соборе, – к символу веры, в котором значится: верую в то-то, то-то и то-то и под конец – в единую, святую, соборную и апостольскую церковь, т. е. в непогрешимость тех лиц, которые называют себя церковью, так что всё свелось к тому, что человек верит уже не Богу, не Христу, как они открылись ему, а тому, чему велит верить церковь.

Но церковь свята, церковь основана Христом. Не мог Бог предоставить людям толковать свое учение произвольно, и потому он установил церковь. Все эти положения до такой степени несправедливы и голословны, что совестно опровергать их. Нигде, ни по чему, кроме как по утверждению церковей, не видно, чтобы Бог или Христос основывали что-либо подобное тому, что церковники понимают под церковью. В Евангелии есть указание, против церкви как внешнего авторитета, самое очевидное и ясное, в том месте, где говорится, чтобы ученики Христа никого не называли учителями и отцами. Но нигде ничего не сказано об установлении того, что церковники называют церковью.

В Евангелиях два раза употреблено слово "церковь". Один раз смысле собрания людей, разрешающего спор; другой раз в связи с темными словами о камне – Петре и вратах ада. Из этих двух упоминаний слова "церковь", имеющего значение только собрания, выводится то, что мы теперь разумеем под словом "церковь".

Но Христос никак не мог основать церковь, т. е. то, что мы теперь понимаем под этим словом, потому что ничего подобного понятию церкви такой, какую знаем

теперь с таинствами, иерархией и, главное, с своим утверждением непогрешимости, не было ни в словах Христа, ни в понятиях людей того времени.

То, что люди называли то, что сложилось потом, тем же словом, которое Христос употреблял о чем-то другом, никак не дает им права утверждать того, что Христос основал единую истинную церковь.

Кроме того, если бы Христос действительно установил такое учреждение, как церковь, на котором основано всё учение и вся вера, то он, вероятно бы, высказал это установление так определенно и ясно и придал бы единой истинной церкви, кроме рассказов о чудесах, употребляемых при всяких суевериях, такие признаки, при которых не могло бы быть никакого сомнения в ее истинности; но ничего подобного нет, а как были, так и есть теперь различные учреждения, называющие себя каждое единою истинною церковью.

Католический катехизис говорит: "Церковь есть общество верующих, основанное господом нашим Иисусом Христом, распространенное по всей земле и подчиненное власти законных пастырей и святого нашего отца – папы", подразумевая под *pasteurs legitimes* человеческое учреждение, имеющее во главе своей папу и составленное из известных, связанных между собой известной организацией лиц.

Православный катехизис говорит: "Церковь есть основанное Иисусом Христом на земле общество, соединенное между собою в одно целое одним божественным учением и таинствами под управлением и руководством богоустановленной иерархии", разумея под богоустановленной иерархией именно греческую иерархию, составленную из известных таких-то лиц, находящихся в таких-то и таких-то местах.

Лютеранский катехизис говорит: "Церковь есть святое христианство; или собрание всех верующих под Христом, главою их, в котором св. дух через Евангелие и таинства предлагает, сообщает, усваивает Божеское спасение", подразумевая то, что католическая церковь заблудшая и отпавшая и что истинное предание хранится в лютеранстве.

Для католиков божественная церковь совпадает с римской иерархией и папой. Для православных божественная церковь совпадает с учреждением восточной и

русской иерархии (\*). Для лютеран божественная церковь совпадает с собранием людей, признающих Библию и катехизис Лютера.

(\* Имеющее некоторый успех между русскими людьми определение церкви Хомякова не исправляет дела, если признавать вместе с Хомяковым, что единая истинная церковь есть православная. Хомяков утверждает, что церковь есть собрание людей (всех без различия клира и паствы), соединенных любовью, что только людям, соединенным любовью, открывается истина (Возлюбим друг друга, да единомыслием и т. д.) и что таковая церковь есть церковь, во-первых, признающая Никейский символ, а во-вторых, та, которая после разделения церквей не признает папы и новых догматов. Но при таком определении церкви является еще большее затруднение приравнять, как того хочет Хомяков, церковь, соединенную любовью, с церковью, признающей Никейский символ и правоту Фотия. Так что утверждение Хомякова о том, что эта соединенная любовью и, следовательно, святая церковь и есть самая, исповедуемая греческой иерархией, церковь, еще более произвольно, чем утверждение католиков и старых православных. Если допустить понятие церкви в том значении, которое дает ему Хомяков, т. е. как собрание людей, соединенных любовью и истиной, то всё, что может сказать всякий человек по отношению этого собрания, – это то, что весьма желательно быть членом такого собрания, если такое существует, т. е. быть в любви и истине; но нет никаких внешних признаков, по которым можно бы было себя или другого причислить к этому святому собранию или отвергнуть от него, так как никакое внешнее учреждение не может отвечать этому понятию. \*)

Обыкновенно, говоря о происхождении христианства, люди, принадлежащие к одной из существующих церквей, употребляют слово "церковь" в единственном числе, как будто церковь была и есть только одна. Но это совершенно несправедливо. Церковь, как учреждение, утверждающее про себя, что она обладает несомненной истиной, явилась только тогда, когда она была не одна, а было их по крайней мере две.

Пока верующие были согласны между собою, и собрание было одно, ему незачем было утверждать себя церковью. Только тогда, когда верующие разделились на противоположные, отрицающие друг друга партии, явилась потребность каждой стороны утверждать свою истинность, приписывая себе непогрешимость. Понятие единой церкви возникло только из того, что, при разногласии в споре двух сторон, каждая, называя другую сторону ересью, признавала только свою сторону непогрешимой церковью.

Если мы знаем, что была церковь, решившая в 51 году принимать необрезанных, то церковь эта явилась только потому, что была другая церковь – иудействующих, решившая не принимать необрезанных.

Если есть теперь церковь католическая, утверждающая свою непогрешимость, то только потому, что есть церкви: греко-российская, православная, лютеранская, каждая утверждающая свою непогрешимость и этим самым отрицающая все другие церкви. Так что церковь единая есть только фантастическое представление, не имеющее в себе ни малейшего признака действительности.

Как действительное историческое явление существовали и существуют только многие собрания людей, утверждающие каждое про себя, что оно есть единая, основанная Христом церковь, а что все другие, называющие себя церквами, суть ереси и расколы.

Катехизисы самых распространенных церквей: католической, православной и лютеранской, прямо говорят это.

В католическом катехизисе сказано:

Кто находится вне церкви? – Неверные, еретики и схизматики. Схизматиками признаются так называемые православные. Еретиками признаются лютеране; так что, по католическому катехизису, в церкви – одни католики.

В так называемом православном катехизисе сказано: "Под единой церковью Христовой разумеется только православная, которая остается вполне согласно с церковью вселенской. Что же касается римской церкви и других исповеданий (лютеран и других не называют даже церковью), то они не могут быть относимы к единой истинной церкви, так как сами отделились от нее.

По этому определению католики и лютеране – вне церкви, а в церкви – одни православные.

Лютеранский же катехизис гласит:

Истинная церковь узнается по тому, что в ней слово Бога ясно и чисто, без человеческих прибавлений преподается и таинства верно учению Христа установлены.

По этому определению все те, которые прибавили что-либо к учению Христа и апостолов, как это сделали католическая и греческая церковь, – находятся вне церкви. И в церкви – одни протестанты.

Католики утверждают, что св. дух непрерывно действовал в их иерархии; православные утверждают, что тот же св. дух непрерывно действовал в их иерархии; ариане утверждали, что св. дух действовал в их иерархии (утверждали это с таким же правом, с каким утверждают это теперь царствующие церкви); всякого рода протестанты: лютеране, реформаты, пресвитеры, методисты, сведенборгианцы, мормоны утверждают, что св. дух действует только в их собраниях.

Если католики утверждают, что дух святой во время разделения церквей арианской и греческой оставлял отпавшие церкви и оставался в одной истинной, то точно с таким же правом могут утверждать протестанты всякого наименования, что во время отделения их церкви от католической дух святой оставлял католическую и переходил в церковь, ими признаваемую. Так они это и делают.

Всякая церковь, выводит свое исповедание через непрерывное предание от Христа и апостолов. И действительно, всякое христианское исповедание, происходя от Христа, неизбежно должно было дойти до настоящего поколения через известное предание. Но это не доказывает того, чтобы одно из этих преданий, исключая все другие, было несомненно истинно.

Каждый сучок на дереве идет без перерыва от корня; но то, что каждый сучок идет от одного корня, никак не доказывает того, чтобы каждый сучок был единственный. Точно так же и церкви. Каждая церковь представляет точно такие же доказательства своей преемственности и даже чудес в пользу истинности своей, как и всякая другая; так что строгое и точное определение того, что есть церковь (не как

нечто фантастическое, чего бы нам хотелось но как то, что есть и было в действительности), – только одно: церковь есть такое собрание людей, которые утверждают про себя что они находятся в полном и единственном обладании истины.

Вот эти-то собрания, перешедшие впоследствии при помощи поддержки власти в могущественные учреждения, и были главными препятствиями распространению истинного понимания учения Христа.

Оно и не могло быть иначе: главная особенность учения Христа от всех прежних учений состояла в том, что люди, принявшие его, всё больше и больше стремились понимать и исполнять учение; церковное же учение утверждало свое полное и окончательное понимание и исполнение его.

Как ни странно это кажется для нас, людей воспитание в ложном учении о церкви как о христианском учреждении и в презрении к ереси, – но только в том, что называлось ересью и было истинное движение, т. е. истинное христианство, и только тогда переставало быть им, когда оно в этих ересьях останавливалось в своем движении и так же закреплялось в неподвижные формы церкви.

В самом деле, что такое ересь? Перечитайте все богословские сочинения, трактующие о ересьях, о том предмете, который первый представляется для определения, так как каждое богословие говорит об истинном учении среди окружающих его ложных, т. е. ересей и нигде не найдете даже подобия какого-нибудь определения ереси.

Образцом того полного отсутствия какого-нибудь подобия определения того, что понимается под словом "ересь", может служить суждение об этом предмете ученого историка христианства E. de Pressense всего "Histoire du Dogme" с эпиграфом "Udi Ghristus, idi Ecclesia" (Paris, 1869). Вот что он говорит в своем предисловии (стр. 3) "Я знаю, что у нас оспаривают право так определять (т. е. называть ересями) те направления, с которыми столь напряженно боролись первые отцы. Одно название "ересь" представляется покушением на свободу совести и мысли. Но мы, с своей стороны, не можем разделять подобных сомнений, которые привели бы ни к чему другому, как к отнятию у христианства его отличительного характера".

И, сказав, что после Константина церковь действительно злоупотребляла своей властью определять несогласных еретиками и преследовать их, он, обсуждая первые времена, говорит:

"Церковь есть ассоциация свободная, отделяться от нее представляет только выгоду. Полемика против заблуждения осуществима только на основании мысли и чувства. Общая и единая догматическая форма до сих пор еще не выработана; частные разногласия свободно проявляются как на Востоке, так и на Западе; теология вовсе не прикована к неизменным формулам. Если среди всего этого разногласия просвечивает фон общих верований, то разве мы не вправе в этом видеть не окончательно оформленную систему, составленную авторитетными представителями той или другой школы, а – самую веру в ее чистейшем побуждении и в самом непосредственном ее проявлении? Если оказывается, что это самое единство, которое обнаруживается во всех основных верованиях, восстает против тех или других направлений, то разве мы не вправе из этого предположить, что эти направления были в противоречии с основными принципами христианства? И не обратится ли такое наше предположение в полную уверенность тогда, когда мы признаем в таком учении, отвергнутом церковью, характеристические черты той или другой отжившей религии? Если допустить, что гностицизм и эбионитизм суть законные формы христианской мысли, то приходится смело признать, что вовсе нет ни христианской мысли, ни отличительного характера, по которому можно было бы ее узнать. Под предлогом ее расширить мы ее совсем упразднили бы. Во время Платона никто не посмел бы выразить свое одобрение такому учению, в котором не умещалась бы теория идей, и рассмешил бы всю Грецию тот, кто вздумал бы причислять Эпикура или Зенона к ученикам Академии. Итак, допустим, что если существует религия или учение, называемое христианством, то оно может иметь свои ереси (стр. 4)".

Все рассуждение автора сводится к тому, что всякое суждение, несогласное с исповедуемым нами в данное время сводом догматов, есть ересь. Но ведь в данное время и в данном месте люди что-нибудь да исповедуют и это исповедание чего-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь не может быть критерием истины.

Все сводится к тому, что *udi Christus, idi Ecclesia*. Christus же там, где мы.

Всякая так называемая ересь, признавая истиной то, что она исповедует, может точно так же найти в истории церкви последовательное выяснение того, что она исповедует, употребить для себя все аргументы Пресансе и называть только свое исповедание истинно христианским, что и делали и делают все ереси.

Единственное определение ереси (слово *αἵρεσις* значит часть) есть название, которое дает собрание людей всякому суждению, опровергающему часть учения, исповедуемого собранием. Более же частное значение, чаще всего приписываемое ереси, есть значение мнения, опровергающее установленное и поддерживаемое светской властью церковное учение.

Есть замечательное малоизвестное огромное сочинение ("*Unparteiische Kirchen und Ketzer-Historie*", 1729 г.) Готфрида Арнольда, трактующего прямо об этом предмете и показывающего всю незаконность, произвольность, бессмысленность и жестокость употребления слова "ересь" в смысле отвержения. Книга эта есть попытка описания истории христианства в форме истории ересей.

В вступлении автор ставит ряд вопросов: 1) о тех, которые делают еретиков (*von den Ketzermachern selbst*); 2) о тех, кого делали еретиками; 3) о самих предметах ереси; 4) о способе делания еретиков и 5) о целях и последствиях делания еретиков.

На каждый из этих пунктов он ставит еще десятки вопросов, ответы на которые дает потом из сочинений известных богословов, а главное предоставляет самому читателю сделать вывод из изложения всей книги. Как образцы этих вопросов, заключающих в себе отчасти и ответы, приведу следующие. По 4-му пункту о том, как делаются еретики, он говорит в одном из вопросов (в 7-м): "Не показывает ли вся история того, что самые большие делатели еретиков и мастера этого дела были именно те мудрецы, от которых отец скрыл свои тайны, т. е. лицемеры, фарисеи и законники или совершенно безбожные и извращенные люди". (Вопр. 20-21): "И что не были ли в испорченные времена христианства отброшены лицемерами и завистниками те самые люди, особенно одаренные от Бога великими дарами, которые во времена чистого христианства были бы высоко почитаемы. И напротив, не были ли бы эти люди, которые при упадке христианства возвысили себя выше



всего и признали себя учителями чистейшего христианства, не были ли бы те люди во времена апостолов и учеников Христа признаны самыми постыдными еретиками и антихристианами".

Между прочим, высказывая в этих вопросах мысль о том, что словесное выражение сущности веры, которое требовалось церковью и отступление от которого считалось ересью, никогда не могло вполне покрывать самого мирозерцания верующего и что потому требование выражения веры известными словами и производило ереси, он в вопросе 21-м и 33-м говорит:

"И что если человеку божественные дела и мысли представляются столь великими и глубокими, что он не находит соответствующих слов для их выражения, то следует ли его признать еретиком, если он не может вполне точно выразить свое понятие? И что не оттого ли в первые времена не было ереси, что христиане судили друг друга не по словесным выражениям, но по сердцу и делам, при совершенной свободе выражения своих мыслей, без страха быть признанным еретиком? Не было ли самым обыкновенным и легким способом церкви (говорит он в 31-м вопросе), если клир хотел избавиться или погубить кого, сделать это лицо подозрительным в его учении и набросить на него плащ еретичества и тем осудить и устранить это лицо?"

"Хотя и справедливо то, что среди так называемых еретиков были грехи и заблуждения, но не менее справедливо и очевидно из бесчисленных приводимых здесь примеров (т. е. в истории церкви и ереси) и то, говорит он далее, что нет и не было ни одного искреннего и совестливого человека с некоторым значением, который бы из зависти или других причин не был бы погублен церковниками".

Так почти 200 лет тому назад понималось уже значение ереси, и, несмотря на то, понятие это существует до сих пор. Оно и не может не существовать до тех пор, пока существует понятие церкви. Ересь есть обратная сторона церкви. Там, где есть церковь, должно быть и понятие ереси. Церковь есть собрание людей, утверждающих про себя, что они обладают несомненной истиной. Ересь есть мнение людей, не признающих несомненность истины церкви.

Ересь есть проявление движения в церкви, есть попытка разрушения заоченевшего утверждения церкви, попытка живого понимания учения. Всякий шаг движения вперед, понимания и исполнения учения совершался еретиками: еретики были и Тертуллиан, и Ориген, и Августин, и Лютер, и Гус, и Савонарола, и Хельчицкий и др. Оно и не могло быть иначе.

Ученик Христа, учение которого состоит в вечном большем и большем постигновении учения и большем и большем исполнении его, в движении к совершенству, не может именно потому, что он ученик Христа, утверждать про себя или про другого, что он понимает вполне учение Христа и исполняет его; еще менее может утверждать это про какое-либо собрание.

На какой бы ступени понимания и совершенства ни находился ученик Христа, он всегда чувствует недостаточность своего и понимания и исполнения и всегда стремится к большему и пониманию и исполнению. И потому утверждение про себя или про какое-либо собрание, что я или мы находимся в обладании совершенного понимания и исполнения учения Христа, есть отречение от духа учения Христа.

Как ни странно это кажется, церкви, как церкви, всегда были и не могут не быть учреждениями не только чуждыми, но прямо враждебными учению Христа. Недаром Вольтер называл ее бесчестная; недаром все или почти все христианские так называемые секты признавали и признают церковь той блудницей, о которой пророчествует апокалипсис; недаром история церкви есть история величайших жестокостей и ужасов.

Церкви, как церкви, не суть некоторые учреждения, имеющие в основе своей христианское начало, хотя и несколько отклонившиеся от прямого пути, как это думают многие; церкви, как церкви, как собрания, утверждающие свою непогрешимость, суть учреждения противохристианские. Между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала. Одно – гордость, насилие, самоутверждение, неподвижность и смерть; другое – смирение, покаяние, покорность, движение и жизнь.

Нельзя служить вместе этим двум господам, надо выбрать того или другого.

Служители церквей всех исповеданий, в особенности в последнее время, стараются выставить себя сторонниками движения в христианстве: они делают уступки, желают исправить вкравшиеся в церкви злоупотребления и говорят, что из-за злоупотреблений нельзя отрицать самого принципа христианской церкви, которая одна только может соединить всех воедино и быть посредницей между людьми и Богом. Но это всё несправедливо. Церкви не только никогда не соединяли, но были всегда одной из главных причин разъединения людей, ненависти друг к другу, войн, побоищ, инквизиций, варфоломеевских ночей и т. п., и церкви никогда не служат посредниками между людьми и Богом, чего и не нужно и что прямо запрещено Христом, открывшим свое учение прямо непосредственно каждому человеку, но ставят мертвые формы вместо Бога и не только не открывают, но заслоняют от людей Бога. Церкви, возникшие из непонимания и поддерживающие это непонимание своей неподвижностью, не могут не преследовать и не гнать всякое понимание учения. Они стараются скрыть это, но это невозможно потому, что всякое движение вперед по пути, указанному Христом, разрушает их существование.

Послушаешь и почитаешь статьи и проповеди, в которых церковные писатели нового времени всех исповеданий говорят о христианских истинах и добродетелях, слушаешь и почитаешь эти веками выработанные искусные рассуждения, увещания, исповедания, иногда как будто похожие на искренние, и готов усомниться в том, чтобы церкви могли быть враждебны христианству: "не может же быть того, чтобы эти люди, выставившие таких людей, как Златоусты, Фенелоны, Ботлеры, и других проповедников христианства, были враждебны ему". Хочется сказать: "церкви могли отклоняться от христианства, ошибаться, но не могли они быть враждебны ему". Но посмотришь на плоды, чтобы оценить дерево, как учил Христос, и увидишь, что плоды их были злы, что последствием их деятельности было извращение христианства, и не можешь не признать, что, как ни добры были люди, — дело церкви, в котором эти люди участвовали, было нехристианское. Доброта и достоинства всех этих людей, служивших церквям, были доброта и достоинства людей, но не того дела, которому они служили. Все эти добрые люди, — как оба Франциска, d'Assise и de Lobes, наш Тихон Задонский, Фома Кемпийский и др. были

добрые люди, несмотря на то, что они служили делу, враждебному христианству, и они были бы еще добрее и достойнее, если бы не подпали тому заблуждению, которому служили.

Но зачем говорить о прошедшем, судить о прошедшем, которое может быть ложно представлено и мало известно нам: церкви с своими основами и с своей деятельностью не есть дело прошедшего: церкви теперь перед нами, и мы можем судить о них на деле по их деятельности, их влиянию на людей.

В чем же состоит теперь деятельность церквей? Как они влияют на людей? Что делается церквами у нас, у католиков, у протестантов всяких наименований; в чем их деятельность и какие последствия их деятельности?

Деятельность нашей русской, так называемой православной церкви на виду у всех. Это факт огромный, который скрыть нельзя и о котором спорить нельзя.

В чем состоит деятельность этой русской церкви, этого огромного напряженно действующего учреждения, состоящего из полумиллионного полчища, стоящего народу десятки миллионов?

Деятельность этой церкви состоит в том, чтобы всеми возможными мерами внушить 100-миллионной массе русского народа те отсталые, отжитые, не имеющие теперь никакого оправдания верования, которые когда-то исповедовали чуждые нашему народу люди и в которые почти никто уже не верит, часто даже и те, на обязанности которых лежит распространение этих ложных верований.

Внушение народу этих чуждых ему, отжитых и не имеющих уже никакого смысла для людей нашего времени формул византийского духовенства о троице, о Божией матери, о таинствах, о благодати и т. п. составляет одну часть деятельности русской церкви; другую часть ее деятельности составляет деятельность поддержания идолопоклонства в самом прямом смысле этого слова: почитания святых мощей, икон, принесения им жертв и ожидания от них исполнения желаний. Не буду говорить о том, что говорится, пишется духовенством с оттенком научности и либерализма в духовных журналах, а буду говорить о том, что действительно совершается духовенством по всей обширной русской земле среди 100-миллионного

народа. Чему старательно, неупустительно, напряженно везде одинаково учат народ? Чего от него требуют в силу так называемой христианской веры?

Начну с начала, с рождения ребенка: при рождении ребенка учат тому, что надо над ребенком и матерью прочитать молитву, чтобы очистить их, так как без молитвы этой родившая мать погана. Для этого перед изображениями святых, называемых народом прямо богами, священник берет в руки ребенка и читает закликательные слова и этим очищает мать. Потом внушается родителям и даже требуется от них под страхом наказания за неисполнение, чтобы ребенок был непременно крещен, т. е. обмокнут священником три раза в воду, причем читаются никому не понятные слова и совершаются еще менее понятные действия, – мазание маслом разных частей тела, стрижка волос и дутье и плевание восприимчивых на воображаемого дьявола. Всё это должно очистить ребенка и сделать его христианином. Потом внушается родителям, что ребенка надо причастить, т. е. дать ему под видом хлеба и вина съесть частицу тела Христа, вследствие чего ребенок примет в себя благодать Христа и т. д. Потом внушается, что этого ребенка, по мере возраста, надо выучить молиться. Молиться – значит становиться прямо перед досками, на которых нарисованы лица Христа, богородицы, святых, и кланяться головой, всем телом, а правой рукой, сложенными известным образом пальцами, дотрагиваться до лба, плеч, живота и произносить славянские слова, из которых самые употребительные и всем детям внушаемые: богородица, дева радуйся и т. д. Потом внушается воспитываемому, что при виде всякой церкви и иконы надо делать опять то же, т. е. креститься; потом внушается, что в праздники (праздники – это дни, в которые Христос родился, хотя никто не знает, когда это было, дни, в которые он обрезался, в которые умерла богородица, в которые принесен крест, в которые внесена икона, в которые юродивый видел видение и т. п.), в праздники надо одеться в лучшие одежды и идти в церковь и покупать и ставить там свечи перед изображениями святых, подавать записочки и поминания и хлебцы, для вырезывания в них треугольников, и потом молиться много раз за здоровье и благоденствие царя и архиереев и за себя и за свои дела и потом целовать крест и руку у священника.

Кроме этой молитвы, внушается еще, что надо каждый год, по крайней мере один раз, говеть. Говеть – значит войти в церковь и сказать священнику свои грехи, предполагая, что это сообщение своих грехов чужому человеку совершенно очищает от грехов, и потом съесть с ложечки кусочек хлеба с вином, что еще более очищает. Потом внушается, что если мужчина и женщина хотят, чтобы их плотское общение было свято, то они должны прийти в церковь, надеть на себя металлические короны, выпить питья, обойти под звуки пения три раза вокруг стола, и что тогда плотское общение мужчины и женщины делается святым и совсем особенным от всяких других.

В жизни же внушается, что надо соблюдать следующие правила: не есть мяса и молока в известные дни, еще и в другие известные дни служить молебны и панихиды по умершим, в праздники принимать священника и давать ему деньги и несколько раз в году брать из церкви доски с изображениями и носить их на полотенцах по полям и домам. Перед смертью же внушается, что человек должен непременно съесть с ложечки хлеба с вином, а еще лучше, если успеет помазаться маслом. Это обеспечивает ему благо в будущей жизни. После же смерти внушается родным его, что для спасения души умершего полезно положить ему в руки печатную бумагу с молитвой; полезно еще, чтобы над мертвым телом прочли известную книгу и чтобы в церкви в известное время произносили бы имя умершего.

В этом считается обязательная вера для каждого.

Но если кто особенно хочет позаботиться о своей душе, то по этой вере внушается, что наибольшее обеспечение блаженства души на том свете достигается еще тем, чтобы жертвовать деньги на церкви и монастыри, обязывая этим святых людей молиться за себя. Спасительны еще, по этой вере, для души хождения по монастырям и целование явленных икон и мощей.

По этой вере явленные иконы и мощи сосредоточивают в себе особенную святость, силу и благодать и близость к этим предметам: прикосновение, целование, становление свеч к ним, подлезание под них много содействует спасению, равно и молебны, заказываемые перед этими святынями.

И вот эта-то вера, и никакая другая, называемая православной, т. е. настоящей верой, под видом христианской, всеми силами в продолжение многих веков и с особенным напряжением теперь внушается народу.

И пусть не говорят, что православные учителя полагают сущность учения в чем-либо другом, а что это только древние формы, которые не считаются нужным разрушать. Это неправда: по всей России всем русским духовенством и в последнее время с особенным напряжением внушается только эта вера. Другого ничего нет. Про другое говорится и пишется в столицах, но среди стомиллионного народа делается только это и внушается только это, и больше ничего. О другом церковники разговаривают, а это они внушают всеми возможными мерами.

Все это и поклонение лицам и иконам внесено в богословие, в катехизисы; этому старательно учат народ теоретически и практически, всеми средствами торжественности, блеска, авторитета, насилия гипнотизируя его, заставляют его верить в это и ревниво оберегают эту веру от каждой попытки освобождения народа от этих диких суеверий.

На моих глазах, как я говорил, по случаю моей книги, в продолжение многих лет учение Христа и его собственные слова о непротивлении злу были предметом насмешек, балаганных шуток, и церковники не только не противились этому, но поощряли это кощунство; но попробуйте сказать непочтительное слово о безобразном идоле, кощунственно развозимом по Москве пьяными людьми под именем Иверской, и поднимется стон негодования этих самых православных церковников. Проповедуется только внешний культ идолопоклонства. И пусть не говорят, что одно не мешает другому, что "сие надлежит делать и того не оставлять", что "всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают" (Мф. XXIII, 23, 3). Это сказано о фарисеях, которые исполняли все внешние предписания закона, и потому слова: "что велят вам соблюдать, соблюдайте", относятся к исполнению обрядов и упущению дел добра и имеют как раз обратный смысл того, который хотят придать этому месту церковники, толкуя так, что соблюдать ведено обряды. Внешний культ и служение

милости и правде трудно совместимы: большею частью одно исключает другое. Так было это у фарисеев, так это и теперь у церковных христиан.

Если человек может спастись искуплением, таинствами, молитвой, то добрые дела уже не нужны ему.

Нагорная проповедь или символ веры: нельзя верить тому и другому. И церковники выбрали последнее: символ веры учится и читается, как молитва и в церквях, а нагорная проповедь исключена даже из чтений евангельских в церквях, так что в церквях никогда, кроме как в те дни, когда читается всё Евангелие, прихожане не услышат ее. Да и не может быть иначе: люди, верующие в злого и безрассудного Бога, – проклявшего род человеческий и обрекшего своего сына на жертву и часть людей на вечное мучение, – не могут верить в Бога любви. Человек, верующий в Бога Христа паки грядущего со славою судить и казнить живых и мертвых, не может верить в Христа, повелевающего подставлять щеку обидчику, не судить, прощать и любить врагов. Человек, верующий в боговдохновенность Ветхого Завета и святость Давида, завещающего на смертном одре убийство старика, оскорбившего его и которого он сам не мог убить, так как был связан клятвою (3-я Книга Царей, глава 2, стих 8), и тому подобные мерзости, которыми полон Ветхий Завет, не может верить в нравственный закон Христа; человек, верующий в учение и проповедь церкви о совместимости с христианством казней, войн, не может уже верить в братство всех людей.

Главное же, человек, верующий в спасение людей верою в искупление или в таинства, не может уже все силы свои полагать на исполнение в жизни нравственного учения Христа.

Человек, наученный церковью тому кощунственному учению о том, что человек не может спастись своими силами, а что есть другое средство, неизбежно будет прибегать к этому средству, а не к своим силам, на которые, его уверяют, грех надеяться. Учение церковное – всякое, с своим искуплением и таинствами, исключает Христово учение, тем более учение православное с своим идолопоклонством. "Но народ сам так всегда верил, так верит теперь, – скажут на это. – Вся история русского народа доказывает это. Нельзя лишить народа его



предания". В этом-то и обман. Народ когда-то точно исповедовал нечто подобное тому, что исповедует теперь церковь, хотя далеко не то же самое (в народе, кроме этого изуверства икон, домовых, мощей и семиков с венками и березками, всегда было еще глубокое нравственное жизненное понимание христианства, которого никогда не было во всей церкви, а встречалось только в лучших представителях ее); но народ, несмотря на все препятствия, которые в этом ставило ему государство и церковь, давно уже пережил в лучших представителях своих эту грубую степень понимания, что он и показывает самозарождающимися везде рационалистическими сектами, которыми кишит теперь Россия и с которыми так безуспешно борются теперь церковники. Народ идет вперед в сознании нравственной, жизненной стороны христианства. И вот тут-то и является церковь с своим не поддерживанием, но усиленным внушением отжившего язычества в своей законченной форме, с своим стремлением втолкнуть опять народ в тот мрак, из которого он выбивается с таким усилием.

"Мы не учим ничему новому народ, но только тому, во что он верует, но только в более совершенной форме", – говорят священники. Это то же самое, что бы делал человек, связывая вырастающего цыпленка и засовывая в скорлупу, из которой он вышел.

Меня часто поражало это комическое, если бы последствия его не были так ужасны, наблюдение о том, как люди, сцепившись кругом, обманывают друг друга и не могут выйти из этого заколдованного круга.

Первый вопрос, первое сомнение начинающего мыслить русского человека есть вопрос об явленных иконах и, главное, о мощах: правда ли, что они нетленны и что от них совершаются чудеса? Сотни и тысячи людей задают себе эти вопросы и затрудняются в разрешении их преимущественно тем, что архиереи, митрополиты и все высокопоставленные люди прикладываются к мощам и чудотворным иконам. Спросить у архиерея и высокопоставленных лиц, зачем они это делают, они скажут, что делают для народа, а народ прикладывается потому, что архиереи и высокопоставленные лица это делают.

Деятельность русской церкви, несмотря на весь тот внешний лоск современности, учености, духовности, который ее члены теперь начинают принимать в своих сочинениях, статьях, в духовных журналах и проповедях, состоит только в том, чтобы не только держать народ в том состоянии грубого и дикого идолопоклонства, в котором он находился, но еще усиливать и распространять суеверие и религиозное невежество, вытесняя из народа живущее в нем рядом с идолопоклонством жизненное понимание христианства.

Помню, раз в монастырской книжной лавке Оптиной пустыни, я присутствовал при выборе старым мужиком божественных книг для своего грамотного внука. Монах подсовывал ему описание мощей, праздников, явлений икон, псалтырь и т. п. Я спросил старика, есть ли у него Евангелие? Нет. "Дайте ему русское Евангелие", – сказал я монаху. "Это им нейдет", – сказал мне монах.

Это в сжатом виде деятельность нашей церкви.

Но это так только в варварской России, скажет на это европейский или американский читатель. И такое суждение будет справедливо, но только в той мере, в которой это суждение относится к правительству, помогающему церкви совершать ее одуряющее и развращающее действие в России.

Справедливо, что нигде в Европе нет столь деспотического правительства и до такой степени согласного с царствующей церковью. И потому участие власти в развращении народа в России самое сильное; но несправедливо, чтобы церковь русская в своем влиянии на народ отличалась чем-нибудь от какой-либо другой церкви.

Церкви везде одни и те же, и если католическая, англиканская и лютеранская не имеют под рукой такого покорного правительства, как русское, то это происходит не от отсутствия желания воспользоваться таковым.

Церковь как церковь, какая бы она ни была – католическая, англиканская, лютеранская, пресвитерианская, всякая церковь, насколько она церковь, не может не стремиться к тому же, к чему и русская церковь, к тому, чтобы скрыть настоящий смысл учения Христа и заменить его своим учением, которое ни к чему не

обязывает, исключает возможность понимания истинного, деятельного учения Христа и, главное, оправдывает существование жрецов, кормящихся на счет народа.

Разве что-либо другое делало и делает католичество с своим запретом чтения Евангелия и с своим требованием нерассуждающей покорности церковным руководителям и непогрешимому папе? Разве что-либо другое, чем русская церковь, проповедует католичество? Тот же внешний культ, те же мощи, чудеса и статуи, чудодейственные Notre-Dames и процессии. Те же возвышенно туманные суждения о христианстве в книгах и проповедях, а когда дойдет до дела, то поддержание самого грубого идолопоклонства.

И разве не то же самое делается и в англиканстве, лютеранстве, во всяком протестантстве, сложившемся в церковь? Те же требования от паствы веры в догматы, выраженные в IV веке и потерявшие всякий смысл для людей нашего времени, и то же требование идолопоклонства, если не перед мощами, иконами, то перед днем субботним и буквой Библии. Всё та же деятельность, направленная на то, чтобы скрыть настоящие требования христианства и на место их поставить ни к чему не обязывающую внешность и *sant*, как прекрасно определяют англичане то самое занятие, которому они особенно подвержены. Среди протестантства эта деятельность особенно заметна потому, что нет у этого исповедания даже отговорки древности. И разве не то же самое происходит и в теперешнем ривайвелизме – обновленном кальвинизме, евангелизме, из которого выродилась армия спасения.

Как одинаково положение всех церковных учений по отношению к учению Христа, так одинаковы и их приемы.

Положение их таково, что им нельзя не напрягать все усилия на то, чтобы скрыть учение Христа, именем которого они пользуются.

Несоответствие всех церковных исповеданий с учением Христа ведь таково, что нужны особенные усилия, чтобы скрыть это несоответствие от людей. В самом деле, ведь стоит только вдуматься в положение каждого взрослого, не только образованного, но самого простого человека нашего времени, набравшегося носящихся в воздухе понятий о геологии, физике, химии, космографии, истории, когда он в первый раз сознательно отнесется к тем, в детстве внушенным ему и

поддерживаемым церквями, верованиям о том, что Бог сотворил мир в шесть дней; свет прежде солнца, что Ной засунул всех зверей в свой ковчег и т. п.; что Иисус есть тоже Бог-сын, который творил всё до времени; что этот Бог сошел на землю за грех Адама; что он воскрес, вознесся и сидит одесную отца и придет на облаках судить мир и т. п.

Ведь все эти положения, выработанные людьми IV века и имевшие для людей того времени известный смысл, для людей нашего времени не имеют никакого. Люди нашего времени могут устами повторять эти слова, но верить не могут, потому что слова эти, как то, что Бог живет на небе, что небо раскрылось и оттуда сказал голос что-то, что Христос воскрес и полетел куда-то на небо и опять придет откуда-то на облаках и т. п., – не имеют для нас смысла.

Можно было человеку, считавшему небо конечным, твердым сводом, верить или не верить, что Бог сотворил небо, что небо раскрылось, что Христос улетел на небо, но для нас все эти слова не имеют никакого значения. Люди нашего времени могут только верить, что в это надо верить, что они и делают; но верить не могут в то, что для них не имеет смысла.

Если же все эти выражения должны иметь иносказательный смысл и суть прообразы, то ведь мы знаем, что, во-первых, не все церковники согласны в этом, а, напротив, большинство настаивает на понимании священного писания в прямом смысле, а во-вторых, то, что толкования эти очень многообразны и ничем не подтверждаются.

Но, даже если человек и захочет заставить себя верить учению церквей, так, как оно преподается, – всеобщее распространение грамотности и Евангелий и общение между собою людей разных исповеданий составляют для этого другое еще более непреодолимое препятствие.

Ведь стоит только человеку нашего времени купить за 3 копейки Евангелие и прочесть ясные, не подлежащие перетолкованию слова Христа к самарянке о том, что отцу нужны поклонники не в Иерусалиме, не на той горе и не на этой, а поклонники в духе и истине, или слова о том, что молиться христианин должен не как язычник в храмах и на виду, а тайно, т. е. в своей клетке, или что ученик Христа

никого не должен называть отцом или учителем, стоит только прочесть эти слова, чтобы убедиться, что никакие духовные пастыри, называющиеся учителями в противоположность учению Христа и спорящие между собою, не составляют никакого авторитета и что то, чему нас учат церковники, не есть христианство. Но мало и этого: если бы человек нашего времени и продолжал верить в чудеса и не читал бы Евангелия, одно общение с людьми других исповеданий и вер, сделавшееся столь легким в наше время, заставит человека усомниться в истинности своей веры. Хорошо было человеку, не выдавшему людей другого исповедания, чем он сам, верить, что его исповедание – одно истинное; но стоит только думающему человеку столкнуться, как это теперь беспрестанно случается, с людьми одинаково добрыми и злыми разных исповеданий, осуждающих веры друг друга, чтобы усомниться в истинности исповедуемой им веры. В наше время только человек совершенно невежественный или совершенно равнодушный к вопросам жизни, освящаемым религией, может оставаться в церковной вере.

Какие же нужны церквям усилия, чтобы, несмотря на все эти разрушающие веру условия, продолжать строить церкви, служить обедни, проповедовать, учить, обращать и, главное, получать за это огромное содержание, как все эти священники, пастыри, интенданты, суперинтенданты, аббаты, архидиаконы, епископы и архиепископы.

Нужны особенные, сверхъестественные усилия. И такие усилия, все более и более напрягая их, и употребляют церкви. У нас в России (кроме всех других) употребляется простое, грубое насилие покорной церкви власти. Людей, отступающих от внешнего выражения веры и высказывающих это, или прямо наказывают, или лишают прав; людей же, строго держащихся внешних форм веры, награждают, дают права.

Так поступают православные; но и все церкви без исключения пользуются всеми для этого средствами, из которых главное – то, что теперь называется гипнотизацией.

Пускаются в дело все искусства от архитектуры до поэзии для воздействия на души людей и для одурения их, и воздействие это происходит непрерывающееся.

Особенно очевидна эта необходимость гипнотизирующего воздействия на людей для приведения их в состояние одурения на деятельности армии спасения, употребляющей новые, не привычные нам приемы труб, барабанов, песней, знамен, нарядов, шествий, плясок, слез и драматических приемов.

Но это нас поражает только потому, что это новые приемы; разве старые приемы храмов с особенным освещением, с золотом, блеском, свечами, хорами, органом, колоколами, ризами, плаксивыми проповедями и т. п. не то же самое?

Но, как ни сильно это действие гипнотизации, не в этом главная и самая зловердная деятельность церквей. Главная и наизловерднейшая деятельность церкви есть та, которая направлена на обман детей, тех самых детей, про которых Христос сказал, что горе тому, кто соблазнит единого из малых сих. С самого первого пробуждения сознания ребенка его начинают обманывать, с торжественностью внушать ему то, во что не верят сами внушающие, и внушать до тех пор, пока обман не срастется посредством привычки с природой ребенка. Ребенка старательно обманывают в самом важном деле в жизни, и когда обман так сросся с его жизнью, что уже трудно оторвать его, тогда перед ребенком открывают весь мир науки и действительности, который никаким образом не может совместиться с внушенными ему верованиями, предоставляя ему разбираться самому, как он умеет, в этих противоречиях.

Ведь если поставить себе задачей запутать человека так, чтобы он не мог с здоровым умом выбраться из внушенных ему с детства двух противоположных мирозерцаний, то нельзя ничего придумать сильнее того, что совершается над всяким молодым человеком, воспитываемым в нашем так называемом христианском обществе.

Ужасно то, что делают над людьми церкви, но если вдуматься в их положение, то тем людям, которые составляют учреждение церквей, иначе поступать нельзя. Перед церквами стоит дилемма: нагорная проповедь или Никейский символ – одно исключает другое: если человек искренно поверит в нагорную проповедь, Никейский символ неизбежно потеряет для него смысл и значение и вместе с ним церковь и ее представители; если же человек поверит в Никейский символ, т.е. в церковь, т. е. в

тех, которые называют себя представителями ее, то нагорная проповедь станет для него излишняя. И потому церквам нельзя не употреблять всех возможных усилий для затемнения смысла нагорной проповеди и для привлечения к себе людей. Только благодаря напряженной деятельности церквей в этом направлении держалось до сих пор влияние церквей. Останови церковь хоть на самый короткий срок это воздействие на массы гипнотизацией и обманом детей, и люди поймут учение Христа. А понимание учения уничтожает церкви и значение их. И потому церкви ни на мгновение не прекращают усиленной деятельности и гипнотизации взрослых и обмана детей. И вот эта-то деятельность церквей, внушающая людям ложное понимание учения Христа, и служит препятствием понимания его для большинства людей, так называемых верующих.

#### IV

Теперь скажу о другом мнимом понимании христианства, мешающем истинному пониманию его, – о понимании научном.

Церковные люди считают христианством то представление о нем, которое они себе составили, и это-то понимание христианства считают единым несомненно истинным.

Люди науки считают христианством только то, что исповедовали и исповедуют различные церкви, и, предполагая, что исповедания эти исчерпывают всё значение христианства, признают его отжившим свое время религиозным учением.

Для того, чтобы ясно было, как невозможно при таком взгляде понять христианское учение, необходимо составить себе понятие о том месте, которое в действительности занимали и занимают религии вообще и, в частности, христианская в жизни человечества, и о том значении, которое приписывается им наукой.

Как отдельный человек не может жить, не имея известного представления о смысле своей жизни, и всегда, хотя часто и бессознательно, соображает свои поступки с этим придаваемым им своей жизни смыслом, так точно и совокупности

людей, живущих в одинаковых условиях – народы, не могут не иметь представления о смысле их совокупной жизни и вытекающей из нее деятельности. И как отдельный человек, вступая в новый возраст, неизбежно изменяет свое понимание жизни, и взрослый человек видит смысл ее в ином, чем ребенок, так точно и совокупность людей, народа, неизбежно, соответственно возрасту своему, изменяет свое понимание жизни и вытекающую из этого понимания деятельность.

Различие в этом отношении отдельного человека от всего человечества состоит в том, что, тогда как отдельный человек в определении свойственного тому новому периоду жизни, в который он вступает, понимания жизни и вытекающей из него деятельности пользуется указаниями прежде живших его людей, переживших уже тот возраст, в который он вступает, человечество не может иметь этих указаний, потому что оно всё подвигается по не исследованному еще пути и не у кого спросить, как надо понимать жизнь и действовать в тех новых условиях, в которые оно вступает и в которых еще никто никогда не жил.

А между тем как человеку женатому и с детьми невозможно продолжать понимать жизнь так же, как он понимал ее, будучи ребенком, так и человечеству нельзя уже, при совершившихся разнообразных изменениях: и густоты населения, и установившегося общения между разными народами, и усовершенствования способов борьбы с природой, и накопления знаний, – продолжать понимать жизнь по-прежнему, а необходимо установить новое жизнепонимание, из которого и вытекла бы и деятельность, соответствующая тому новому состоянию, в которое оно вступило или вступает.

На это-то требование и отвечает особенная способность человечества выделять из себя людей, дающих новый смысл всей жизни человеческой, – смысл, из которого вытекает вся иная, чем прежняя, деятельность. Установление этого свойственного человечеству в тех новых условиях, в которые оно вступает, жизнепонимания и вытекающей из него деятельности и есть то, что называется религия.

И потому религия, во-первых, не есть, как это думает наука, явление, когда-то сопутствовавшее развитию человечества, но потом пережитое им, а есть всегда присущее жизни человечества явление, и в наше время столь же неизбежно



присущее человечеству, как и во всякое другое время. Во-вторых, религия всегда есть определение деятельности будущего, а не прошедшего, и потому очевидно, что исследование прошедших явлений ни в каком случае не может захватить сущности религии.

Сущность всякого религиозного учения – не в желании символического выражения сил природы, не в страхе перед ними, не в потребности к чудесному и не во внешних формах ее проявления, как это думают люди науки. Сущность религии в свойстве людей пророчески предвидеть и указывать тот путь жизни, по которому должно идти человечество, в ином, чем прежнее, определении смысла жизни, из которого вытекает и иная, чем прежняя, вся будущая деятельность человечества.

Свойство этого провидения того пути, по которому должно идти человечество, в большей или меньшей степени обще всем людям; но всегда во все времена были люди, в которых это свойство проявлялось с особенной силой, и люди эти ясно и точно выражали то, что смутно чувствовали все люди, и устанавливали новое понимание жизни, из которого вытекала иная, чем прежняя, деятельность, на многие сотни и тысячи лет.

Таких пониманий жизни мы знаем три: два уже пережитых человечеством, и третье, которое мы теперь переживаем в христианстве. Пониманий таких три, и только три, не потому, что мы произвольно соединили различные жизнепонимания в эти три, а потому, что поступки всех людей имеют всегда в основе одно из этих трех жизнепониманий, потому что иначе, как только этими тремя способами, мы не можем понимать жизнь.

Три жизнепонимания эти следующие: первое – личное, или животное, второе – общественное, или языческое, и третье – всемирное, или Божеское.

По первому жизнепониманию жизнь человека заключается в одной его личности; цель его жизни – в удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человека заключается не в одной его личности, а в совокупности и последовательности личностей; в племени, семье, роде, государстве; цель жизни заключается в удовлетворении воли этой совокупности личностей. По третьему жизнепониманию жизнь человека заключается и не в своей личности и не в

совокупности и последовательности личностей, а в начале и источнике жизни – в Боге.

Эти три жизнепонимания служат основой всех существовавших и существующих религий.

Дикарь признает жизнь только в себе, в своих личных желаниях. Благо его жизни сосредоточено в нем одном. Высшее благо для него есть наиполнейшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религия его состоит в умиловлении божества к своей личности и в поклонении воображаемым личностям богов, живущим только для личных целей.

Человек языческий, общественный признает жизнь уже не в одном себе, но в совокупности личностей – в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. Двигатель его жизни есть слава. Религия его состоит в возвеличении глав союзов: родоначальников, предков, государей и в поклонении богам – исключительным покровителям его семьи, его рода, народа, государства (\*).

(\* То, что на этом общественном или языческом жизнепонимании основываются столь разнообразные складки жизни, как жизнь племенная, семейная, родовая, государственная и даже теоретически представляемая позитивистами жизнь человечества, это не нарушает единства этого жизнепонимания. Все эти разнообразные формы жизни основаны на одном представлении о том, что жизнь личности не есть достаточная цель жизни, что смысл жизни может быть найден только в совокупности личностей. \*)

Человек божеского жизнепонимания признает жизнь уже не в своей личности и не в совокупности личностей (в семье, роде, народе, отечестве или государстве), а в источнике вечной, неумирающей жизни – в Боге; и для исполнения воли Бога жертвует и своим личным, и семейным, и общественным благом. Двигатель его жизни есть любовь. И религия его есть поклонение делом и истиной началу всего – Богу.

Вся жизнь историческая человечества есть не что иное, как постепенный переход от жизнепонимания личного, животного к жизнепониманию общественному и от жизнепонимания общественного к жизнепониманию божескому. Вся история древних народов, продолжавшаяся тысячелетия и заканчивающаяся историей Рима, есть история замены животного, личного жизнепонимания общественным и государственным. Вся история со времени императорского Рима и появления христианства есть, переживаемая нами и теперь, история замены государственного жизнепонимания божеским.

Вот это-то последнее жизнепонимание и основанное на нем христианское учение, руководящее всей нашей жизнью и лежащее в основе всей нашей деятельности, как практической, так и научной, люди мнимой науки, рассматривая его только по его внешним признакам, признают чем-то отжившим и не имеющим для нас значения.

Учение это, по мнению людей науки, заключающееся только в его догматической стороне – в учении о троице, искуплении, чудесах, церкви, таинствах и пр., – есть только одна из огромного количества религий, которые возникали в человечестве и теперь, сыграв свою роль в истории, отживает свое время, уничтожаясь перед светом науки и истинного просвещения.

Происходит то, что в большей части случаев служит источником самых грубых заблуждений людских: люди, стоящие на низшей степени понимания, встречаясь с явлениями высшего порядка, – вместо того чтобы сделать усилия, чтобы понять их, чтобы подняться на ту точку зрения, с которой должно смотреть на предмет, – обсуживают его с своей низшей точки зрения, и с тем большей смелостью и решительностью, чем меньше они понимают то, о чем говорят.

Для большинства научных людей, рассматривающих жизненное нравственное учение Христа с низшей точки зрения общественного жизнепонимания, учение это есть только весьма неопределенное, нескладное соединение индийского аскетизма, стоического и неоплатонического учения и утопических антисоциальных мечтаний, не имеющих никакого серьезного значения для нашего времени, и все значение его сосредоточивается для них в его внешних проявлениях: в католичестве, протестантстве, догматах, борьбе с светской властью. Определяя по этим явлениям

значение христианства, они подобны глухим, которые судили бы о значении и достоинстве музыки по виду движений музыкантов.

От этого происходит то, что все эти люди, начиная от Конта, Страуса, Спенсера и Ренана, не понимая смысла речей Христа, не понимая того, чему и зачем они сказаны, не понимая даже и вопроса, на который они служат ответом, не давая себе даже труда вникнуть в смысл их, прямо, если они враждебно настроены, отрицают разумность учения; если же они хотят быть снисходительны к нему, то с высоты своего величия поправляют его, предполагая, что Христос хотел сказать то самое, что они думают, но не сумел этого сделать. Они обращаются с его учением так, как большею частью, поправляя слова своего собеседника, говорят самоуверенные люди с тем, кого они считают много ниже себя: "Да, вы собственно хотите сказать то-то и то-то". Поправка эта делается всегда в том смысле, чтобы учение высшего, божеского жизнепонимания свести к низшему, общественному.

Обыкновенно говорят, что нравственное учение христианства хорошо, но преувеличено, – что для того, чтобы оно было вполне хорошо, надо откинуть от него излишнее, не подходящее к нашему строю жизни. "А то учение, требующее слишком многого, неисполнимого, хуже, чем то, которое требует от людей возможного, соответственно их силам", – думают и утверждают ученые толкователи христианства, повторяя при этом то, что давно уже утверждали и утверждают и не могли не утверждать о христианском учении те, которые, не поняв его, распяли за то учителя, – евреи.

Оказывается, что перед судом ученых нашего времени закон еврейский: зуб за зуб и око за око, – закон справедливого возмездия, известный человечеству 5000 лет тому назад, более целесообразен, чем закон любви, 1800 лет тому назад проповеданный Христом на место этого самого закона справедливости.

Оказывается, что всё то, что было сделано теми людьми, которые поняли учение Христа прямо и жили сообразно с таким пониманием, – всё то, что делали и говорили все истинные христиане, все христианские подвижники, всё то, что преобразовывает мир теперь под видом социализма и коммунизма, всё это преувеличения, о которых не стоит и говорить.

Люди, 18 веков воспитанные в христианстве, в лице своих передовых людей, ученых, убедились в том, что христианское учение есть учение о догматах; жизненное же учение есть недоразумение, есть преувеличение, нарушающее настоящие законные требования нравственности, соответствующие природе человека, и что то самое учение справедливости, которое отверг Христос, на месте которого он поставил свое учение, гораздо пригоднее нам.

Ученым людям заповедь непротивления злу насилием кажется преувеличением и даже неразумием. Если откинуть ее, то будет гораздо лучше, думают они, не замечая того, что они толкуют вовсе не об учении Христа, а о том, что им представляется таковым.

Они не замечают того, что сказать, что в учении Христа заповедь о непротивлении злу насилием есть преувеличение, всё равно что сказать, что в учении о круге положение о равенстве радиусов круга есть преувеличение. И те, которые говорят это, делают совершенно то же, что делал бы человек, не имеющий понятия о том, что есть круг, который бы утверждал, что требование того, чтобы все точки окружности были в равном расстоянии от центра, – есть преувеличение. Советовать откинуть или умерить положение о равенстве радиусов в круге – значит не понимать того, что есть круг. Советовать откинуть или умерить в жизненном учении Христа заповедь о непротивлении злу насилием – значит не понимать учения.

И те, которые делают это, действительно совершенно не понимают его. Они не понимают того, что учение это есть установление нового понимания жизни, соответствующего тому новому состоянию, в которое вот уже 1800 лет вступили люди, и определение той новой деятельности, которая из него вытекает. Они не верят тому, что Христос хотел сказать то, что сказал: или им кажется, что он по увлечению, по неразумию, по неразвитости своей говорил в нагорной проповеди и других местах.

(Мф. VI, 25-34)

25) Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? 26) Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницу; и отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 27) Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть. 28) И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут. 29) Но говорю вам, что Соломон, во всей славе своей, не одевался так, как всякая из них. 30) Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры! 31) Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть или что нам пить, или во что одеться. 32) Потому что всего этого ищут язычники, и потому что отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. 33) Ищите же прежде Царства Божия и правды его, и это всё приложится вам. 34) Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

(Лука. XII, 33, 34)

Продавайте имущества ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалища неветшающие, сокровище неоскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает; ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет.

Продай имущество твое и иди за мной, и кто не оставит отца или мать, и детей и братьев, и поля и дом, — тот не может быть моим учеником.

Отвергнись от себя, возьми крест свой на каждый день и иди за мной. Пища моя в том, чтобы творить волю пославшего меня и совершать дело его. Не моя воля да будет, но твоя; не то, что я хочу, но то, что ты хочешь, и не так, как я хочу, а как ты хочешь. Жизнь в том, чтобы творить не свою волю, но волю Бога.

Все эти пожелания кажутся людям, стоящим на низшем жизнепонимании, выражением какого-то восторженного увлечения, не имеющего никакого прямого приложения к жизни. А между тем эти положения так же строго вытекают из

жизнепонимания христианского, как положение об отдаче труда для общего дела, о жертве своей жизни для защиты отечества вытекает из жизнепонимания общественного.

Как человек общественного жизнепонимания говорит дикарю: опомнись, одумайся! Жизнь твоей личности не может быть истинной жизнью, потому что жизнь эта бедственна и преходяща. Только жизнь совокупности и последовательности личностей: племени, семьи, рода, государства, продолжается и живет, и потому человек должен жертвовать своей личностью для жизни семьи, государства. Точно то же говорит христианское учение человеку жизнепонимания совокупного, общественного. Покайтесь, т. е. одумайтесь, а то погибнете. Поймите, что эта плотская, личная жизнь, нынче возникшая и завтра уничтожающаяся, ничем не может быть обеспечена, что никакие внешние меры, никакое устройство ее не может придать ей твердости, разумности. Одумайтесь и поймите, что жизнь, которой вы живете, не есть настоящая жизнь; жизнь семьи, жизнь общества, жизнь государства не спасет от гибели. Жизнь истинная, разумная возможна для человека только в той мере, в которой он может быть участником не семьи или государства, но источника жизни, отца; в той мере, в которой он может слить свою жизнь с жизнью отца. Таково несомненно жизнепонимание христианское видное в каждом изречении Евангелия.

Можно не разделять этого жизнепонимания, можно отрицать его, можно доказывать неточность, неправильность его; но невозможно судить об учении, не усвоив того жизнепонимания, из которого оно вытекает, а тем более невозможно судить о предмете высшего порядка с низшей точки зрения: глядя на фундамент, судить о колокольне. А это самое делают люди научные нашего времени. Делают они это потому, что находятся в подобном же церковным людям заблуждении о том, что они обладают такими приемами изучения предмета, что если только употреблены эти приемы, называемые научными, то не может уже быть сомнения в истинности понимания обсуждаемого предмета.

Это-то обладание мнимым непогрешимым их орудием познания и служит главным препятствием понимания христианского учения для людей неверующих и

так называемых научных, мнением которых и руководится все огромное большинство неверующих, так называемых образованных людей. Из этого-то мнимого понимания вытекают все заблуждения научных людей о христианском учении и в особенности два странных недоразумения, более всего другого препятствующие правильному пониманию его.

Одно из этих недоразумений то, что христианское жизненное учение неисполнимо и потому или вовсе не обязательно, т.е. не должно быть принимаемо за руководство, или должно быть видоизменено, умерено до тех пределов, в которых исполнение его возможно в нашем обществе. Другое недоразумение то, что христианское учение любви к Богу и потому служение Ему есть требование неясное, мистическое, не имеющее определенного предмета любви, которое поэтому должно быть заменено более точным и понятным учением о любви к людям и служении человечеству.

Первое недоразумение о неисполнимости учения состоит в том, что люди общественного жизнепонимания, не понимая того способа, которым руководит людей христианское учение, и принимая христианское указание совершенства за правила, определяющие жизнь, думают и говорят, что следование учению Христа невозможно, потому что полное исполнение требований этого учения уничтожает жизнь. "Если бы человек исполнил то, что проповедуется Христом, то он уничтожил бы свою жизнь; и если бы все люди исполнили это, то прекратился бы и род человеческий", – говорят они.

"Не заботясь о завтрашнем дне, – о том, что есть и что пить, во что одеться; не защищая свою жизнь, не противясь злу насилием, отдавая свою жизнь за других своя и соблюдая полное целомудрие, человек и человеческий род не могут существовать", – думают и говорят они.

И они совершенно правы, если принимать указания совершенства, даваемые учением Христа, за правила, которые каждый обязан исполнять так же, как в общественном учении всякий обязан исполнять правило уплаты податей, участия в суде и т.п.



Недоразумение состоит именно в том, что учение Христа руководит людьми иным способом, чем руководят учения, основанные на низшем жизнепонимании. Учения общественного жизнепонимания руководят только требованием точного исполнения правил или законов. Учение Христа руководить людьми указанием им того бесконечного совершенства Отца небесного, к которому свойственно произвольно стремиться всякому человеку, на какой бы ступени несовершенства он ни находился.

Недоразумение людей, судящих о христианском учении с точки зрения общественного, состоит в том, что они, предполагая, что совершенство, указываемое Христом, может быть вполне достигнуто, спрашивают себя (так же, как они спрашивают себя, предполагая, что законы общественные будут исполнены), что будет, когда это все будет исполнено? Предположение это ложно, потому что совершенство, указываемое христианам, бесконечно и никогда не может быть достигнуто; и Христос дает свое учение, имея в виду то, что полное совершенство никогда не будет достигнуто, но что стремление к полному, бесконечному совершенству постоянно будет увеличивать благо людей и что благо это поэтому может быть увеличиваемо до бесконечности.

Христос учит не ангелов, но людей, живущих животной жизнью, движущихся ею. И вот к этой животной силе движения Христос как бы прикладывает новую, другую силу сознания божеского совершенства – направляет этим движение жизни по равнодействующей из двух сил.

Полагать, что жизнь человеческая пойдет по направлению, указанному Христом, все равно, что полагать, что лодочник, переплывая быструю реку и направляя свой ход почти прямо против течения, поплывет по этому направлению.

Христос признает существование обеих сторон параллелограмма, обеих, вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силу животной природы и силу сознания сыновности Богу. Не говоря о силе животной, которая, сама себя утверждая, остается всегда равна сама себе и находится вне власти человека, Христос говорит Только о силе божеской, призывая человека к наибольшему

сознанию ее, к наибольшему освобождению ее от того, что задерживает ее, и к доведению ее до высшей степени напряжения.

В этом освобождении – увеличении этой силы и состоит, по учению Христа, истинная жизнь человека. Истинная жизнь, по прежним условиям, состоит в исполнении правил закона; по учению Христа она состоит в наибольшем приближении к указанному и сознаваемому каждым человеком в себе божескому совершенству, в большем и большем приближении к слиянию своей воли с волей Божией, слиянию, к которому стремится человек и которое было бы уничтожением той жизни, которую мы знаем.

Божеское совершенство есть асимптота жизни человеческой, к которому она всегда стремится и приближается и которое может быть достигнуто ею только в бесконечности.

Учение христианское кажется исключаящим возможность жизни только тогда, когда люди указание идеала принимают за правило. Только тогда представляются уничтожающими жизнь те требования, которые предъявляются учением Христа. Требования эти, напротив, одни дают возможность истинной жизни. Без этих требований невозможна бы была истинная жизнь.

"Нельзя требовать слишком многого", говорят обыкновенно люди, обсуждая требования христианского учения; "нельзя требовать того, чтобы совсем не заботиться о будущем, как это сказано в Евангелии, но надо только не слишком много заботиться; нельзя отдавать бедным всего, но надо отдавать известную, определенную часть; не надо стремиться к девственности, но надо избегать разврата; не надо оставлять жену и детей, но надо не иметь к ним слишком большого пристрастия" и т.д.

Но говорить так все равно, что говорить человеку, переплывающему быструю реку и направляющему свой ход против течения, что нельзя переплыть реку, направляясь против течения, что для того, чтобы переплыть ее, надо плыть по тому направлению, по которому он хочет идти.

Учение Христа тем отличается от прежних учений, что оно руководит людьми не внешними правилами, а внутренним сознанием возможности достижения божеского

совершенства. И в душе человека находятся не умеренные правила справедливости и филантропии, а идеал полного, бесконечного божеского совершенства. Только стремление к этому совершенству отклоняет направление жизни человека от животного состояния к божескому настолько, насколько это возможно в этой жизни.

Для того, чтобы пристать к тому месту, к которому хочешь, надо всеми силами направлять ход гораздо выше.

Спустить требования идеала значит не только уменьшить возможность совершенства, но уничтожить самый идеал. Идеал, действующий на людей, есть не выдуманный кем-то идеал, но идеал, носимый в душе каждым человеком. Только этот идеал полного бесконечного совершенства действует на людей и подвигает их к деятельности. Умеренное совершенство теряет свою силу воздействия на души людей.

Учение Христа только тогда имеет силу, когда оно требует полного совершенства, т.е. слияния божеской сущности, находящейся в душе каждого человека, с волей Бога, – соединения сына с Отцом. Только это освобождение сына Божия, живущего в каждом человеке, из животного и приближение его к Отцу и составляет жизнь по учению Христа.

Существование в человеке животного, только животного, не есть жизнь человеческая. Жизнь по одной воле Бога тоже не есть жизнь человеческая. Жизнь человеческая есть составная из жизни животной и жизни божеской. И чем более приближается эта составная к жизни божеской, тем больше жизни.

Жизнь, по учению христианскому, есть движение к божескому совершенству. Ни одно состояние по этому учению не может быть выше или ниже другого. Всякое состояние, по этому учению, есть только известная, сама по себе безразличная ступень к недостижимому совершенству и потому само по себе не составляет ни большей, ни меньшей степени жизни. Увеличение жизни, по этому учению, есть только ускорение движения к совершенству. И потому движение к совершенству мытаря Закхея, блудницы, разбойника на кресте составляет высшую степень жизни, чем неподвижная праведность фарисея. И потому-то для этого учения не может быть правил, обязательных для исполнения. Человек, стоящий на низшей ступени,

подвигаясь к совершенству, живет нравственнее, лучше, более исполняет учение, чем человек, стоящий на гораздо более высокой ступени нравственности, но не подвигающийся к совершенству.

В этом-то смысле заблудшая овца дороже Отцу незаблудшихся. Блудный сын, потерянная и опять найденная монета дороже тех, которые не пропадали.

Исполнение учения – в движении от себя к Богу. Очевидно, что для такого исполнения учения не может быть определенных законов и правил. Всякая степень совершенства и всякая степень несовершенства равны перед этим учением; никакое исполнение законов не составляет исполнения учения; и потому для учения этого нет и не может быть обязательных правил и законов.

Из этого коренного отличия учения Христа от всех предшествующих учений, основанных на общественном жизнепонимании, происходит и различие заповедей общественных от заповедей христианских. Заповеди общественные большей частью положительные, предписывающие известные поступки, оправдывающие людей, дающие им праведность. Заповеди же христианские (заповедь любви не есть заповедь в тесном смысле слова, а выражение самой сущности учения), пять заповедей нагорной проповеди – все отрицательные и показывают только то, чего на известной степени развития человечества люди могут уже не делать. Заповеди эти суть как бы заметки на бесконечном пути совершенства, к которому идет человечество, той степени совершенства, которая возможна в известный период развития человечества.

В нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызывать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую заповедь.

Идеал – полное целомудрие даже в мыслях; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого

идеала, – чистота брачной жизни, воздержание от блуда. И это составляет вторую заповедь.

Идеал – не заботиться о будущем, жить настоящим часом; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться – не клясться, вперед не обещать ничего людям. И это – третья заповедь.

Идеал – никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, – не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубашу. И это – четвертая заповедь.

Идеал – любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, – не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать, – того, над чем мы должны работать теперь, – того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству.

За этими заповедями должны и будут следовать высшие и высшие по пути совершенства, указываемого учением.

И потому христианскому учению свойственно заявлять требования высшие, чем те, которые выражены в этих заповедях; но никак не умалять требования ни самого идеала, ни этих заповедей, как это делают люди, судящие об учении христианства с точки зрения общественного непонимания.

Таково одно недоразумение людей научных относительно значения и смысла учения Христа другое, вытекающее из этого же источника, состоит в замене христианского требования любви к Богу и служения Ему любовью и служением людям – человечеству.

Христианское учение любви к Богу и служения Ему и (только вследствие этой любви и служения) любви и служения ближнему кажется людям научным неясным, мистическим и произвольным, и они исключают совершенно требование любви и

служения Богу, полагая, что учение об этой любви к людям, к человечеству гораздо понятнее, тверже и более обосновано.

Научные люди теоретически учат тому, что жизнь осмысленная и добрая есть только жизнь служения всему человечеству; и в этом самом учении видят смысл христианского учения; к этому учению сводят христианское учение; для этого своего учения отыскивают подтверждение в христианском учении, предполагая, что их учение и христианское – одно и то же.

Мнение это совершенно ошибочно. Христианское учение и учение позитивистов, коммунистов и всех проповедников всемирного братства людей, основанное на выгоде этого братства, не имеют ничего общего между собой и отличаются друг от друга в особенности тем, что учение христианское имеет твердые, ясные основы в душе человеческой; учение же любви к человечеству есть только теоретический вывод по аналогии.

Учение о любви к одному человечеству имеет в основе своей общественное непонимание.

Сущность общественного непонимания состоит в перенесении смысла своей личной жизни в жизнь совокупности личностей: племени, семьи, рода, государства. Перенесение это совершалось и совершается легко и естественно в первых своих формах, в перенесении смысла жизни из своей личности в племя, семью. Перенесение же в род или народ уже труднее и требует особенного воспитания для этого; перенесение же сознания в государство уже составляет предел такого перенесения.

Любить себя естественно каждому, и каждый себя любит без поощрения к этому, любить свое племя, поддерживающее и защищающее меня, любить жену – радость и помощь жизни, своих детей – утеху и надежды жизни, и своих родителей, давших жизнь и воспитание, – естественно; и любовь эта, хотя далеко не столь сильная, как любовь к себе, встречается довольно часто.

Любить для себя, для своей гордости свой род, свой народ хотя уже не так естественно, все-таки встречается. Любовь своего одноплеменного, одноязычного, одноверного народа еще возможна, хотя чувство это далеко не такое сильное не

только как любовь к себе, но и к семье или роду; но любовь к государству, как Турция, Германия, Англия, Австрия, Россия, – уже почти невозможная вещь и, несмотря на усиленное воспитание в этом направлении, только предполагается и не существует в действительности. На этой совокупности уже кончается возможность для человека переносить свое сознание и испытывать в этой фикции какое-либо непосредственное чувство. Позитивисты же и все проповедники научного братства, не принимая во внимание ослабление чувства по мере расширения предмета, теоретически рассуждают далее в том же направлении. "Если, – говорят они, – личности было выгодно перенести свое сознание в племя, семью, а потом в народ, государство, то еще выгоднее будет перенести свое сознание в совокупность всего человечества и всем жить для человечества так же, как люди живут для семьи, для государства".

Оно теоретически действительно так выходит. Переноса сознание и любовь личности в семью, из семьи в род, народ, государство, было бы вполне логично и людям для избавления себя от борьбы и бедствий, которые происходят от разделения человечества на народы и государства, естественнее всего перенести свою любовь на человечество. Казалось бы, это логичнее всего, и теоретически проповедают это, не замечая того, что любовь есть чувство, которое можно иметь, но которое нельзя проповедовать, и что, кроме того, для любви должен быть предмет, а человечество не есть предмет, а только фикция.

Племя, семья, даже государство не выдуманы людьми, но образовались сами собой, как рой пчел, муравьев, и действительно существуют. Человек, любящий для своей животной личности семью, знает, кого он любит: Анну, Марию, Ивана, Петра и т.д. Человек, любящий род и гордящийся им, знает, что он любит всех гвельфов или всех гибеллинов любящий государство знает, что он любит Францию по берег Рейна и Пиренеи, и главный город ее Париж, и ее историю и т.д. Но что любит человек, любящий человечество? Есть государство, народ, есть отвлеченное понятие: человек; но человечества, как реального понятия нет и не может быть.

Человечество? Где предел человечества? Где оно кончается или начинается? Кончается ли человечество дикарем, идиотом, алкоголиком, сумасшедшим

включительно? Если мы проведем черту, отделяющую человечество, так что исключим низших представителей человеческого рода, то где мы проведем черту? Исключим ли мы негров, как их исключают американцы, и индейцев, как их исключают некоторые англичане, и евреев, как их исключают некоторые? Если же мы захватим всех людей без исключения, то почему же мы захватим одних только людей, а не высших животных, из которых многие выше низших представителей человеческого рода?

Человечество мы не знаем, как внешний предмет, не знаем пределов его. Человечество есть фикция, и его нельзя любить. Действительно, очень выгодно бы было, если бы люди могли любить человечество, как они любят семью; было бы очень выгодно, как про это толкуют коммунисты, заменить соревновательное направление деятельности людской общинным или индивидуальное — универсальным, чтобы каждый для всех и все для одного, да только нет для этого никаких мотивов.

Позитивисты, коммунисты и все проповедники научного братства проповедуют расширять ту любовь, которую люди имеют в себе, и к своим семьям, и к государству на все человечество, забывая то, что любовь, которую они проповедуют, есть любовь личная, которая могла, разжижаясь, распространиться до естественного отечества, которая совершенно исчезает, касаясь искусственного государства, как Австрия, Англия, Турция, и которой мы даже не можем себе представить, когда дело касается всего человечества, предмета вполне мистического.

"Человек любит себя (свою животную жизнь), любит семью, любит даже отечество. Отчего же бы ему не полюбить и человечество? Так бы это хорошо было. Кстати же это самое проповедует и христианство". Так думают проповедники позитивного, коммунистического, социалистического братства. Действительно, это бы было очень хорошо, Но никак этого не может быть, потому что любовь, основанная на личном и общественном непонимании, дальше любви к государству идти не может.

Ошибка рассуждения в том, что непонимание общественное, на котором основана любовь к семье и к отечеству, зиждется на любви к личности и что эта



любовь, переносясь от личности к семье, роду, народности, государству, все слабеет и слабеет и в государстве доходит до своего последнего предела, дальше которого она идти не может.

Необходимость расширения области любви несомненна; но вместе с тем эта самая необходимость расширения ее в действительности уничтожает возможность любви и доказывает недостаточность любви личной, человеческой.

И вот тут-то проповедники позитивистического, коммунистического, социального братства на помощь этой оказавшейся несостоятельной человеческой любви предлагают христианскую любовь, но только в ее последствиях, но не в ее основах: они предлагают любовь к одному человечеству без любви к Богу.

Но любви такой не может быть. Для нее нет никакого мотива. Христианская любовь вытекает только из христианского жизнепонимания, по которому смысл жизни состоит в любви и служении Богу.

Естественным ходом от любви к себе, потом к семье, к роду, к народу, государству, общественное жизнепонимание привело людей к сознанию необходимости любви к человечеству, не имеющему пределов и сливающемуся со всем существующим, – к чему-то не вызывающему в человеке никакого чувства, привело к противоречию, которое не может быть разрешено общественным жизнепониманием.

Только христианское учение во всем его значении, давая новый смысл жизни, разрешает его. Христианство признает любовь и к себе, и к семье, и к народу, и к человечеству, не только к человечеству, но ко всему живому, ко всему существующему, признает необходимость бесконечного расширения области любви; но предмет этой любви оно находит не вне себя, не в совокупности личностей: в семье, роде, государстве, человечестве, во всем внешнем мире, но в себе же, в своей личности, но личности божеской, сущность которой есть та самая любовь, к потребности расширения которой приведена была личность животная, спасаясь от сознания своей погибельности.

Различие христианского учения от прежних – то, что прежнее учение общественное говорило: живи противно твоей природе (подразумевая одну

животную природу), подчиняй ее внешнему закону семьи, общества, государства; христианство говорит: живи сообразно твоей природе (подразумевая божественную природу), не подчиняя ее ничему, – ни своей, ни чужой животной природе, и ты достигнешь того самого, к чему ты стремишься, подчиняя внешним законам свою внешнюю природу.

Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя животного, а себя – Бога, искры Божьей, себя – сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку. И сознание себя этим сыном Божиим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведен человек общественного жизнепонимания. Так, при все большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить.

Христианское учение есть указание человеку на то, что сущность его души есть любовь, что благо его получается не оттого, что он будет любить того-то и того-то, а оттого, что он будет любить начало всего – Бога, которого он сознает в себе любовью, и потому будет любить всех и все.

В этом состоит основное различие христианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского учения от учения позитивистов и всех теоретиков нехристианского всемирного братства.

Таковы два главных недоразумения относительно христианского учения, из которых вытекает большинство ложных суждений о нем. Одно – что учение Христа поучает людей, как прежние учения, правилам, которым люди обязаны следовать, и что правила эти неисполнимы; другое то, что все значение христианства состоит в учении о выгодном сожитии человечества, как одной семьи, для чего, не упоминая о любви к Богу, нужно только следовать правилу любви к человечеству.

Ложное мнение научных людей, что учение о сверхъестественном составляет сущность христианского учения и что жизненное учение его неприложимо, вместе с вытекающим из этого ложного мнения недоразумением и составляет другую причину непонимания христианства людьми нашего времени.

## V

Причин непонимания учения Христа много. Причина и в том, что люди полагают, что они поняли учение это, когда решили, как это делают церковники, что оно сверхъестественным способом передано им; или, как это делают люди научные, что они поняли его, когда изучили часть тех внешних явлений, которыми оно выразилось. Причина непонимания – и в недоразумениях о неисполнимости учения и о том, что оно должно быть заменено учением о любви к человечеству, но главная причина, породившая все эти недоразумения, – та, что учение Христа считается таким учением, которое можно принять или не принять, не изменяя своей жизни.

Люди, привыкшие к существующему порядку вещей, любящие его, боящиеся изменить его, стараются понять учение как собрание откровений и правил, которые можно принять, не изменяя своей жизни, тогда как учение Христа не есть только учение о правилах, которым должен следовать человек, но выяснение нового смысла жизни, определяющего всю, совсем иную, чем прежняя, деятельность человечества в тот период, в который она вступает.

Жизнь человеческая движется, проходит, как жизнь отдельного человека, возрасты, и каждый возраст имеет соответствующее ему жизнепонимание, и жизнепонимание это неизбежно усваивается людьми. Те люди, которые не усваивают соответствующего возрасту жизнепонимания сознательно, приводятся к этому бессознательно. То, что происходит с изменением взглядов на жизнь отдельных людей, то же происходит и с изменением взглядов на жизнь народов и всего человечества. Если человек семейный продолжает руководствоваться в своей деятельности ребяческим жизнепониманием, то жизнь его делается так трудна ему,

что он невольно будет искать иного жизнепонимания и охотно усвоит то, которое свойственно его возрасту.

То же происходит и теперь в нашем человечестве при переходе, переживаемом нами, от языческого жизнепонимания к христианскому. Общественный человек нашего времени приводится самою жизнью к необходимости отречься от языческого понимания жизни, несвойственного теперешнему возрасту человечества, и подчиниться требованиям христианского учения, истины которого, как бы они ни были извращены и перетолкованы, все-таки известны ему и одни представляют разрешение тех противоречий, в которых он путается.

Если человеку общественного жизнепонимания кажутся странными и даже опасными требования христианского учения, то точно столь же странными, непонятными и опасными представлялись в давнишние времена дикарю требования учения общественного, когда еще он не вполне понимал их и не мог предвидеть их последствий.

Неразумно жертвовать своим спокойствием или жизнью", говорит дикарь, "чтобы защищать что-то непонятное и неосязаемое, условное: семью, род, отечество, и главное – опасно отдавать себя в распоряжение чуждой власти". Но пришло время для дикаря, когда, с одной стороны, он хотя и смутно, но понял значение общественной жизни, значение главного двигателя ее, общественного одобрения или осуждения, – славы; с другой стороны, когда страдания его личной жизни стали так велики, что он не мог уже продолжать верить в истинность своего прежнего понимания жизни, и он принял учение общественное, государственное и подчинился ему.

Точно то же теперь совершается и с человеком общественным, государственным. "Неразумно", говорит человек общественный, "жертвовать благом своим, своей семьей, своего отечества для исполнения требований какого-то высшего закона, требующего от меня отречения от самых естественных и добрых чувств любви к себе, к своей семье, к родине, к отечеству и главное – опасно отвергать обеспечение жизни, даваемое государственным устройством".

Но приходит время, когда, с одной стороны, смутное сознание в душе своей высшего закона любви к Богу и ближнему, с другой – страдания, вытекающие из противоречий жизни, заставляют человека отречься от жизнепонимания общественного и усвоить новое, предлагаемое ему, разрешающее все противоречия и устраняющее страдания его жизни – жизнепонимание христианское. И время это пришло теперь.

Нам, пережившим тысячелетия назад уже переход от жизнепонимания животного, личного к жизнепониманию общественному, кажется, что тот переход был необходим и естественен, а этот – тот, который мы переживаем теперь, эти последние 1800 лет – и произволен, и неестественен, и страшен. Но это нам кажется только потому, что тот переход уже совершен и деятельность его уже перешла в бессознательную; теперешний переход еще не окончен, и мы сознательно должны совершить его.

Жизнепонимание общественное входило в сознание людей веками, тысячелетиями, проходило через разные нормы и теперь уже вошло для человечества в область бессознательного, передаваемого наследственностью, воспитанием и привычкой; и потому оно кажется нам естественным. Но 5000 лет тому назад оно казалось людям столь же неестественным и страшным, как им теперь кажется учение христианское в его настоящем смысле.

Нам кажется теперь, что требования христианского учения о всеобщем братстве, без различия народностей, об отсутствии собственности, о столь кажущемся странным непротивлении злу насилием суть требования невозможного. Но точно такими же казались тысячелетия тому назад в более древние времена требования не только государственные, но семейные, как, например: требование того, чтобы родители кормили детей, молодые – старых, чтобы супруги были верны друг другу. Еще более странными, даже безумными, казались требования государственные: чтобы граждане подчинялись поставленной власти, платили подати, шли на войну для защиты отечества и т.д. Нам теперь кажется, что все такие требования просты, понятны, естественны и не имеют в себе ничего мистического и даже странного; но

пять или три тысячи лет тому назад эти требования казались требованиями невозможного.

Жизнепонимание общественное потому и служило основанием религий, что в то время, когда оно предъявлялось людям, оно казалось им вполне непонятным, мистическим и сверхъестественным. Теперь, пережив уже этот фазис жизни человечества, нам понятны разумные причины соединения людей в семьи, общины, государства; но в древности требования такого соединения предъявлялись во имя сверхъестественного и подтверждались им.

Патриархальные религии обоготворяли семьи, роды, народы; государственные религии обоготворяли царей и государства. Даже и теперь большая часть малообразованных людей, как наши крестьяне, называющие царя земным Богом, подчиняются законам общественным не по разумному сознанию их необходимости, не потому, что они имеют понятие об идее государства, а по религиозному чувству.

Точно так же и теперь христианское учение представляется людям общественного или языческого мирозерцания в виде сверхъестественной религии, тогда как в действительности в нем нет ничего ни таинственного, ни мистического, ни сверхъестественного; а оно есть только учение о жизни, соответствующее той степени материального развития, тому возрасту, в котором находится человечество и которое поэтому неизбежно должно быть принято им.

Придет время и приходит уже, когда христианские основы жизни равенства, братства людей, общности имуществ, непротивления злу насилием – сделаются столь же естественными и простыми, какими теперь нам кажутся основы жизни семейной, общественной, государственной.

Ни человек, ни человечество не могут в своем движении возвращаться назад. Жизнепонимание общественное, семейное и государственное пережито людьми, и надо идти вперед и усвоить следующее высшее жизнепонимание, что и совершается теперь.

Движение это совершается с двух сторон: и сознательно – вследствие духовных причин и бессознательно – вследствие причин материальных.

Как очень редко отдельный человек изменяет свою жизнь только по указаниям разума, а большей частью, несмотря на новый смысл и новые цели, указываемые разумом, продолжает жить прежнею жизнью и изменяет ее только тогда, когда жизнь его становится совсем противоречащей его сознанию и вследствие того мучительной, точно так же человечество, узнав через своих религиозных руководителей новый смысл жизни, новые цели, к которым ему нужно стремиться, долго ещё и после этого познания продолжает в большинстве людей жить прежней жизнью и приводится к принятию нового жизнепонимания только сознанием невозможности продолжения прежней жизни.

Несмотря на требования изменения жизни, сознанные, высказанные религиозными руководителями и принятые разумнейшими людьми, большинство людей, несмотря на религиозное отношение к этим руководителям, т.е. веру в их учение, продолжает в усложнившейся жизни руководствоваться прежним учением, подобно тому как поступал бы семейный человек, если бы, зная о том, как следует жить в его возрасте, по привычке и по легкомыслию продолжал бы жить ребяческою жизнью.

Это-то и происходит в деле перехода человечества от одного возраста к другому, которое мы переживаем теперь. Человечество выросло из своего общественного, государственного возраста и вступило в новый. Оно знает то учение, которое должно быть положено в основу жизни этого нового возраста, но по инерции продолжает держаться прежних форм жизни. Из этого несоответствия жизнепонимания с практикой жизни вытекает ряд противоречий и страданий, отравляющих нашу жизнь и требующих ее изменения.

Ведь стоит только сличить практику жизни с ее теорией, чтобы ужаснуться перед тем вопиющим противоречием условий жизни и нашего сознания, в котором мы живем.

Вся жизнь наша есть сплошное противоречие всему тому, что мы знаем и что считаем нужным и должным. Противоречие это – во всем: и в экономической, и государственной, и международной жизни. Мы, как будто забыв то, что знаем, и на время отложив то, во что мы верим (не можем не верить, потому что это наши

единственные основы жизни), делаем все наизусть тому, чего требуют от нас наша совесть и наш здравый смысл.

Мы руководимся в экономических, государственных и международных отношениях теми основами, которые были годны людям три и пять тысяч лет тому назад и которые прямо противоречат и теперешнему нашему сознанию, и тем условиям жизни, в которых мы находимся теперь.

Хорошо было человеку древности жить среди деления людей на рабов и господ, когда он верил, что деление это от Бога и что не может быть иначе. Но разве возможно подобное деление в наше время?

Человек древнего мира мог считать себя вправе пользоваться благами мира сего в ущерб другим людям, заставляя их страдать поколениями, потому что он верил, что люди рождаются разной породы, черной и белой кости, Яфетова и Хамова отродья. Величайшие мудрецы мира, учителя человечества Платон, Аристотель не только оправдывали существование рабов и доказывали законность этого, но даже три века тому назад люди, писавшие о воображаемом обществе будущего, утопии, не могли представить себе его без рабов.

Люди древности и даже средних веков верили, точно верили, что люди не равны, что настоящие люди только персы, только греки, только римляне, только французы; но ведь нам нельзя уже верить в это. И те люди, которые в наше время распинаются за аристократизм и за патриотизм, не верят, не могут верить в то, что они говорят.

Мы все знаем и не можем не знать, если бы даже мы никогда и не слышали и не читали ясно выраженной этой мысли и никогда сами не выражали ее, мы, всосав это носящееся в христианском воздухе сознание, – все, всем сердцем знаем и не можем не знать ту основную истину христианского учения, ту, что мы все сыны одного отца, все, где бы мы ни жили и на каком бы языке ни говорили, – все братья и подлежим только одному закону любви, общим отцом нашим вложенному в наши сердца.

Каков бы ни был образ мыслей и степень образования человека нашего времени, будь он образованный либерал какого бы то ни было оттенка, будь он философ какого бы то ни было толка, будь он научный человек, экономист какой бы то ни



было школы, будь он необразованный, даже религиозный человек какого бы то ни было исповедания, – всякий человек нашего времени знает, что люди все имеют одинаковые права на жизнь и блага мира, что одни люди не лучше и не хуже других, что все люди равны. Всякий знает это несомненно твердо всем существом своим и вместе с тем не только видит вокруг себя деление всех людей на две касты: одну трудящуюся, угнетенную, нуждающуюся и страдающую, а другую – праздную, угнетающую и роскошествующую и веселящуюся, – не только видит, но волея-неволей с той или другой стороны принимает участие в этом отвергаемом его сознанием разделении людей и не может не страдать от сознания такого противоречия и участия в нем.

Будет ли он господином или рабом, человек нашего времени не может не испытывать постоянного мучительного противоречия сознания с действительностью и вытекающих из него страданий.

Рабочая масса, большое большинство людей, страдая от постоянного, поглощающего всю их жизнь, бессмысленного, беспросветного труда и лишений, страдает больше всего от сознания вопиющего противоречия того, что есть, с тем, что должно бы быть по всему тому, что исповедуется ими самими и теми, которые поставили их в это положение и удерживают в нем.

Они знают, что они в рабстве и гибнут в нужде и мраке для того, чтобы служить похотям меньшинства, держащего их в рабстве. Они знают и высказывают это. И это сознание не только увеличивает, но составляет сущность их страдания.

Древний раб знал, что он раб от природы, а наш рабочий, чувствуя себя рабом, знает, что ему не надо быть рабом, и потому испытывает мучения Танталя, вечно желая и не получая того, что не только могло, но должно бы быть. Страдания для рабочих классов, происходящие от противоречия между тем, что есть и что должно быть, удесятятся вытекающими из этого сознания завистью и ненавистью.

Рабочий нашего времени, если бы даже работа его и была много легче работы древнего раба, если бы он даже добился восьмичасового дня и платы трех долларов за день, не перестанет страдать, потому что, работая вещи, которыми он не будет пользоваться, работая не для себя по своей охоте, а по нужде, для прихоти вообще

роскошествующих и праздных людей и, в частности, для наживы одного богача, владельца фабрики или завода, он знает, что всё это происходит в мире, в котором признается не только научное положение о том, что только работа есть богатство, что пользование чужими трудами есть несправедливость, незаконность, казняемая законами, но в мире, в котором исповедуется учение Христа, по которому мы все братья и достоинство и заслуга человека только в служении ближнему, а не в пользовании им.

Он знает всё это и не может не страдать мучительно от этого вопиющего противоречия всего того, что должно бы быть, и того, что есть. "По всем данным и по всему, что я знаю, что исповедуют все, – говорит себе рабочий человек, – я бы должен быть свободен, равен всем другим людям, любим, а я – раб, я унижен и ненавидим". И он сам ненавидит и ищет средств спастись от своего положения, свергнуть с себя навалившегося на него врага и самому сесть на него. Говорят: "Рабочие неправы тем, что они хотят сесть на место капиталистов, бедные на место богатых". Это неправда: рабочие и бедные были бы неправы, если бы они этого хотели в том мире, в котором признаются от Бога установленные рабы и господа, богатые и бедные; но они хотят этого в том мире, в котором исповедуется учение евангельское, первое положение которого есть сыновность людей Богу и потому братство и равенство всех людей. И как ни стараются люди, нельзя скрыть того, что одно из первых условий христианской жизни есть любовь не на словах, а на деле.

Еще в большом противоречии и страдании живет человек так называемого образованного класса. Всякий такой человек если верит во что-нибудь, то верит если и не в братство людей, то в гуманность, если не в гуманность, то в справедливость, если не в справедливость, то в науку, и вместе с тем знает, что вся его жизнь построена на условиях, прямо противоположных всему этому, всем положениям и христианства, и гуманности, и справедливости, и науки.

Он знает, что все привычки, в которых он воспитан, лишение которых было бы для него мучением, все они могут удовлетворяться только мучительным, часто губительным трудом угнетенных рабочих, т. е. самым очевидным, грубым нарушением тех принципов христианства, гуманности, справедливости, даже

научности (я разумею требования политической экономии), которые он исповедует. Он исповедует принципы братства, гуманности, справедливости, научности и не только живет так, что ему необходимо то угнетение рабочих, которое он отрицает, но так, что вся жизнь его есть пользование этим угнетением, и не только живет так, но и направляет свою деятельность на поддержание этого порядка вещей, прямо противоположного всему тому, во что он верит.

Мы все братья, а между тем каждое утро брат или сестра выносит мой горшок. Мы все братья, а мне утром необходима сигара, сахар, зеркало и т. п. предметы, на работе которых теряли и теряют здоровье мои, равные мне, братья и сестры, а я пользуюсь этими предметами и даже требую их. Мы все братья, а я живу тем, что работаю в банке или в торговом доме и лавке над тем, чтобы сделать все нужные моим братьям товары дороже. Мы все братья, а я живу тем, что получаю жалованье за то, чтобы уличать, судить и казнить вора или проститутку, существование которых обусловлено всем складом моей жизни и которых я сам знаю, что надо не казнить, а исправлять. Мы все братья, но я живу тем, что получаю жалованье за собирание податей с бедных рабочих для употребления их на роскошь праздных и богатых. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, чтобы проповедовать людям мнимохристианскую веру, в которую я сам не верю, лишаящую их возможности узнать истинную. Я получаю жалованье как священник, епископ за то, что обманываю людей в самом важном для них деле. Мы все братья, но я отдаю бедным свои педагогические, врачебные, литературные труды только за деньги. Мы все братья, а я получаю жалованье за то, что готовлюсь к убийству, учусь убивать или делаю оружие, порох, крепости.

Вся жизнь наших высших классов есть сплошное противоречие, тем более мучительное, чем чутче нравственное сознание человека.

Человек с чуткой совестью не может не страдать, если он живет этой жизнью. Одно средство для него избавиться от этого страдания – в том, чтобы заглушить свою совесть, но, если и удастся таким людям заглушить совесть, они не могут заглушить страх.

Нечуткие и заглушившие совесть люди высших угнетающих классов если не страдают совестью, страдают страхом и ненавистью. И им нельзя не страдать. Они знают про ту ненависть против них, которая живет и не может не жить в рабочих классах, знают, что рабочие знают, что они обмануты и изнасилованы, и начинают организовываться, чтобы скинуть с себя угнетение и отплатить угнетателям. Высшие классы видят союзы, стачки, 1-е мая и чувствуют ту беду, которая угрожает им, и страх этот отравляет им жизнь. Они чувствуют ту беду, которая угрожает им, и страх, который они испытывают, переходит в чувство самозащиты и в ненависть. Они знают, что если на минуту ослабнут в борьбе с угнетаемыми ими рабами, то сами погибнут, потому что рабы озлоблены и озлобление это растет с каждым днем угнетения. Угнетающие, если бы они и желали этого, не могут перестать угнетать. Они знают, что сами погибнут, как скоро не только перестанут, но ослабнут в угнетении. Они и делают это, несмотря на мнимые заботы о благоденствии рабочего, о 8-часовом дне, о запрещении работ малолетним и женщинам, о пенсиях и вознаграждениях. Всё это обман или забота о том, чтобы раб был в силах работать; но раб остается рабом, и господин, не могущий жить без раба, меньше чем когда-нибудь готов освободить его.

Правящие классы по отношению рабочих находятся в положении подмявшего под себя противника и держащего, не выпуская его, не столько потому, что он не хочет выпустить его, сколько потому, что он знает, что стоит ему выпустить на мгновение подмятого, чтобы самому быть сейчас же зарезанным, потому что подмятый озлоблен и в руке его нож. И потому, будут ли они чутки или не чутки, наши богатые классы не могут наслаждаться теми благами, которые они похитили у бедных, как это делали древние, веровавшие в свое право. Вся жизнь и все наслаждения их отравлены укорами совести или страхом.

Таково противоречие экономическое. Еще поразительнее противоречие государственное.

Все люди прежде всего воспитываются в привычках повиновения государственным законам. Вся жизнь людей нашего времени определена государственным законом. Человек женится и разводится, воспитывает детей, даже

исповедует веру (во многих государствах) сообразно закону. Что же такое этот закон, определяющий всю жизнь людей? Верят ли люди в этот закон? Считают ли его истинным? Нисколько. В большинстве случаев люди нашего времени не верят в справедливость этого закона, презируют его, а все-таки повинуются ему. Хорошо было людям древности исполнять свои законы. Они верили, точно верили в то, что закон их (он же большею частью был религиозный) был единственный истинный закон, которому должны подчиняться все люди. Но мы? Ведь мы знаем и не можем не знать, что закон нашего государства не только не есть один вечный закон, но что это только один из многих законов разных государств, одинаково несовершенных, а часто и явно ложных и несправедливых, со всех сторон обсуждавшихся в газетах. Хорошо было еврею подчиняться своим законам, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже когда верили, что цари, дающие законы, – помазанники Божий; или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но ведь мы знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения корысти, обмана, борьбы партий, – что в них нет и не может быть истинной справедливости. И потому люди нашего времени не могут верить тому, чтобы повиновение законам гражданским или государственным удовлетворяло бы требованиям разумности человеческой природы. Люди давно уже знают, что неразумно повиноваться такому закону, в истинности которого может быть сомнение, и потому не могут не страдать, повинаясь закону, разумность и обязательность которого не признают.

Не может человек не страдать, когда вся его жизнь вперед определена законами, которым он должен повиноваться под угрозой наказания и – разумности, справедливости которых он не только не верит, но несправедливость, жестокость, неестественность которых он часто ясно сознает. Мы признаем ненужность таможен и заграничных пошлин и должны платить их; признаем бесполезными расходы на содержание двора и многих чинов управления; признаем вредной проповедь церковную и должны участвовать в поддержании этих учреждений; мы признаем жестокими и бессовестными наказания, накладываемые судами, и должны

участвовать в них; признаем неправильным и вредным распределение земельной собственности и должны подчиняться ему; не признаем необходимости войск войн и должны нести страшные тяжести для содержания войск и ведения войн и т. д.

Но и это противоречие ничто в сравнении с противоречием, которое в международных сношениях восстало теперь перед людьми под угрозой гибели и человеческого разума и человеческой жизни требует разрешения. Это противоречие христианского сознания и войны.

Мы, все христианские народы, живущие одной духовной жизнью, так что всякая добрая, плодотворная мысль, возникающая на одном конце мира, тотчас же сообщаясь всему христианскому человечеству, вызывает одинаковые чувства радости и гордости независимо от национальности; мы, любящие не только мыслителей, благодетелей, поэтов, ученых чужих народов; мы, гордящиеся подвигом Дамиана, как своим собственным; мы, просто любящие людей чужих национальностей: французов, немцев, американцев, англичан; мы, не только уважающие их качества, но радующиеся, когда встречаемся с ними, радостно улыбающиеся им, не могущие не только считать подвигом войну с этими людьми, но не могущие без ужаса подумать о том, чтобы между этими людьми и нами могло возникнуть такое разногласие, которое должно бы было быть разрешено взаимным убийством, – мы все призваны к участию в убийстве, которое неизбежно, не нынче, так завтра должно совершиться.

Ведь, хорошо было еврею, греку, римлянину не только отстаивать независимость своего народа убийством, но и убийством же подчинять себе другие народы, когда он твердо верил тому, что его народ один настоящий, хороший, добрый, любимый Богом народ, а все остальные – филистимляне, варвары. Могли верить в это еще и люди средневековые, могли верить недавно еще в конце прошлого и в самом начале нынешнего столетия. Но мы, сколько бы ни раздраживали нас, мы уже не можем верить в это, и противоречие это для людей нашего времени так ужасно, что жить, не разрешив его, стало невозможно.

"Мы живем во время, полное противоречий, – пишет в своем ученом трактате профессор международного права граф Комаровский. – В печати всех стран

постоянно выдвигается всеобщее стремление к миру, к необходимости его для всех народов. В том же смысле говорят представители правительств и частные люди, и как официальные органы, в парламентских речах, в дипломатических переговорах и даже во взаимных договорах. В то же время, однако, возвышают правительства ежегодно военную силу страны, накладывают новые подати, делают займы и оставляют будущим поколениям как завещание обязанность нести ошибки теперешней неразумной политики. Какое кричащее противоречие между словами и делом!"

"Конечно, правительства указывают для оправдания этих мер на исключительно оборонительный характер всех этих расходов и вооружений, но все-таки остается непонятным для всякого незаинтересованного человека, откуда можно ожидать нападения, когда все великие державы единодушно в своей политике преследуют единственную цель обороны. В действительности же это имеет вид такой, как будто каждая из держав ждет ежеминутно нападения на себя других, и последствия этого следующие: всеобщее недоверие и сверхъестественное напряжение правительств превзойти силу других держав. Подобное соревнование увеличивает само по себе опасность войны: народы не могут переносить долго увеличенное вооружение и рано или поздно предпочтут войну всем невыгодам настоящего положения и постоянной угрозы. Так что ничтожнейший повод будет достаточен для того, чтобы во всей Европе загорелся огонь всеобщей войны. Несправедливо думать, что такой кризис может излечить нас от давящих политических и экономических бедствий. Опыт войн, веденных в последние годы, учит нас, что каждая война только обострила враждебность народов, увеличила тяжесть и невыносимость давления милитаризма и сделала политико-экономическое положение Европы только еще печальнее и запутаннее".

"Современная Европа держит под ружьем активную армию в 9 миллионов людей, – пишет Энрико Ферри, – да еще 15 миллионов армии запасной, расходуя на это 4 миллиарда франков в год. Вооружаясь всё более и более, она парализует источники социального и индивидуального благосостояния и легко может быть уподоблена человеку, который для того, чтобы запастись оружием, приговаривает себя к анемии,

утрачивая вместе с тем и самые силы свои для пользования тем оружием, которое он запасает и под бременем которого он, наконец, падает".

То же говорит Чарльс Бут в речи своей, читанной в Лондоне в ассоциации для реформы и кодификации закона народов 26 июля 1887 года. Указав те же цифры 9 миллионов с чем-то действительной армии и 17 миллионов запасной и огромные расходы правительств на содержание этих армий и вооружений, он говорит: "Цифры эти представляют только малую часть действительной стоимости, потому что, кроме этих известных расходов военного бюджета народов, мы должны принять в соображение еще громадные потери общества вследствие извлечения из него такого огромного количества самых сильных людей, потерянных для промышленности и всякого труда, и еще те огромные проценты сумм, затраченных на военные приготовления и ничего не приносящих. Неизбежным последствием этих расходов на войну и приготовлений к войне есть постоянно увеличивающиеся государственные долги. Большая часть государственных долгов Европы была сделана для войны. Общая сумма их 4 миллиарда фунтов, или 40 миллиардов рублей, и долги эти с каждым годом растут".

Тот же Комаровский говорит в другом месте: "Мы живем в тяжелом времени. Везде слышатся жалобы на застой торговли и промышленности и вообще на плохое экономическое положение; указывают на тяжелые условия жизни рабочих классов и на всеобщее обеднение масс. Но, несмотря на это, правительства доходят в своем стремлении к поддержанию своей независимости до крайних пределов неразумного. Везде выдумываются новые подати и налоги, и финансовое угнетение народов не знает пределов. Если мы взглянем на бюджеты европейских государств за последние сто лет, то нас прежде всего поразит постоянно прогрессивный и быстрый рост их. Чем можем мы объяснить это необыкновенное явление, рано или поздно угрожающее всем нам неизбежным банкротством?"

"Происходит это неоспоримо от расходов, вызываемых содержанием войска и поглощающих треть и даже половину бюджетов всех европейских государств. Самое печальное при этом то, что этому возрастанию бюджетов и обеднению масс не предвидится конца. Что такое социализм, как не протест против этого крайне



ненормального положения, в котором находится большая часть населения нашей части света".

"Мы разоряемся, – говорит Frederic Passy в записке, читанной на последнем конгрессе (1890 г.) всеобщего мира в Лондоне, – мы разоряемся для того, чтобы иметь возможность принимать участие в безумных бойнях будущего, или для того, чтобы платить проценты долгов, оставленных нам безумными и преступными бойнями прошедшего. Мы умираем с голода для того, чтобы иметь возможность убивать".

Далее, говоря о том, как смотрит на этот предмет Франция, он говорит: "Мы верим в то, что 100 лет после обнародования прав человека и гражданина пришло время признать права народов и отречься раз навсегда от всех этих предприятий обмана и насилия, которые под названием завоеваний суть истинные преступления против человечества и которые, что бы ни думали о них честолюбие монархов и гордость народов, ослабляют и тех, которые торжествуют".

"Удивляюсь на религиозное воспитание в нашей стране, – говорит Sir Wilfrid Lawson на том же конгрессе. – Мальчик ходит в воскресную школу, и его учат: милый мальчик, ты должен любить врагов. Если товарищ ударит тебя, ты не должен отплачивать ему, а стараться любовью исправить его. Хорошо. Мальчик ходит в воскресную школу до 14-15 лет, а потом друзья его определяют его в военную службу. Что он будет делать в военной службе? Ведь не любить врага, а напротив, если он только доберется до него, – проткнуть его штыком. Таково всё религиозное обучение в этой стране. Я не думаю, чтобы это был лучший способ исполнения предписаний религии. Я думаю, что если мальчику хорошо любить врага, то также это хорошо и взрослому человеку".

Далее: "В Египте 28 000 000 вооруженных людей для разрешения споров, вместо обсуждения, убиванием друг друга. Таков принятый христианскими народами способ разрешения споров. Способ этот вместе с тем очень дорогой, потому что по расчету, который я читал, народы Европы с 1872 года издержали невероятную сумму, 15 миллиардов рублей, на приготовление и разрешение споров посредством убивания друг друга. Мне поэтому кажется, что при таком порядке вещей одно из

двух положений должно быть принято: либо то, что христианство не удалось (is a failure), либо то, что те, которые взялись толковать его, неудачно толковали его".

"До тех пор, пока наши броненосцы не будут разоружены и армия наша распущена, мы не имеем права называться христианской нацией", – говорит Mr. I. Sower Wilson.

В беседе, возникшей "по случаю вопроса об обязательности проповеди против войны христианских пастырей, Mr. G. D. Bartlett сказал, между прочим: "Если я хоть сколько-нибудь понимаю писание, – сказал он, – я утверждаю, что люди только играют с христианством, если они игнорируют, т. е. умалчивают о вопросе войны. А между тем я прожил длинную жизнь и едва ли полдюжину раз слышал от наших пастырей проповедь всеобщего мира. 20 лет тому назад я в гостинной перед 40 человеками сказал, что война несовместима с христианством; на меня посмотрели, как на шального фанатика. Мысль о том, что можно жить без войны, была принята как непростительная слабость и безумие".

В том же духе высказался католический священник аббат Дефурни. "Одно из первых предписаний вечного закона, написанного в совести всех людей, – говорит аббат Дефурни, – есть запрещение отнятия жизни своего ближнего, пролития крови (без достаточной причины, не будучи принужденным к тому необходимостью); это одно из тех предписаний, которое глубже всех других врезано в сердце человеческом... Но как скоро дело касается войны, т. е. пролития крови человеческой потоками, так люди нынешнего времени уже не заботятся о достаточной причине. Те, которые принимают участие в войнах, и не думают уже спрашивать себя, имеют ли какое-либо оправдание эти бесчисленные смертоубийства; справедливы ли они, или нет, – законны или незаконны, невинны или преступны, нарушают ли они, или нет главный закон, запрещающий убивать (без законной причины). Но совесть их молчит... Война перестала быть делом, зависящим от нравственности. Для военных нет другой радости в трудах и опасностях, которые они несут, как та, чтобы быть победителями, другого горя, как то, чтобы быть побежденными. Не говорите мне о том, что они служат отечеству. Уже давно великий гений ответил вам словами, вошедшими в пословицу: "Откиньте справедливость, и что такое государство, как не

большое сбирище разбойников? И сбирище разбойников разве не маленькое государство? И шайки разбойников имеют свои законы. И там сражаются для приобретения добычи и даже для чести..."

Цель этого учреждения (речь идет об учреждении международного трибунала) та, чтобы европейские народы перестали быть народами воров и армии – шайками разбойников, и должен прибавить – разбойников и воров. Да, армии наши – толпы рабов, принадлежащих одному или двум правителям или министрам, которые тиранически, без всякой ответственности, как мы это знаем, распоряжаются ими...

"Особенность раба в том, что он в руках своего хозяина есть вещь, орудие, а не человек. Таковы солдаты, офицеры, генералы, идущие на убиение и на убийство по произволу правителя или правителей. Рабство военное существует, и это худшее из рабств, особенно теперь, когда оно посредством обязательной службы надевает цепи на шеи всех свободных и сильных людей нации, чтобы сделать из них орудия убийства, палачей, мясников человеческого мяса, потому что только для этого их набирают и вышколивают..."

"Правители, в числе двух, трех, сойдясь в кабинетах, тайно сговариваются без протоколов, без гласности, и потому без ответственности, и посылают людей на бойню".

"Протесты против тяжелых для народа вооружений начались не с нашего времени, – говорит сеньор Е. Г. Монэта. – Послушайте то, что писал Монтескье в свое время: "Франция (теперь можно подставить: Европа) погибнет от военных. В Европе распространилась новая болезнь. Она постигла царей и принуждает их содержать невозможное количество войск. Болезнь эта сыпная и потому заразительная, потому что как скоро одно государство увеличивает свои войска, тотчас же все другие делают то же. Так что от этого ничего не

получается, кроме общей гибели.

"Каждое правительство содержит столько войска, сколько оно могло бы содержать, если бы его народу угрожало истребление, и люди называют миром состояние напряжения всех противу всех. И потому Европа так разорена, что если бы частные люди были в том положении, в котором находятся правительства этой части

света, то самым богатым из них было бы нечем жить. Мы бедны, имея богатства и торговлю всего мира".

"Это писано было почти 150 лет тому назад. Картина, кажется, написана с настоящего. Изменилось одно – образ правления. Во время Монтескье говорили, что причина содержания больших войск была в неограниченной власти королей, которые воевали в надежде увеличить победами свою частную собственность и прославиться".

"Тогда говорили: "Ах, если бы народы могли избирать тех, которые имели бы право отказывать правительствам в солдатах и деньгах, пришел бы конец и военной политике". Теперь почти во всей Европе представительные правления, и, несмотря на то, военные расходы и приготовления к войне увеличились в страшной пропорции".

"Видно, безумие властителей перешло в руководящие классы. Теперь уже не воюют из-за того, что один король не исполнил учтивости относительно любовницы другого, как это было при Людовике XIV; но, преувеличивая почтенные и естественные чувства национального достоинства и патриотизма и возбуждая общественное мнение одного народа против другого, доходят, наконец, до того, что становится достаточным того, чтобы было сказано, – хотя бы известие и было неверно, – что посланник вашего государства не был принят главой другого государства, для того чтобы разразилась самая ужасная и гибельная война из всех тех, которые когда-либо были. Европа содержит теперь под ружьем больше солдат, чем во время великих наполеоновских войн. Все граждане, за малыми исключениями, принуждены на нашем континенте провести несколько лет в казармах. Строятся крепости, арсеналы и корабли, производят беспрестанно оружия, которые в самое короткое время заменяются другими, потому что наука, которая должна бы была быть направлена всегда на благо человечества, содействует, к сожалению, делу разрушения, придумывает новые и новые средства убивать большие количества людей в наиболее короткое время.

"И для того, чтобы содержать столько солдат и делать такие огромные приготовления к убийству, расходуются ежегодно сотни миллионов, т. е. такие

суммы, которые были бы достаточны для воспитания народа и совершения самых огромных работ для общественной пользы и которые дали бы возможность миролюбиво разрешить социальный вопрос".

"Европа находится поэтому в этом отношении, несмотря на все наши научные победы, в таком же положении, в котором она находилась в самые худшие времена зверских Средних веков. Все жалуются на это положение, которое не есть война, но и не есть мир, и все желали бы выйти из него. Главы правительств утверждают, что они все хотят мира, и между ними происходит соревнование о том, кто из них сделает самые торжественные миролюбивые заявления. Но в тот же день, или на другой, они представляют в законодательном собрании предложение об увеличении вооружений и говорят, что принимают такие предосторожности именно для того, чтобы обеспечить мир".

"Но это не тот мир, который мы любим. И народы не обмануты этим. Истинный мир имеет в основе взаимное доверие, тогда как эти огромные вооружения показывают явное и крайнее недоверие, если не скрытую враждебность между государствами. Что бы мы сказали о человеке, который, желая заявить свои дружественные чувства соседу, пригласил бы его разбирать подлежащие вопросы с заряженным револьвером в руке?"

"Вот это-то вопиющее противоречие между миролюбивыми заявлениями и военной политикой правительств есть то, что, во что бы то ни стало, желают прекратить все добрые граждане".

Удивляются на то, что в Европе совершается ежегодно 60 000 самоубийств, только известных, записанных, и то за исключением России и Турции; но надо удивляться не тому, что самоубийств совершается так много, а тому, что их так мало. Всякий человек нашего времени, если вникнуть в противоречие его сознания и его жизни, находится в самом отчаянном положении. Не говоря о всех других противоречиях жизни и сознания, которые наполняют жизнь человека нашего времени, достаточно одного этого последнего военного положения, в котором находится Европа, и его христианского исповедания для того, чтобы человеку прийти в отчаяние, усомниться в разумности человеческой природы и прекратить

жизнь в этом безумном и зверском мире. Противоречие это – военное, заключающее в себе квинтэссенцию всех других противоречий, – так ужасно, что жить, участвуя в нем, можно только, если не думаешь о нем, можешь забыть его.

Как! Мы все христиане, не только исповедуем любовь друг к другу, но действительно живем одной общей жизнью, одними ударами бьется пульс нашей жизни, мы помогаем друг другу, учимся друг у друга, все больше и больше, ко взаимной радости, любовно сближаемся друг с другом! В этом сближении – смысл всей жизни, и завтра какой-нибудь ошалелый глава правительства скажет какую-нибудь глупость, другой ответит такой же, и я пойду, сам подвергаясь убийству, убивать людей, не только мне ничего не сделавших, но которых я люблю. И это не отдаленная случайность, а это то самое, к чему мы все готовимся, и есть не только вероятное, но неизбежное событие.

Достаточно ясно сознать это для того, чтобы сойти с ума или застрелиться. И это самое и случается, и даже особенно часто между военными. Стоит только на минуту опомниться, чтобы прийти к необходимости такого конца. Только этим и объясняется то страшное напряжение, с которым люди нашего времени стремятся к одурманению себя вином, табаком, опиумом, картами, чтением газет, путешествиями, всякими зрелищами и увеселениями. Все эти дела производятся как серьезные, важные дела. Они действительно важные дела. Если бы не было внешних средств отуманивания, половина людей немедленно перестрелялась бы, потому что жить противоречиво своему разуму есть самое непереносимое состояние. А в этом состоянии находятся все люди нашего времени. Все люди нашего времени живут в постоянном вопиющем противоречии сознания и жизни. Противоречия эти выражаются и в экономических и государственных отношениях, но резче всего это противоречие в сознании людьми христианского закона братства людей и необходимости, в которую ставит всех людей общая воинская повинность, каждому быть готовым к вражде, к убийству, – каждому быть в одно и то же время христианином и гладиатором.

Разрешение противоречий жизни и сознания возможно двумя путями: изменением жизни или сознания. И в выборе из двух, казалось бы, не может быть сомнения. Человек может перестать делать то, что он считает дурным, но не может перестать считать дурным дурное.

Точно так же и всё человечество может перестать делать то, что оно считает дурным, но не может не только изменить, но и задержать хоть на время всё уясняющего и распространяющегося сознания того, что дурно и чего поэтому не должно быть. Казалось бы, что выбор между изменением жизни и сознания должен бы быть ясен и не подлежать сомнению.

И потому, казалось бы, неизбежно христианскому человечеству нашего времени отречься от осуждаемых им языческих форм жизни и на признаваемых им христианских основах построить свою жизнь.

Но так бы это было, если бы не было закона инерции, столь же неизменного в жизни людей и народов, сколько в неодушевленных телах, выражающегося для людей психологическим законом, так верно выраженным в Евангелии словами: "И не шли к свету, потому что дела их были злы". Закон этот состоит в том, что большинство людей мыслят не для того, чтобы познать истину, а для того, чтобы уверить себя, что они находятся в истине, чтобы уверить себя в том, что та жизнь, которую они ведут и которая им приятна и привычна, и есть та самая, которая сходится с истиной.

Рабство было противно всем тем нравственным началам, которые проповедовали Платон и Аристотель, а между тем ни тот, ни другой не видели этого, потому что отрицание рабства разрушало всю ту жизнь, которой они жили. То же происходит и в нашем мире.

Разделение людей на две касты, так же как и государственное и военное насилие, противны всем тем нравственным началам, которыми живет наш мир, и вместе с тем передовые, образованные люди нашего времени как будто не видят этого.

Большинство, если не все образованные люди нашего времени бессознательно стараются удержать прежнее общественное жизнепонимание, оправдывающее их

положение, и скрыть от себя и людей несостоятельность его и, главное, необходимость усвоения того христианского жизнепонимания, которое разрушает весь строй существующей жизни. Они стремятся поддержать порядки, основанные на общественном жизнепонимании, но сами не верят в него, потому что оно отжито и в него нельзя уже верить.

Вся литература – и философская, и политическая, и изящная – нашего времени поразительна в этом отношении. Какое богатство мыслей, форм, красок, какая эрудиция, изящество, обилие мыслей и какое не только отсутствие серьезного содержания, но какой-то страх перед всякой определенностью мысли и выражения ее! Обходы, иносказания, шулки, общие, самые широкие соображения и ничего простого, ясного, идущего к делу, т. е. к вопросу жизни.

Но мало того, что пишутся и говорятя грациозные ненужности, пишутся и говорятя прямо гадости, дикости, пишутся и говорятя самым утонченным образом рассуждения, возвращающие людей к первобытной дикости, к основам жизни не только языческой, но даже животной, уже 5000 лет тому назад пережитой нами.

Оно и не может быть иначе. Чураясь жизнепонимания христианского, нарушающего для одних только привычный, для других привычный и выгодный порядок, люди не могут не возвращаться назад к языческому жизнепониманию и к учениям, основанным на нем. В наше время проповедуется не только патриотизм и аристократизм так, как он проповедовался 2000 лет тому назад, но самый грубый эпикуреизм, животность, с тою только разницею, что тогда проповедующие его люди верили в то, что проповедовали, теперь же сами проповедующие не верят в то, что говорят, и не могут верить, потому что то, что они проповедуют, уже не имеет смысла. Нельзя оставаться на месте, когда почва движется. Если не идешь вперед, то идешь назад. И странно и страшно сказать – образованные люди нашего времени, передовые люди своими утонченными рассуждениями в сущности влекут общество назад, к состоянию даже не языческому, а к состоянию первобытной дикости.

Ни на чем так не видно это направление деятельности передовых людей нашего времени, как на отношении их к тому явлению, в котором в наше время в концентрированной форме выразилась вся несостоятельность общественного



жизнепонимания, — к войне, к всеобщему вооружению и общей воинской повинности.

Неопределенность, если не недобросовестность отношения к этому явлению образованных людей нашего времени поразительна. Отношение к этому в нашем образованном обществе трояко: одни рассматривают это явление как нечто случайное, возникшее от особенного политического положения Европы, и считают его поправимым без изменения всего внутреннего строя жизни народов, внешними дипломатическими международными мерами. Другие смотрят на это явление как на нечто ужасное, жестокое, но как на неизбежное и роковое, как болезнь или смерть. Третьи спокойно и хладнокровно считают войну явлением необходимым, благотельным и потому желательным.

Смотрят люди на предмет различно, но как те, так и другие и третьи рассуждают о войне как о событии, совершенно не зависящем от воли людей, участвующих в ней, и потому даже и не допускают того естественного вопроса, представляющегося каждому простому человеку: "Что, мне-то нужно ли принимать в ней участие? По мнению всех этих людей, вопросов этого рода даже не существует, и всякий, как бы он ни смотрел на войну сам лично, должен рабски подчиняться в этом отношении требованиям власти.

Отношение первых, тех, которые спасение от войн видят в дипломатических международных мерах, прекрасно выражается результатом последнего конгресса мира в Лондоне и статьей и письмами о войне выдающихся писателей.

Вот результаты конгресса: собрав с разных концов света от ученых лично или письменно их мнения, конгресс, начав молебствием в соборе и кончив обедом со спичами, в продолжение 5 дней выслушал много речей и пришел к следующим решениям.

Во-1-х, конгресс выразил свое мнение о том, что прямым следствием братства между людьми должно неминуемо быть братство между народами, признающее тождественность интересов каждого народа в отдельности.

Во-2-х, конгресс признал, что христианство имеет влияние на нравственный и политический прогресс человечества, и потому напомнил проповедникам Евангелия

и другим лицам, занимающимся духовным воспитанием, о необходимости распространения правил мира и сердечного расположения между людьми. Для этой цели конгресс определил 3-е воскресенье каждого декабря. В этот день должно быть особое провозглашение принципов мира.

В-3-х, конгресс выразил желание, чтобы все учителя истории обращали внимание юношества на страшное зло, которое война всегда причиняла человечеству, и на то обстоятельство, что в большинстве случаев войны возникали вследствие весьма незначительных причин.

В-4-х, конгресс осудил обучение в училищах в виде физических упражнений – военным приемам и предложил заменить военные роты, ныне существующие, спасательными ротами. Конгресс далее выразил желание внушить экзаменационным комиссиям, имеющим обязанность формулировать вопросы ученикам, необходимость направлять умы учеников к принципам мира.

В-5-х, конгресс выразил убеждение, что учение о правах человека требует, чтобы народы дикие и слабые, их собственность и их свобода находили защиту от несправедливости и злоупотреблений и чтобы эти народы были ограждаемы от пороков, столь распространенных между народами, так называемыми цивилизованными. По мнению конгресса, народы должны были бы для этой цели действовать заодно. Конгресс выразил свое сердечное сочувствие заключениям антирабской конференции, заседавшей недавно в Брюсселе и имеющей задачей улучшение быта африканских дикарей.

В-6-х, конгресс выразил убеждение, что, так как воинственные предрассудки и предания, которые еще так глубоко коренятся в некоторых народах, так же как и все те воинственные речи, которые произносятся в законодательных собраниях некоторыми вожаками общественного мнения и которыми наполнены органы печати, нередко являются косвенными причинами войны, то желательно бы было печатать точные сведения об отношениях народов. Для этой цели конгресс предложил основать международную газету, могущую ответить вышеизложенным требованиям.

В-7-х, конгресс предложил комитету советовать своим членам при всех удобных случаях отстаивать проекты объединения весов, мер, монет, почтовых, телеграфных тарифов и т. д., могущие способствовать действительному торговому, промышленному и научному единению народов.

В-8-х, ввиду безграничного нравственного и общественного влияния женщин конгресс убеждает их оказать свою поддержку всему тому, что может способствовать миру, ибо иначе на их ответственности должно лежать в большей мере всякое продолжение настоящего военного положения.

В-9-х, конгресс выразил надежду о том, что ассоциация финансовой реформы и другие подобные общества в Европе и Америке соединятся для обсуждения мер установления справедливых торговых отношений между государствами путем уничтожения пошлин. Конгресс выразил мысль о том, что все цивилизованные народы желают мира и с нетерпением ожидают прекращения всеобщего вооружения. Эти вооружения, будучи производимы якобы для защиты, в свою очередь представляют из себя зло, так как поддерживают недоверие и в то же время являются причиной той всеобщей экономической неурядицы, которая не позволяет приступить, при благоприятных условиях, к тем вопросам о труде и нужде, которые должны были бы быть первые на очереди.

В-10-х, конгресс признал всеобщее разоружение лучшим ручательством мира и первым шагом к разрешению, ко всеобщему удовольствию, тех вопросов, которые в настоящее время разъединяют государства, и выразил желание, чтобы в скором будущем составилась съезд представителей всех государств Европы для обсуждения мер, могущих вести ко всеобщему постепенному разоружению.

В-11-х, имея в виду то, что нерешительность какого-нибудь одного государства могла бы затормозить созвание вышеупомянутого съезда, конгресс выразил мнение, что то государство, которое первое решится распустить значительную долю своей армии, окажет наиважнейшую услугу Европе и человечеству, так как этим самым заставит другие государства – под давлением общественного мнения – последовать его примеру. Своим же поступком оно, без сомнения, не только не ослабит, а лишь усилит естественные условия защиты своей страны.

В-12-х, имея в виду то, что вопрос о разоружении, так же как и о мире вообще, зависит в значительной мере от общественного мнения, конгресс предложил обществам мира, так же как и всем приверженцам мира, заняться деятельной пропагандой его, особенно во время парламентских выборов, чтобы убедить избирателей подавать голоса за кандидатов, в программу действия которых войдут установление мира, разоружение и третейский суд.

В-13-х, конгресс поздравил друзей мира с решением, принятым международной американской конференцией (Вашингтон, апрель), которым признается желательным обязательный третейский суд во всех спорах и других несогласиях, каково бы ни было их происхождение, исключая тех спорных пунктов, которые могли бы грозить независимости одной из заинтересованных стран.

В-14-х, конгресс обращает на это решение внимание всех европейских и американских государственных людей, в надежде, что в скором будущем подобные договоры будут подписаны остальными нациями ввиду избежания впредь всех столкновений и в то же время для примера другим государствам.

В-15-х, конгресс выразил свое удовольствие и по поводу принятия испанским сенатом (16 июля) законопроекта, разрешающего правительству ходатайствовать об утверждении договоров, составленных с помощью третейского суда для разрешения всех спорных вопросов, исключая тех, которые касаются независимости или внутреннего управления государств.

Конгресс выразил также свое удовольствие по поводу принятия решений подобного же содержания норвежским стортингом и итальянским парламентом в текущем месяце.

В-16-х, конгресс постановил официально обратиться к главным политическим, религиозным, торговым обществам, рабочим союзам с просьбой, чтобы эти общества ходатайствовали перед своими правительствами о принятии необходимых мер для учреждения особой комиссии, в обязанности которой входило бы решение международных несогласий ввиду предупреждения войн.

В-17-х, ввиду того, что: 1) цель, преследуемая всеми обществами мира, состоит в установлении юридического порядка между народами; что 2) нейтрализация путем

международных договоров составляет шаг к такому юридическому положению и к уменьшению числа стран, в которых будет возможна война, – конгресс предложил расширить правила о нейтрализации и выразил желание, чтобы все договоры о нейтрализации, уже существующие в настоящее время, оставались и вперед в силе или, в случае нужды, были дополнены в том смысле, чтобы нейтралитет был распространен на всё государство или чтобы были уничтожены крепости, представляющие для всякого нейтралитета скорее опасность, чем ручательство.

Чтобы были составлены новые договоры (согласные желанию народов) для установления нейтралитета остальных государств.

В-18-х, секция комитета предложила: 1) чтобы следующие съезды конгресса мира были назначены либо перед самым заседанием ежегодной международной конференции, либо тотчас же после него и в том же городе; 2) чтобы вопрос о международной эмблеме мира был отложен на неопределенное время.

Чтобы были приняты следующие решения: 1) Выразить удовлетворение по поводу официального предложения со стороны пресвитерианской церкви в Соединенных Штатах верховным представителям каждого религиозного общества христианского исповедания соединиться для общего обсуждения мер, могущих вести к замене войны международным третейским судом.

2) Выразить от лица конгресса глубокое почтение памяти Аврелия Саффи, великого итальянского юриста, члена комитета международного мира и свободы.

3) Чтобы отчеты этого конгресса, подписанные президентом, были по возможности переданы главам всех цивилизованных государств авторитетными депутациями.

4) Чтобы организационный комитет был уполномочен сделать нужные поправки в бумагах и решениях, здесь принятых.

5) Чтобы были приняты следующие решения: а) выразить признательность президентам всех отдельных заседаний конгресса; б) выразить признательность председателю, секретарям и членам бюро конгресса; с) выразить признательность членам различных секций комитета; d) выразить канонику Скотт-Голланд, доктору Ревен Томасу и I. Моргану Гиббону благодарность за их речи перед открытием

конгресса и просьбу доставить копии этих речей для печати, а также главам собора св. Павла, Сити Темпля и конгрегационной церкви Стамфорд Гиля за пользование этими зданиями для общественных целей; е) составить благодарственный адрес ее величеству за разрешение посетить Виндзорский замок, f) и также выразить признательность лорд-мэру, его супруге, мистеру Пасмор Эдвардсу и другим друзьям, оказавшим гостеприимство членам конгресса.

В-19-х, конгресс выразил свою глубокую благодарность всевышнему за замечательное согласие, господствовавшее на собраниях конгресса, на которых столько мужчин и женщин самых разнообразных народностей и вероисповеданий собиралось для тесной совместной работы, и успешное окончание трудов конгресса.

Конгресс выразил твердую и непоколебимую веру в окончательное торжество мира и тех принципов, которые отстаивались на этих собраниях.

Основная мысль конгресса та, что необходимо, во-1-х, распространять всеми средствами между всеми людьми убеждения о том, что война очень невыгодна для людей и что мир есть большое благо, и, во-2-х, действовать на правительства, внушая им преимущества перед войнами международного судилища и поэтому выгоды и необходимости разоружения. Для достижения первой цели конгресс обращается к учителям истории, к женщинам и к духовенству с советом проповедовать людям каждое 3-е воскресенье декабря зло войны и благо мира; для достижения второй – конгресс обращается к правительствам, предлагая им разоружение и замену войны арбитрацией.

Проповедовать людям зло войны и благо мира! Но ведь зло войны и благо мира до такой степени известны людям, что, с тех пор как мы знаем людей, самым лучшим пожеланием было приветствие "мир вам", так что же его проповедовать?

Не только христиане, но все язычники тысячи лет тому назад знали зло войны и благо мира. Так что совет проповедникам Евангелия проповедовать о зле войны и благе мира в 3-е воскресенье декабря совершенно излишен.

Христианин не может не проповедовать этого всегда, во все дни своей жизни. Если же христиане и проповедники христианства этого не делают, то на это должны быть причины. И покуда не будут устранены эти причины, никакие советы не будут

действительны. Еще менее могут быть действительны советы правительствам, чтобы они распустили войска и заменили их международными судилищами. Правительства тоже очень хорошо знают всю трудность и тяжесть собирания и содержания войск, и если, несмотря на то, с страшными усилиями и напряжением собирают и держат войска, то, очевидно, не могут поступать иначе и совет конгресса никак не может изменить этого. Но ученые никак не хотят видеть этого и всё надеются найти такую комбинацию, при которой (сами) правительства, производящие войны, ограничились бы сами себя.

"Возможно ли избавиться от войны? – пишет ученый человек. – Все согласны, что если она разразится в Европе, то последствия ее будут подобны великим нашествиям варваров. Дело при предстоящей войне будет идти уже о существовании целых народностей, и потому она будет кровавая, отчаянная, жестокая".

"Это-то соображение вместе с теми страшными орудиями истребления, которыми располагает новейшая наука, задерживает момент объявления войны и удерживает настоящий временный порядок вещей, который мог бы продолжаться на неопределенное время, если бы не те страшные расходы, которые давят европейские народы и угрожают довести народы до бедствий, не меньших тех, которые произведет война".

"Пораженные этой мыслью, люди разных стран искали средства остановить или по крайней мере смягчить последствия страшной бойни, которая угрожает им".

"Таковы вопросы, поставленные на очередь предполагающимся в скором времени конгрессом в Риме и изданием брошюр о разоружении".

"К несчастью, несомненно то, что при теперешнем устройстве большинства европейских государств, удаленных друг от друга и руководимых различными интересами, совершенное прекращение войны есть мечта, которой было бы опасно утешаться. Однако некоторые принятые всеми более разумные законы и постановления при этих дуэлях между народами могли бы значительно уменьшить ужасы войны".

"Одинаково утопично рассчитывать на разоружение, которое почти невозможно, вследствие соображений народного характера, понятного нашим читателям.

(Вероятно, это значит, что Франции нельзя разоружаться до реванша.) Общественное мнение не готово для принятия проектов разоружения, и, кроме того, отношения международные не таковы, чтобы можно было принять их".

"Разоружение, потребованное одним народом от другого, равнялось бы объявлению войны".

"Однако все-таки можно допустить, что обмен взглядов между заинтересованными народами поможет в известной степени международному соглашению и сделает возможным значительное уменьшение военных расходов, давящих теперь европейские народы в ущерб разрешению социальных вопросов, необходимость которого чувствуется каждым государством отдельно под угрозой вызвать внутреннюю войну усилиями предотвратить внешнюю".

"Можно по крайней мере предположить уменьшение огромных расходов, которые нужны при теперешнем военном устройстве, имеющем целью возможность в 24 часа захватить владения противника и дать решительное сражение через неделю после объявления войны!"

Надобно сделать так, чтобы государства не могли нападать друг на другие и в 24 часа захватить чужие владения.

Практическую мысль эту выразил Maxime du Camp, и к этому сводится и заключение статьи.

Предложения M. du Camp следующие:

"1) Дипломатический конгресс должен собираться ежегодно".

"2) Всякая война не может быть объявлена ранее двух месяцев после события, которое ее вызовет. (Затруднение тут будет в том, чтобы определять, какой именно incident вызовет войну, так как при всяком объявлении войны таких incidents очень много и надо решить, от какого считать два месяца.)"

"3) Война не может быть объявлена прежде, чем она не будет подвергнута голосованию народов, готовящихся к ней".

"4) Военные действия не могут начаться ранее месяца после объявления войны".

"Не может быть начата война... должны... и т. д.". Да кто же сделает то, чтобы не могла быть начата война? Кто сделает то, чтобы должны были люди делать то-то и



то-то? Кто заставит державу дожидаться назначения срока? Все другие. Но все другие суть точно такие же державы, которых надо умерять и поставлять в границы и заставить. Кто же будет заставлять? и как? Общественное мнение. Да если есть общественное мнение, которое может заставить державу дожидаться назначенного срока, то то же общественное мнение может заставить державу и вовсе не начинать войны.

Но, отвечают на это, возможно такое уравнивание сил, *ponderation des forces*, при котором державы будут сами себя воздерживать. Да ведь это требование и теперь требуется. Это самое был священный союз, это самое – лига мира и т. п.

Но если все согласятся, отвечают на это. Но если все согласятся, то и войны не будет, и незачем и верховные судилища, и третейский суд, и арбитрация.

"Третейский суд, арбитрация заменит войны. Вопросы будут решаться третейским судом, алабамский вопрос решен третейским судом, о Каролинских островах предложено решить третейским судом папе. Швейцария, и Бельгия, и Дания, и Голландия – все подали заявление, что они предпочитают решения третейского суда войне". Кажется, и Монако заявило то же желание. Досадно только одно, что Германия, Россия, Австрия, Франция до сих пор не заявляют того же".

Удивительно, чем могут себя обманывать люди, когда им нужно обмануть себя.

Правительства согласятся решать свои несогласия третейским судом и потому распустят войска. Недоразумения России и Польши, Англии и Ирландии, Австрии и Чехии, Турции и славян, недоразумения между Францией и Германией разрешатся добровольным согласием.

Ведь это всё равно, как если бы предложить купцам и банкирам ничего не продавать дороже цены покупки, а заниматься распределением богатств без барышей и уничтожить вследствие этого ставшие ненужными деньги.

Но ведь торговля и банковое дело и состоят только в том, чтобы продавать дороже, чем покупать, и потому предложение о том, чтобы не продавать дороже покупной цены и уничтожить деньги, равняется предложению уничтожиться. То же самое и с правительствами. Предложение правительствам не употреблять насилия, а

по справедливости решать недоразумения, есть предложение уничтожиться как правительство; а на это-то никакое правительство не может согласиться.

Ученые люди собираются в общества (таких обществ много, более 100), собираются на конгрессы (такие были недавно в Париже и Лондоне, теперь будет в Риме), читают речи, обедают, говорят речи, издают журналы, посвященные этой цели, и во всех доказываются, что напряжение народов, принужденных содержать миллионы войск, дошло до крайних пределов и что это вооружение противоречит всем целям, свойствам, желаниям всех народов, но что если много исписать бумаги и наговорить слов, то можно согласовать всех людей и сделать, чтобы у них не было противоположных интересов, и тогда войны не будет.

Когда я был маленький, меня уверили, что для того, чтобы поймать птицу, надо посыпать ей соли на хвост. Я вышел с солью к птицам, но тотчас же убедился, что если бы я мог посыпать соли на хвост, то мог бы и поймать, и понял, что надо мной смеялись.

То же надо понять и людям, читающим статьи и книги о третейском суде и разоружении.

Если можно посыпать соли на хвост птице, то значит, что она не летает, ее и ловить нечего. Если же у птицы есть крылья и она не хочет быть пойманной, она не даст себе сыпать соли на хвост, потому что свойство птицы летать. Точно так же свойство правительства состоит не в том, чтобы подчиняться, а подчинять себе. И правительство только на столько правительство, на сколько оно может не подчиняться, а подчинять, и потому оно всегда стремится к этому и никогда добровольно не может отказаться от власти, а власть дает ему войско, и потому никогда не откажется от войска и употребления его для войны.

Ошибка зиждется на том, что ученые юристы, обманывая себя и других, утверждают в своих книгах, что правительство не есть то, что оно есть, – собрание одних людей, насилующих других, а что правительства, как это выходит в науке, суть представители совокупности граждан. Ученые так долго уверяли других в этом, что и сами поверили в это, и им часто серьезно кажется, что справедливость может быть обязательна для правительств. Но история показывает, что от Кесаря и до

Наполеона, того и другого, и Бисмарка правительство есть по существу своему всегда сила, нарушающая справедливость, как оно и не может быть иначе. Справедливость не может быть обязательной для человека или людей, которые держат под рукой обманутых и дрессированных для насилия людей – солдат и посредством их управляют другими. И потому не могут правительства согласиться уменьшить количество этих повинующихся им дрессированных людей, которые и составляют всю их силу и значение.

Таково отношение одних ученых к тому противоречию, которое тяготит наш мир, и таковы их средства разрешения его. Скажите этим людям, что вопрос только в личном отношении каждого человека к поставленному перед каждым теперь нравственному религиозному вопросу законности или незаконности участия в общей воинской повинности, и эти ученые только пожмут плечами и даже не удостоят вас ответа или внимания. Разрешение вопроса для них в том, чтобы читать речи, писать книги, избирать президентов, вицепрезидентов, секретарей и заседать и говорить то в том городе, то в другом. От этих разговоров и писаний, по их мнению, случится то, что правительства перестанут набирать солдат, на которых зиждется вся их сила, а послушаются их речей и отпустят своих солдат, останутся беззащитными не только перед своими соседями, но и перед своими подданными; как разбойники, связавшие безоружных людей, чтобы ограбить их, услышав речи о той боли, которую веревка причиняет связанному, тотчас же развяжут их.

Но есть люди, которые верят в это, занимаются конгрессами мира, читают речи, пишут книжки, и правительства, разумеется, выражают этому сочувствие, делают вид, что поддерживают это, так же, как они делают вид, что они поддерживают общества трезвости, тогда как большею частью живут пьянством народа; так же, как делают вид, что поддерживают образование, тогда как сила их держится только на невежестве; так же, как делают вид, что поддерживают свободу конституции, тогда как их сила держится только на отсутствии свободы; делают вид, что заботятся об улучшении быта рабочих, тогда как на подавленности рабочего основано их существование; делают вид, что поддерживают христианство, тогда как христианство разрушает всякое правительство.

Для того, чтобы можно было это делать, уже давно выработались такие заботы о трезвости, которые не могут нарушить пьянства; такие заботы об образовании, которые не только не мешают невежеству, но только усиливают его; такие заботы о свободе и конституции, которые не мешают деспотизму; такие заботы о рабочих, которые не освобождают их от рабства; такое христианство, которое не разрушает, а поддерживает правительства.

Теперь прибавилась еще забота о мире. Правительства прямо цари, которые разъезжают теперь с министрами, решая по одной своей воле вопросы о том: в нынешнем или будущем году начать убийство миллионов; цари эти очень хорошо знают, что разговоры о мире не помешают им, когда им вздумается, послать миллионы на бойню. Цари даже с удовольствием слушают эти разговоры, поощряют их и участвуют в них.

Всё это не только не вредно, но полезно правительствам, отводя глаза людей от самого главного, самого существенного вопроса: идти или не идти отбывать воинскую повинность каждому отдельному человеку, призываемому в солдаты?

"Мир скоро вот устроится, благодаря союзам, конгрессам, по книжкам и брошюрам, а пока идите, надевайте мундир и будьте готовы угнетать и мучить самих себя для нашей выгоды", – говорят правительства. И ученые, составители конгрессов и статей вполне согласны на это.

Это одно отношение – самое выгодное для правительств и потому поощряемое всеми умными правительствами.

Другое отношение это отношение трагическое, людей, утверждающих, что противоречие стремления и любви к миру людей и необходимости войны ужасно, но что такова судьба человека. Люди эти большею частью чуткие, даровитые люди, видят и понимают весь ужас и всю неразумность и жестокость войны, но по какому-то странному повороту мысли не видят и не ищут никакого выхода из этого положения, а, как бы расчесывая свою рану, любят отчаянностью положения человечества.

Вот замечательный образец такого отношения к войне замечательного французского писателя (Мопассана). Глядя с своей яхты на ученье и стрельбу французских солдат, ему приходят следующие мысли:

"Война! Стоит подумать об этом слове, и на меня находит какое-то чувство ужаса и одурения, как если бы мне говорили про колдовство, инквизицию, как будто мне говорят про дело далекое, поконченное, отвратительное, уродливое, противоестественное".

"Когда говорят нам про людоедов, мы с гордостью улыбаемся, чувствуя свое превосходство над этими дикарями. Но кто дикари? Кто настоящие дикари? Те ли, которые убивают для того, чтобы съесть побежденных, или те, которые убивают, чтобы убивать, только чтобы убивать?"

"Вот на поляне егеря по команде бегают и стреляют; все они предназначены на смерть, как стадо баранов, которых мясник гонит по пороге. Упадут они где-нибудь на поляне с рассеченной головой или с пробитой пулей грудью. И всё это молодые люди, которые могли бы работать, производить, быть полезными".

"Их отцы старые, бедные их матери, которые в продолжение 20 лет любили, обожали их, как умеют обожать только матери, узнают через шесть месяцев или через год, может быть, что сына, большого сына, воспитанного с таким трудом, с такими расходами, с такой любовью, что сына этого, разорванного ядром, растоптанного конницей, проехавшей через него, бросили в яму, как дохлую собаку. И она спросит: зачем убили дорогого мальчика – ее надежду, гордость, жизнь? Никто не знает. Да, зачем?"

"Война! Драться! Резаться! Убивать людей! Да, в наше время, с нашим просвещением, с нашей наукой, с нашей философией, существует учреждение особых училищ, в которых учат убивать, убивать издалека, с совершенством, убивать много людей сразу, убивать несчастных, жалких людей, ни в чем не виноватых людей, поддерживающих семьи, и убивать их без всякого суда".

"И самое удивительное – это то, что народ не поднимается против правительств, – всё равно, в монархии или республике. Самое удивительное то, что всё общество не взбунтуется при одном слове "война".

"Да, видно, мы всегда будем жить старыми, ужасными обычаями, преступными суевериями, кровавыми понятиями наших предков. Видно, как мы были зверями, так и останемся зверями, руководимыми только инстинктом".

"Едва ли кто-нибудь, кроме Виктора Гюго, мог бы безнаказанно кликнуть клич освобождения и истины".

"Силу уже начинают называть насилием и судить ее, – сказал он. – Война призывается на суд. Просвещение по жалобе рода человеческого ведет судебное дело и представляет обвинительный акт против всех завоевателей и полководцев".

"Люди начинают понимать то, что увеличение преступления не может быть его уменьшением; что если убийство есть преступление, то убийство многих не может быть смягчающим обстоятельством; что если стыдно красть, то захват никак не может быть предметом прославления".

"Провозгласим же эту несомненную истину, обесчестим войну". "Напрасный гнев, – продолжает Мопассан, – негодование поэта. Война уважаема, почитаема теперь более, чем когда-либо. Искусный артист по этой части, гениальный убийца, г-н фон Мольтке отвечал однажды депутатам общества мира следующими страшными словами: "Война свята и божественного установления, война есть один из священных законов мира, она поддерживает в людях все великие и благородные чувства: честь, бескорыстие, добродетель, храбрость. Только вследствие войны люди не впадают в самый грубый материализм".

"Собираются стадами в 400 тысяч человек, ходить без отдыха день и ночь, ни о чем не думая, ничего не изучая, ничему не учась, ничего не читая, никому не принося пользы, валяясь в нечистотах, ночуя в грязи, живя как скот, в постоянном одурении, грабя города, сжигая деревни, разоряя народы, потом, встречаясь с такими же скоплениями человеческого мяса, наброситься на него, пролить реки крови, устлать поля разможенными, смешанными с грязью и кровавой землей телами, лишиться рук, ног, с разможенной головой и без всякой пользы для кого бы то ни было издохнуть где-нибудь на меже, в то время как ваши старики родители, ваша жена и ваши дети умирают с голоду – это называется не впадать в самый грубый материализм".

"Военные люди – главное бедствие мира. Мы боремся с природой, с невежеством, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить наше жалкое существование. Ученые посвящают труду всю жизнь для того, чтобы найти средства помочь, облегчить судьбу своих братьев. И, упорно трудясь и делая открытие за открытием, они обогащают ум человеческий, расширяют науку, каждый день дают новые знания, каждый день увеличивая благосостояние, достаток, силу народа".

"И вот наступает война. В шесть месяцев генералы разрушают всё то, что творилось в продолжение 20 лет усилия, терпения, гениальности. И это всё называется не впадать в самый грубый материализм".

"Мы ее видели, войну. Мы видели, как люди сделались опять зверями, как они, как шальные, убивали из удовольствия, из страха, для молодечества, для похвальбы. Мы видели, как, освободившись от понятий закона и права, они расстреливали невинных, застигнутых на дороге и показавшихся подозрительными только потому, что они испугались. Мы видели, как убивали привязанных у дверей хозяев собак, только чтобы попробовать новый револьвер. Мы видели, как расстреливали лежавших в поле коров без всякой надобности, только чтобы пострелять для потехи. И это называется не впадать в самый безобразный материализм".

"Вступить в страну, зарезать человека, который защищает свой дом, потому что он одет в блузу и у него нет на голове военной фуражки; сжигать дома бедняков, которым есть нечего, разбивать, красть мебель, выпивать вино из чужих погребов, насиловать женщин на улицах, сжигать пороку на миллионы франков и оставить после себя разорение, болезни, – это называется не впадать в самый грубый материализм".

"Что же, наконец, они сделали, военные люди, какие их подвиги? Ничего. Что они выдумали? Пушки и ружья. Вот и все".

"Что оставила нам Греция? Книги, мраморы. Оттого ли она велика, что побеждала, или оттого, что произвела? Не нападения персов помешали грекам впасть в самый грубый материализм. Не нападения же варваров на Рим спасли и возродили

его! Что, Наполеон I продолжал разве великое умственное движение, начатое философами конца прошлого века?"

"Нет, уж если правительства берут на себя право посылать на смерть народы, то и нет ничего удивительного, что и народы берут на себя иногда право посылать на смерть и свои правительства".

"Они защищаются, и они правы. Никто не имеет права управлять другими. Управлять другими можно только для блага того, кем управляешь. И тот, кто управляет, обязан избегать войны; так же как и капитан корабля – избегать крушения".

"Когда капитан виноват в крушении своего корабля, его судят и приговаривают, если он окажется виноватым в небрежности и даже в неспособности".

"Отчего же бы не судить и правительство после каждой объявленной войны? Если бы только народ понял это, если бы они судили власти, ведущие их к убийству, если бы они отказывались идти на смерть без надобности, если бы они употребляли данное им оружие против тех, которые им дали его, – если бы это случилось когда-либо, война бы умерла".

"Но это никогда не случится".

Автор видит весь ужас войны; видит, что причина ее в том, что правительства, обманывая людей, заставляют их идти убивать и умирать без всякой для них нужды; видит и то, что люди, которые составляют войска, могли бы обратить оружие против правительства и потребовать у них отчета. Но автор думает, что этого никогда не случится и что поэтому выхода из этого положения нет. Он думает, что дело войны ужасно, но что оно неизбежно, что требования правительств того, чтобы люди шли в солдаты, так же неизбежно, как смерть, и что так как правительства всегда будут требовать этого, то всегда и будут войны.

Так пишет даровитый, искренний, одаренный тем проникновением в сущность предмета, которое составляет сущность поэтического дара, писатель. Он выставляет перед нами всю жестокость противоречия сознания людей и деятельности и, не разрешая его, признает как бы то, что это противоречие должно быть и что в нем поэтический трагизм жизни.



Другой, не менее даровитый, писатель (E. Rod) еще ярче описывает жестокость и безумие настоящего положения и точно так же для того, чтобы признать трагизм его, не предлагая и не провидя из этого положения выхода.

"И для чего что-либо делать и затевать? – говорит он. – И разве можно любить людей в теперешние смутные времена, когда завтрашний день одна угроза? Всё, что мы начали, все наши зреющие мысли, все наши предполагаемые дела, всё то хотя малое добро, которое мы можем сделать, – разве всё это не будет снесено готовящейся бурей?"

"Земля дрожит повсюду под ногами, и собирающаяся туча не минует нас".

"Да, если бы страшна была одна революция, которая нас пугает. Так как я не могу придумать общества, более отвратительно устроенного, чем наше, то я не боюсь того нового устройства, которое заменит наше. Если бы мне стало хуже от перемены, я бы утешался тем, что сегодняшние палачи были жертвами вчера. Я бы переносил худшее, ожидая лучшего. Но не эта отдаленная опасность пугает меня, – я вижу другую, более близкую, более жестокую, потому что ей нет никакого оправдания, потому что из нее не может выйти никакого добра. Каждый день люди взвешивают случайности войны на завтра. И каждый день эти случайности становятся неизбежнее".

"Мысль отказывается верить возможности катастрофы, которая представляется на конце века как последствие всего прогресса нашей эры, а надо привыкать верить".

"В продолжение 20 лет все силы знания истощаются на изобретение орудий истребления, и скоро несколько пушечных выстрелов будет достаточно для того, чтобы уничтожить целое войско. Вооружаются не как прежде несколько тысяч бедняков, кровь которых покупали за деньги, но теперь вооружены поголовно целые народы, собирающиеся резать горло друг другу".

"У людей этих сначала крадут их время (забирая их в солдаты) для того, чтобы потом вернее украсть их жизнь. Чтобы приготовить их к резне, разжигают их ненависть, уверяя их, что они ненавидимы. И кроткие, добрые люди попадают на эту удочку, и вот-вот бросятся с жестокостью диких зверей друг на друга толпы мирных граждан, повинувшись нелепому приказанию. И всё Бог знает из-за какого-

нибудь смешного столкновения на границе или из-за торговых колониальных расчетов".

"И пойдут они, как бараны на бойню, не зная, куда они идут, зная, что они бросают своих жен, что дети их будут голодать, и пойдут они с робостью, но опьяненные звучными словами, которые им будут трубить в уши. И пойдут они беспрекословно, покорные и смиренные, не зная и не понимая того, что они сила, что власть была бы, в их руках, если бы они только захотели, если бы только могли и умели сговориться и установить здравый смысл и братство, вместо диких плутень дипломатов".

"И пойдут они до такой степени обманутые, что будут верить, что резня, убийство людей есть обязанность, и будут просить Бога, чтобы он благословил их кровожадные желания. И пойдут, топча поля, которые сами они засеивали, сжигая города, которые они сами строили, пойдут с криками восторга, с радостью, с праздничной музыкой. А сыновья будут воздвигать памятники тем, которые лучше всех других убивали их отцов".

"Судьба целого поколения зависит от того часа, в который какой-нибудь мрачный политик даст тот знак, по которому они бросятся друг на друга".

"Все мы знаем, что лучшие из нас будут подкошены и что дела наши будут разрушены в зародыше".

"Мы знаем это, содрогаемся от злости и ничего не можем. Мы пойманы в сеть разных присутственных мест и бумаг с заголовками, разорвать которую слишком трудно".

"Мы во власти тех законов, которые мы сами понаделали, чтобы защитить себя, и которые угнетают нас".

"Мы перестали быть людьми и сделались вещами – собственностью вымышленного чего-то, что мы называем государством, которое порабощает каждого во имя воли всех, тогда как все, взятые отдельно, хотят как раз противное тому, что их заставляют делать..."

"И хорошо, если бы дело шло только об одном поколении. Но дело гораздо важнее. Все эти крикуны на жалованье, все честолубцы, пользующиеся дурными

страстями толпы, все нищие духом, обманутые звучностью слов, так разожгли народные ненависти, что дело завтрашней войны решит судьбу целого народа. Победенный должен будет исчезнуть, и образуется новая Европа на основах столь грубых, кровавых и опозоренных такими преступлениями, что она и не может не быть еще хуже, еще злее, еще диче и насильственнее".

"Так и чувствуешь, что над каждым висит ужасная безнадежность. Мы мечемся в тупом переулке с направленными на нас ружьями со всех сторон. Мы работаем, как матросы на корабле, который тонет. Наше удовольствие – это удовольствие приговоренного к смерти, которому дают выбрать для себя любое кушанье за четверть часа до казни. Ужас притупляет нам мысль, и высшее ее проявление в том, чтобы рассчитать, соображая неясные речи министров, слова, сказанные царем, выворачивая изречения дипломатов, которыми наполняют газеты, рассчитать, когда это именно – нынешний или на будущий год нас будут резать".

"Едва ли можно найти в истории время, в которое жизнь была бы менее обеспечена и более полна тягостного ужаса".

Указано на то, что сила в руках тех, которые сами губят себя, в руках отдельных людей, составляющих массы; указано на то, что источник зла в государстве. Казалось бы, ясно то, что противоречие сознания и жизни дошло до того предела, дальше которого идти нельзя и после которого должно наступить разрешение его.

Но автор думает не так. Он видит в этом трагизм жизни человеческой и, показав весь ужас положения, заключает тем, что в этом ужасе и должна происходить жизнь человеческая.

Таково второе отношение к войне людей, признающих в ней нечто роковое и трагичное.

Третье отношение есть отношение людей, потерявших совесть, и потому и здравый смысл и человеческое чувство.

К таким людям принадлежит Мольке, суждение которого выписано Мопассаном, и большинство военных, воспитанных в этой жестокой суеверии, живущих им и потому часто наивно убежденных, что война есть не только

неизбежное, но и необходимое, даже полезное дело. Так судят вместе с тем и невоенные, так, называемые ученые, образованные, утонченные люди.

Вот что пишет... знаменитый академик Дусэ на вопрос редактора о его взгляде на войну:

"Милостивый государь!" "Когда вы спрашиваете у самого миролюбивого из академиков, сторонник ли он войны, его ответ уже заранее готов: к несчастью, м. г., вы и сами считаете мечтой миролюбивые мысли, вдохновляющие в настоящее время наших великодушных соотечественников.

"С тех пор, как я живу на свете, мне часто приходится слышать от многих частных людей возмущение против этой ужасающей привычки международного убийства. Все признают и оплакивают это зло; но как ему помочь? Очень часто пытались уничтожить дуэли: это казалось так легко! Так нет же! Все усилия, сделанные для достижения этой цели, ни к чему не послужили и никогда ни к чему не послужат".

"Сколько бы ни говорилось против войны и против дуэли на всех конгрессах мира, надо всеми арбитражами, всеми договорами, всеми законодательствами вечно будет стоять честь человека, которая вечно требовала дуэли, и выгоды народов, которые вечно будут требовать войны".

"Я тем не менее от всего сердца надеюсь, что конгресс всенародного мира успеет в своей весьма тяжелой и весьма почтенной задаче".

"Примите уверение и т. д.

К. Дусэ"

Смысл тот, что честь людей требует того, чтобы они дрались, а выгоды народов – того, чтобы они разоряли и истребляли друг друга, попытки же прекращения войн достойны только улыбки.

В том же роде мнение и другого знаменитого человека, Жюля Кларети: "Милостивый государь, – пишет он, – для человека разумного может существовать лишь одно мнение по вопросу о мире и войне".

"Человечество создано для того, чтобы жить и жить со свободой усовершенствования и улучшения своей судьбы, своего состояния путем мирного труда. Всеобщее согласие, которого добивается и которое проповедует всемирный конгресс мира, представляет из себя, быть может, только прекрасную мечту, но во всяком случае мечту, самую прекрасную из всех. Человек всегда имеет перед глазами обетованную землю будущего, жатва будет поспевать, не опасаясь вреда от гранат и пушечных колес".

"Только... Да – только!.. Так как миром не управляют философы и благодетели, то счастье, что наши солдаты оберегают наши границы и наши очаги и что их оружия, верно нацеленные, являются нам, быть может, самым лучшим ручательством этого мира, столь горячо нами всеми любимого".

"Мир даруется лишь сильным и решительным". "Примите уверение и т. д.

Ж. Кларети"

Смысл тот, что разговаривать не мешает о том самом, чего никто не намерен и чего никак не должно делать. Но когда дело доходит до дела, то нужно драться.

А вот еще самое недавнее выражение мнения о значении войны, высказанное самым популярным романистом Европы – Э. Золя:

"Я считаю войну роковой необходимостью, которая является для нас неизбежною ввиду ее тесной связи с человеческой природой и всем мирозданием. Мне бы хотелось, чтобы войну можно было отдалить, на возможно долгое время. Тем не менее наступит момент, когда мы будем вынуждены воевать. Я становлюсь в данную минуту на общечеловеческую точку зрения и не делаю никоим образом намека на наш разлад с Германией, являющийся лишь ничтожным инцидентом в истории человечества. Я говорю, что война необходима и полезна, так как она является для человечества одним из условий существования. Мы всюду встречаем войну, не только между различными племенами и народами, но также в семейной и частной жизни. Она является одним из главнейших элементов прогресса, и каждый

шаг вперед, который делало до сих пор человечество, сопровождался кровопролитием".

"Говорили и до сих пор еще говорят о разоружении, между тем разоружение нечто невозможное, и если бы даже оно было возможно, то и в том случае мы должны были бы его отвергнуть. Только вооруженный народ является могучим и великим. Я убежден, что общее всемирное разоружение повлекло бы за собой нечто вроде нравственного упадка, который высказался бы общим бессилием и воспрепятствовал бы прогрессивному преуспеянию человечества. Воинственная нация всегда пользовалась цветущими силами. Военное искусство влекло за собою развитие всех других искусств. Об этом свидетельствует история. Так, в Афинах и в Риме торговля, промышленность и литература никогда не достигали такого развития, как в то время, когда эти города господствовали над известным тогда миром силою оружия. Чтобы взять пример из более близких нам времен, вспомним век Людовика XIV. Войны великого короля не только не задержали прогресса искусств и наук, но даже, напротив того, как будто помогали и благоприятствовали их преуспеянию".

Война дело полезное!

Но лучше всего в этом смысле мнение самого даровитого из писателей этого настроения, мнение академика Вогюэ. Вот что он пишет в статье о выставке при посещении военного отдела:

"На эспланаде Инвалидов среди экзотических и колониальных помещений одно строение более строгого стиля выдается из живописного базара; все эти представители жителей земного шара примыкают к дворцу войны. Великолепный повод антитез для гуманитарной риторики; она и не упускает случая плакаться на такие сближения и утверждать, что это убьет то (*ceci tuera cela*) (\*), что единение народов через науку и труд победит военные инстинкты. Не будем ей мешать ласкать надеждой химеру золотого века, который, если бы осуществился, очень скоро сделался бы веком грязи. Вся история учит нас, что то сделано этим, что нужна кровь, чтобы ускорить и закрепить единение народов. Естественные науки в наше время скрепили таинственный закон, открывшийся Жозефу де Мэстру вдохновением его гения и обдумыванием первобытных догматов; он видел, как мир

искупляет свои наследственные падения жертвою; науки показывают нам, как мир совершенствуется борьбой и насильственным подбором; это утверждение с двух сторон одного и того же декрета, отредактированного в различных выражениях. Утверждение, конечно, неприятное; но законы мира установлены не для нашего удовольствия, они установлены для нашего совершенствования. Взойдемте же в этот неизбежный, необходимый дворец войны, и мы будем иметь случай наблюдать, каким образом самый упорный из наших инстинктов, не теряя ничего из своей силы, преобразовывается, подчиняясь различным требованиям исторических моментов".

(\* Слова из романа Виктора Гюго "Notre-Dame" о книгопечатании, которое убьет архитектуру \*)

Мысль эта именно о том, что доказательство необходимости войны находится в двух выражениях, по его мнению, двух великих мыслителей – Мэстра и Дарвина, так нравится Вогюэ, что он еще раз повторяет ее.

"Милостивый государь, вы спрашиваете моего мнения насчет успеха всемирного конгресса мира. Я верю так же, как и Дарвин, что насильственная борьба есть закон природы, управляющий всеми существами".

"Так же как и Иосиф Мэстр, я верю, что это закон божественный: два различных названия для одной и той же вещи. Если бы, паче чаяния, какой-нибудь частице человечества, положим хоть всему цивилизованному Западу, удалось остановить действие этого закона, то другие народы, более первобытные, применили бы его против нас. В этих народах голос природы взял бы верх над голосом человеческого разума. И они бы действовали успешно, так как уверенность в мире, я не говорю сам "мир", а "полная уверенность в мире", вызвала бы в людях развращенность и упадок, более разрушительно действующие, чем самая страшная война. Я нахожу, что для войны, этого уголовного закона, нужно делать то же, что и для остальных уголовных законов: смягчить их, стараться, чтобы они оказались ненужными, и применять их как можно реже. Но вся история учит нас тому, что нельзя упразднить этих законов

до тех пор, пока останется на земле двое людей, хлеб, деньги и между ними женщина".

"Я был бы очень счастлив, если бы конгресс мне доказал противное. Но сомневаюсь, чтобы он мог опровергнуть историю, закон природы и закон Бога".

"Примите уверение и т. д.

Э. М. Вогюэ"

Смысл тот, что история, природа человека и Бог показывают нам, что, пока будут два человека и между ними хлеб, деньги и женщина, – будет война. То есть, что никакой прогресс не приведет людей к тому, чтобы они сдвинулись с дикого понимания жизни, при котором без драки невозможно разделить хлеб, деньги (очень хороши тут деньги) и женщину.

Странны люди, собирающиеся в конгрессы, говорящие речи о том, как ловить птиц, посыпая им соли на хвост, хотя они не могут не знать, что этого нельзя делать; удивительны те, которые, как Мопассан, Род и мн. др., ясно видят весь ужас войны, всё противоречие, вытекающее из того, что люди делают не то, что им нужно, выгодно и должно делать, оплакивают при этом трагизм жизни и не видят того, что весь трагизм этот прекратится тотчас же, как только люди перестанут рассуждать о том, о чем им не нужно рассуждать, начнут не делать того, что им больно, неприятно и противно делать. Эти люди удивительны, но люди, которые, как Вогюэ и др., исповедуя закон эволюции, признают войну не только неизбежной, но полезной и потому желательной, – эти люди страшны, ужасны своей нравственной извращенностью. Те хоть говорят, что ненавидят зло и любят добро, но эти прямо признают то, что добра и зла нет.

Все толки о возможности установить мир вместо вечной войны – вредное сантиментальничанье болтунов. Есть закон эволюции, по которому выходит, что я должен жить и действовать дурно. Что же делать? Я образованный человек и знаю закон эволюции и потому буду поступать дурно. "En trons au palais de la guerre" (Войдем же во дворец войны). Есть закон эволюции, и потому нет ничего ни



дурного, ни хорошего, а надо жить для одной своей личной жизни, предоставляя остальное делать закону эволюции. Это есть последнее выражение утонченного образования и вместе с тем того затемнения сознания, которым заняты образованные классы нашего времени.

Желание образованных классов как-нибудь удержать свои излюбленные идеи и основанную на них жизнь дошло до последних пределов. Они лгут, обманывают себя и других в самых утонченных формах, только чтобы как-нибудь затемнить, заглушить сознание.

Вместо того чтобы изменить жизнь соответственно сознанию, они стараются всеми средствами затемнить, заглушить сознание. Но свет и в темноте светит, и так он начинает светить в наше время.

## VII

Образованные люди высших классов стараются заглушать всё более и более выясняющееся сознание необходимости изменения настоящего строя жизни, но жизнь, продолжая развиваться и усложняться в прежнем направлении, усиливая противоречия и страдания людей, приводит их к тому последнему пределу, дальше которого идти нельзя. Такой последний предел противоречия, дальше которого идти нельзя, есть общая воинская повинность.

Обыкновенно думают, что всеобщая воинская повинность и связанные с нею всё увеличивающиеся вооружения и вследствие того все увеличивающиеся подати и государственные долги во всех народах есть явление случайное, возникшее от некоторого политического положения Европы, и может быть устранено тоже некоторыми политическими соображениями, без изменения внутреннего строя жизни.

Это совершенно несправедливо. Общая воинская повинность есть только доведенное до своих последних пределов и ставшее очевидным, при известной степени материального развития, внутреннее противоречие, вкравшееся в общественное жизнепонимание.

Общественное жизнепонимание ведь состоит в том, что смысл жизни переносится из личности в совокупность и последовательность их – в племя, в семью, род или государство.

По общественному жизнепониманию предполагается, что, так как смысл жизни заключается в совокупности личностей, то личности сами добровольно жертвуют своими интересами для интересов совокупности. Так это и было и есть в действительности при известных формах совокупностей, в семье или племени, безразлично от того, что чему предшествовало, или в роде и даже в патриархальном государстве. Вследствие обычая, передаваемого воспитанием и подтверждаемого религиозным внушением, личности без принуждения сливали свои интересы с интересами совокупности и жертвовали своими для общего.

Но чем сложнее становились общества, чем больше они становились, в особенности чем чаще завоевание было причиной соединения людей в обществе, тем чаще личности стремились к достижению своих целей в ущерб общему и тем чаще для ограничения этих непокоряющихся личностей понадобилось употребление власти, т. е. насилия.

Защитники общественного жизнепонимания обыкновенно стараются смешать понятие власти, т. е. насилия, с понятием духовного влияния, но смешение это совершенно невозможно.

Влияние духовное есть такое воздействие на человека, вследствие которого изменяются самые желания человека и совпадают с тем, что от него требуют. Человек, подчиняющийся влиянию духовному, действует соответственно своим желаниям. Власть же, как обыкновенно понимают это слово, есть средство принуждения человека поступать противно своим желаниям. Человек, подчиняющийся власти, действует не так, как он хочет, а так, как его заставляет действовать власть. Заставить же человека делать не то, что он хочет, а то, чего он не хочет, может только физическое насилие или угроза им, т. е. лишение свободы, побои, увечья или легко исполнимые угрозы совершения этих действий. В этом состоит и всегда состояла власть.

Несмотря на непрерывающиеся усилия находящихся во власти людей скрыть это и придать власти другое значение, власть есть приложение к человеку веревки, цепи, которой его свяжут и потащат, или кнута, которым его будут сечь, или ножа, топора, которым ему отрубят руки, ноги, нос, уши, голову, приложение этих средств или угроза ими. И так это было при Нероне и Чингисхане и так это и теперь, при самом либеральном правлении, в американской и французской республике. Если люди подчиняются власти, то только потому, что они боятся того, что, в случае неподчинения их, к ним будут приложены эти действия. Все правительственные требования уплаты податей, исполнения общественных дел, подчинения себя накладываемым наказаниям, изгнания, штрафы и т.п., которым люди как будто подчиняются добровольно, в основе всегда имеют телесное насилие или угрозу его.

Основа власти есть телесное насилие. Возможность же совершать над людьми телесное насилие прежде всего дает организация вооруженных людей такая, при которой все вооруженные люди действуют согласно, подчиняясь одной воле. Такие собрания вооруженных людей, подчиняющихся одной воле, составляют войско. Войско всегда и стояло и теперь стоит в основе власти. Всегда власть находится в руках тех, кто повелевает войском, и всегда все властители – от римских кесарей до русских и немецких императоров – озабочены более всего войском, заискивают только в войске, зная, что если войско с ними, то власть в их руках.

Вот это-то образование и увеличение войска, необходимого для поддержания власти, и внесло в общественное непонимание разлагающее его начало.

Цель власти и оправдание ее состоит в ограничении тех людей, которые захотели бы достигать своих интересов в ущерб интересам совокупности. Но приобреталась ли власть образованием нового войска, наследством или выбором, люди, посредством войска имеющие власть, ничем не отличались от других людей и потому точно так же, как и другие люди, были склонны не подчинять свои интересы интересам совокупности, а, напротив, имея в своих руках возможность это делать, были более склонны, чем все другие, подчинять общие интересы своим. Сколько ни придумывали люди средств для того, чтобы лишить людей, стоящих у власти, возможности подчинять общие интересы своим, или для того, чтобы передавать

власть только людям непогрешимым, до сих пор не найдено средств для достижения ни того, ни другого.

Все употребляемые приемы, и Божеского благословения, и выбора, и наследственности, и голосований, и выборов, и собраний, и парламентов, и сенатов – все эти меры оказывались и оказываются недействительными. Все знают, что ни один из этих приемов не достигает ни цели вручения власти только непогрешимым людям, ни препятствования злоупотреблениям ее. Все знают, что, напротив, люди, находящиеся у власти – будь они императоры, министры, полицеймейстеры, городовые, – всегда, вследствие того что они имеют власть, делаются более склонными к безнравственности, т. е. подчинению общих интересов личным, чем люди, не имеющие власти, как это и не может быть иначе.

Общественное жизнепонимание оправдывалось только до тех пор, пока все люди добровольно жертвовали своими интересами интересам общего; но как скоро явились люди, добровольно не жертвовавшие своими интересами, и понадобилась власть, т. е. насилие для ограничения этих личностей, так в общественное жизнепонимание и основанное на нем устройство вошло разлагающее его начало власти, т. е. насилие одних людей над другими.

Для того, чтобы власть одних людей над другими достигала своей цели ограничения людей, стремившихся к личным целям в ущерб общего, нужно было, чтобы власть находилась в руках людей непогрешимых, как это предполагается у китайцев или как это предполагалось в Средние века и теперь для людей, верующих в святость помазания. Только при этом условии получало свое оправдание общественное устройство.

Но так как этого нет, а, напротив, люди, имеющие власть, именно вследствие обладания властью всегда не святы, то общественное устройство, основанное на власти, не могло уже иметь оправдания.

Если и было время, что при известном низком уровне нравственности и при всеобщем расположении людей к насилию друг над другом существование власти, ограничивающей эти насилия, было выгодно, т. е. что насилие государственное было меньше насилия личностей друг над другом, то нельзя не видеть того, что такое

преимущество государственности над отсутствием ее не могло быть постоянно. Чем более уменьшалось стремление к насилию личностей, чем более смягчались нравы и чем более развращалась власть вследствие своей нестесненности, тем преимущество это становилось все меньше и меньше.

В этом изменении отношения между нравственным развитием масс и развращенностью правительств и состоит вся история последних двух тысячелетий.

В самом простом виде дело происходило так: люди жили племенами, семьями, родами и враждовали, насиловали, разоряли, убивали друг друга. Насилия эти происходили в малых и больших размерах: личность боролась с личностью, племя с племенем, семья с семьей, род с родом, народ с народом. Большие, сильнеешие совокупности завладевали слабейшими, и чем больше и сильнее становилась совокупность людей, тем меньше происходило в ней внутренних насилий и тем обеспеченнее казалась продолжительность жизни совокупности.

Члены племени или семьи, соединяясь в одну совокупность, менее враждуют между собой, и племя и семья не умирают, как один человек, а продолжают свое существование: между членами одного государства, подчиненными одной власти, борьба кажется еще слабее, и жизнь государства кажется еще обеспеченнее.

Соединения эти всё в большие и большие совокупности происходили не потому, чтобы люди сознательно признавали такие соединения более для себя выгодными, как это описывается в басне о призвании варягов, а вследствие, с одной стороны, естественного роста, с другой – борьбы и завоеваний.

Когда завоевание уже совершилось, власть завоевателя действительно прекращает междоусобия, и общественное жизнепонимание получает подтверждение. Но подтверждение это только временное. Внутренние междоусобия прекращаются только в той мере, в которой увеличивается давление власти над прежде враждовавшими между собой личностями. Насилие внутренней борьбы, уничтожаемое властью, зарождается в самой власти. Власть находится в руках людей таких же, как все, т. е. таких, которые всегда или часто готовы пожертвовать общим благом для своего личного, с тою только разницею, что люди эти не имеют умеряющей их силы противодействия насилуемых и подвержены всему

развращающему влиянию власти. И потому зло насилия, переходя в руки власти, всегда увеличивается и увеличивается и становится со временем больше, чем то, которое предполагается, что оно уничтожает, между тем как в членах общества склонность к насилию всё более и более ослабевает и насилие власти становится всё менее и менее нужным.

Государственная власть, если она и уничтожает внутренние насилия, вносит всегда в жизнь людей новые насилия и всегда всё большие и большие, по мере своей продолжительности и усиления.

Так что хотя в государстве насилие власти и менее заметно, чем насилие членов общества друг над другом, так как оно выражается не борьбой, а покорностью, но насилие тем не менее существует и большей частью в сильнейшей степени, чем прежде. И это не может быть иначе, потому что, кроме того, что обладание властью развращает людей, расчет или даже бессознательное стремление насилующих всегда будет состоять в том, чтобы довести насилуемых до наибольшего ослабления, так как чем слабее будет насилуемый, тем меньше потребуется усилий для подавления его.

И потому насилие над насилуемым всегда растет до того последнего предела, до которого оно может дойти, не убивая курицу, несущую золотые яйца. Если же курица эта не несется, как американские индейцы, фиджиане, негры, то убиваются, несмотря на искренние протесты филантропов против такого образа действий.

Лучшим подтверждением этого служит положение рабочих классов нашего времени, которые собственно суть не что иное, как покоренные люди.

Несмотря на все притворные старания высших классов облегчить положение рабочих, все рабочие нашего мира подчинены неизменному железному закону, по которому они имеют только столько, сколько им нужно, чтобы быть постоянно побуждаемыми нуждой к работе и быть в силе работать на своих хозяев, т. е. завоевателей.

Так это всегда было. Всегда, по мере продолжительности и усиления власти, терялись ее выгоды для тех, которые подчинялись ей, и увеличивались ее невыгоды.

Так это было и есть, независимо от тех форм правления, в которых жили народы. Разница только в том, что при деспотической форме правления власть сосредоточивается в малом числе насилующих и форма насилия более резкая; при конституционных монархиях и республиках, как во Франции и Америке, власть распределяется между большим количеством насилующих и формы ее выражения менее резки; но дело насилия, при котором невыгоды власти больше выгод ее, и процесс его, доводящий насилуемых до последнего предела ослабления, до которого они могут быть доведены для выгоды насилующих, всегда одни и те же.

Таково было и есть положение всех насилуемых, но до сих пор они не знали этого и в большинстве случаев наивно верили, что правительства существуют для их блага; что без правительств они погибли бы; что мысль о том, что люди могут жить без правительств, есть кощунство, которое нельзя даже и произносить; что это есть – почему-то страшное – учение анархизма, с которым соединяется представление всяких ужасов.

Люди верили, как чему-то вполне доказанному и потому не требующему доказательств, тому, что, так как до сих пор все народы развивались в государственной форме, то эта форма и навсегда есть необходимое условие развития человечества.

Так это продолжалось сотни, тысячи лет, и правительства, т. е. люди, находящиеся во власти, старались и теперь всё более стараются поддерживать народы в этом заблуждении.

Так это было при римских императорах, так это и теперь. Несмотря на то, что мысль о бесполезности и даже вреде государственного насилия всё больше и больше входит в сознание людей, так это продолжалось бы вечно, если бы правительствам не было необходимости для поддержания своей власти усиливать войска.

Обыкновенно думают, что войска усиливаются правительствами только для обороны государства от других государств, забывая то, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведенных в рабство подданных.

Это нужно было всегда и всё становилось нужнее и нужнее по мере развивающегося образования в народах, по мере усиления общения между людьми одной и разных национальностей и стало особенно необходимо теперь, при коммунистическом, социалистическом, анархистическом и общем рабочем движении. И правительства чувствуют это и увеличивают свою главную силу дисциплинированного войска (\*).

(\* То, что в Америке злоупотребления власти существуют, несмотря на малое количество войска, не только не опровергает, но только поддерживает это положение. В Америке меньше войска, чем в других государствах, и потому нигде нет меньшего угнетения подавленных классов и нигде не предвидится так близко уничтожение злоупотреблений правительства и самого правительства. В Америке же в последнее время, по мере усиления единения между рабочими, слышатся всё чаще и чаще голоса, требующие увеличения войска, хотя никакое внешнее нападение не угрожает Америке. Высшие правящие классы знают, что 50 тысяч войска скоро будет недостаточно, и, не надеясь уже на армию Пинкертонa, чуют, что обеспечение их положения только в усилении войска. \*)

Недавно в германском рейхстаге, отвечая на запрос о том, почему нужны деньги для прибавления жалованья унтер-офицерам, германский канцлер прямо объявил, что нужны надежные унтер-офицеры для того, чтобы бороться против социализма. Каприви сказал во всеуслышание только то, что всякий знает, хотя это и старательно скрывается от народов; он сказал то, почему нанимались гвардии швейцарцев и шотландцев к французским королям и папам, почему в России старательно перетасовывают рекрут так, чтобы полки, стоящие в центрах, комплектовались рекрутами с окраин, а полки на окраинах – людьми из центра России. Смысл речи Киприви, переведенной на простой язык, тот, что деньги нужны не для противодействия внешним врагам, а для подкупа унтер-офицеров, с тем чтобы они были готовы действовать против подавленного рабочего народа.



Каприви нечаянно сказал то, что каждый очень хорошо знает, а если не знает, то чувствует, а именно то, что существующий строй жизни таков, какой он есть, не потому, что он естественно должен быть таким, что народ хочет, чтобы он был таков, но потому, что его таким поддерживает насилие правительств, войско со своими подкупленными унтер-офицерами и генералами.

Если у рабочего человека нет земли, нет возможности пользоваться самым естественным правом каждого человека извлекать из земли для себя и своей семьи средства пропитания, то это не потому, что этого хочет народ, а потому, что некоторым людям, землевладельцам, предоставлено право допускать и не допускать к этому рабочих людей. И такой противоестественный порядок поддерживается войском. Если огромные богатства, накопленные рабочими, считаются принадлежащими не всем, а исключительным лицам; если власть собирать подати с труда и употреблять эти деньги, на что они это найдут нужным, предоставлена некоторым людям; если стачкам рабочих противодействуется, а стачки капиталистов поощряются, если некоторым людям предоставляется избирать способ религиозного и гражданского обучения и воспитания детей; если некоторым лицам предоставлено право составлять законы, которым все должны подчиняться, и распоряжаться имуществом и жизнью людей, – то все это происходит не потому, что народ этого хочет и что так естественно должно быть, а потому, что этого для своих выгод хотят правительства и правящие классы и посредством физического насилия над телами людей устанавливают это.

Каждый, если еще не знает того, то узнает при всякой попытке неподчинения или изменения такого порядка вещей. И потому войска прежде всего нужны всякому правительству и правящим классам для того, чтобы поддержать тот порядок вещей, который не только не вытекает из потребности народа, но часто прямо противоположен ему и выгоден только правительству и правящим классам.

Войска нужны всякому правительству прежде всего для содержания в покорности своих подданных и для пользования их трудами. Но правительство не одно: рядом с ним другое правительство, точно так же насилием пользующееся своими подданными и всегда готовое отнять у другого правительства труды его уже

приведенных рабство подданных. И потому каждое правительство нуждается в войске не только для внутреннего употребления, но и для ограждения своей добычи от соседних хищников. Каждое государство вследствие этого невольно приведено к необходимости друг перед другом увеличивать войска. Увеличение же войск заразительно, как это еще 150 лет тому назад заметил Монтескье.

Всякое увеличение войска в одном государстве, направленное "против своих подданных, становится опасным для соседа и вызывает увеличение и в соседних государствах.

Войска доросли до тех миллионов, до которых они доросли теперь, не только оттого, что государствам угрожали соседи; это произошло прежде всего оттого, что надо подавлять все попытки возмущения подданных. Увеличение войск происходило одновременно от двух причин, вызывающих одна другую: войска нужны и против своих внутренних врагов и для того, чтобы отстаивать свое положение против соседей. Одно обуславливает другое. Деспотизм правительства всегда увеличивается по мере увеличения и усиления войск и успехов внешних, и агрессивность правительств увеличивается по мере усиления внутреннего деспотизма.

Вследствие этого-то европейские правительства одно перед другим, всё усиливая и усиливая войска, пришли к неизбежной необходимости – общей воинской повинности, так как общая воинская повинность была средством получить наибольшее количество войска во время войны при наименьших расходах. Германия первая догадалась сделать это. И как скоро это сделало одно государство, другие должны были сделать то же. А как скоро это сделалось, сделалось то, что все граждане стали под ружье для того, чтобы поддерживать все те несправедливости, которые против них производились; сделалось то, что все граждане стали угнетателями самих себя.

Общая воинская повинность была неизбежная логическая необходимость, к которой нельзя было не прийти, но вместе с тем она же есть последнее выражение внутреннего противоречия общественного непонимания, возникшего тогда, когда для поддержания его понадобилось насилие. В общей воинской повинности противоречие это стало очевидным. В самом деле: ведь смысл общественного

жизнепонимания состоит в том, что человек, сознавая жестокость борьбы личностей между собою и погибельность самой личности, переносит смысл своей жизни в совокупности личностей. При общей же воинской повинности выходит то, что люди, принеся все требуемые от них жертвы для того, чтобы избавиться от жестокости борьбы и от непрочности жизни, после всех принесенных жертв призываются опять ко всем тем опасностям, от которых они думали избавиться, и кроме того та совокупность – государство, во имя которой личности отреклись от своих выгод, подвергается опять такой же опасности уничтожения, какой прежде подвергалась сама личность.

Правительства должны были избавить людей от жестокости борьбы личностей и дать им уверенность в ненарушимости порядка жизни государственной, а вместо этого они накладывают на личность необходимость той же борьбы, только отодвинув ее от борьбы с ближайшими личностями к борьбе с личностями других государств, и оставляют ту же опасность уничтожения и личности и государства.

Учреждение общей воинской повинности подобно тому, что случилось бы с человеком, подпирающим заваливающийся дом: стены нагнулись внутрь – поставили подпорки; потолок погнулся – поставили другие; между подпорками провисли доски – еще поставили подпорки. Дошло дело до того, что подпорки хотя и держат дом, но жить в доме от подпорок уже нельзя.

То же с общей воинской повинностью. Общая воинская повинность разрушает все те выгоды общественной жизни, которые она призвана хранить.

Выгоды общественной жизни состоят в обеспечении собственности, труда и содействии совокупному усовершенствованию жизни – общая воинская повинность уничтожает всё это.

Подати, собираемые с народа для приготовления к войне, поглощают большую долю произведений труда, которые должно охранять войско.

Отрывание всех мужчин от обычного течения жизни нарушает возможность самого труда.

Угрозы войны, готовой всякую минуту разразиться, делают бесполезными и тщетными все усовершенствования общественной жизни.

Если прежде человеку говорили, что он без подчинения власти государства будет подвержен нападениям злых людей, внутренних и внешних врагов, будет вынужден сам бороться с ними, подвергаться убийству, что поэтому ему выгодно нести некоторые лишения для избавления себя от этих бед, что человек мог верить этому, так как жертвы, которые он приносил государству, были только жертвы частные и давали ему надежду на спокойную жизнь в неуничтожающемся государстве, во имя которого он принес свои жертвы. Но теперь, когда жертвы эти не только возросли в десять раз, а обещанные ему выгоды отсутствуют, естественно каждому подумать, что подчинение его власти совершенно бесполезно.

Но не в этом одном роковое значение общей воинской повинности как проявления того противоречия, которое заключается в общественном непонимании. Главное проявление этого противоречия заключается в том, что при общей воинской повинности всякий гражданин, делаясь солдатом, становится поддерживателем государственного устройства и участником всего того, что делает государство и законность чего он не признает.

Правительства утверждают, что войска нужны преимущественно для внешней обороны, но это несправедливо. Они нужны прежде всего против своих подданных, и всякий человек, отбывающий воинскую повинность, невольно становится участником всего насилия государства над своими подданными.

Для того, чтобы убедиться в том, что каждый человек, исполняющий воинскую повинность, становится участником таких дел государства, которые он не признает и не может признавать, пусть всякий вспомнит только то, что творится в каждом государстве во имя порядка и блага народов и исполнителем чего всегда является войско. Все междоусобия династические и различных партий, все казни, сопряженные с этими смутами, все подавления восстаний, все употребления военной силы для разогнания скопищ народа, подавления стачек, все вымогательства податей, все несправедливости распределения земельной собственности, все стеснения труда – всё это производится если не прямо войсками, то полицией, поддерживаемой войсками. Отбывающий воинскую повинность становится участником всех этих дел, дел в некоторых случаях сомнительных для него, но во

многих случаях прямо противных его совести. Люди не хотят уйти с той земли, которую они обрабатывали поколениями; люди не хотят разойтись, как того требует правительство; люди не хотят платить подати, которые с них требуют; люди не хотят признать для себя обязательности законов, которые не они делали; люди не хотят лишиться своей национальности, — и я, исполняя воинскую повинность, должен прийти и бить этих людей. Не могу я, будучи участником этих дел, не спросить себя, хороши ли эти дела? И следует ли мне содействовать исполнению их?

Общая воинская повинность есть для правительств последняя степень насилия, необходимая для поддержания всего здания; для подданных же она есть последний предел возможности повиновения. Это есть тот камень замка в своде, который держит стены и извлечение которого рушит всё здание.

Пришло время, когда всё усиливающиеся и усиливающиеся злоупотребления правительств и борьба их между собой сделали то, что от каждого подданного потребовались такие не только материальные, но и нравственные жертвы, при которых каждому пришлось задуматься и спросить себя, могу ли я принести эти жертвы? И во имя чего должен я приносить эти жертвы? Жертвы эти требуются во имя государства. Во имя государства требуется от меня отречение от всего, что только может быть дорого человеку: от спокойствия, семьи, безопасности, человеческого достоинства. Что же такое это государство, для которого требуются такие страшные жертвы? И для чего оно так необходимо нужно?

"Государство, — говорят нам, — необходимо нужно, во-первых, потому, что без государства я и все мы не были бы ограждены от насилия и нападения злых людей; во-вторых, без государства мы бы были дикими и не имели бы ни религиозных, ни образовательных, ни воспитательных, ни торговых, ни путесообщительных, ни других общественных учреждений; и, в-третьих, потому, что без государства мы бы были подвержены порабощению нас соседними народами".

"Без государства, — говорят нам, — мы бы были подвержены насилиям и нападениям злых людей в нашем же отечестве".

Но кто же эти среди нас злые люди, от насилия и нападения которых спасает нас государство и его войско? Если три, четыре века тому назад, когда люди гордились

своим военным искусством, вооружением, когда убивать людей считалось доблестью, были такие люди, то ведь теперь таких людей нет, а все люди нашего времени не употребляют и не носят оружия, и все, исповедуя правила человеколюбия, сострадания к ближним, желают того же, что и мы, — только возможности спокойной и мирной жизни. Так что теперь уже нет особенных насильников, от которых государство могло защищать нас. Если же под людьми, от нападения которых спасает нас государство, разуместь тех людей, которые совершают преступления, то мы знаем, что это не суть особенные существа, вроде хищных зверей между овец, а суть такие же люди, как и все мы, и точно так же не любящие совершать преступления, как и те, против которых они их совершают. Мы знаем теперь, что угрозы и наказания не могут уменьшить количества таких людей, а уменьшает его только изменение среды и нравственное воздействие на людей. Так что объяснение необходимости государственного насилия ограждением людей от насильников, если и имело основание три, четыре века тому назад, теперь не имеет никакого. Теперь скорее можно сказать обратное: именно то, что деятельность правительств с своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приемами наказаний, тюрем, каторг, виселиц, гильотин скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников.

"Без государства, — говорят еще, — не было бы всех тех учреждений воспитательных, образовательных, религиозных, путесообщительных и других. Без государства люди не умели бы учредить общественных нужных для всех дел". Но этот довод мог иметь основание тоже только несколько веков тому назад.

Если было время, когда люди были так разобщены между собою, так мало были выработаны средства сближения и передачи мыслей, что они не могли сговориться и согласиться ни в каком общем ни торговом, ни экономическом, ни образовательном деле без государственного центра, то теперь уже нет этой разобщенности. Широко развившиеся средства общения и передачи мыслей сделали то, что для образования обществ, собраний, корпораций, конгрессов, ученых, экономических, политических учреждений люди нашего времени не только вполне могут обходиться без

правительств, но что правительства в большей части случаев скорее мешают, чем содействуют достижению этих целей.

С конца прошлого столетия едва ли не всякий шаг вперед человечества не только не поощрялся, но всегда задерживался правительством. Так это было с уничтожением телесного наказания, пыток, рабства, с установлением свободы печати и собраний. В наше же время государственная власть и правительства не только не содействуют, но прямо препятствуют всей той деятельности, посредством которой люди вырабатывают себе новые формы жизни. Решения вопросов рабочего, земельного, политического, религиозного не только не поощряются, но прямо задерживаются государственною властью.

"Без государства и правительства народы были бы порабощаемы соседями".

Едва ли нужно еще возражать на этот последний довод. Возражение находится в нем самом.

Правительства, как это говорят нам, необходимы со своими войсками для защиты от могущих поработить нас соседних государств. Но ведь это говорят все правительства друг про друга, и вместе с тем мы знаем, что все европейские народы исповедуют одинаковые принципы свободы и братства и потому не нуждаются в защите друг от друга. Если же говорить о защите от варваров, то для этого достаточно 0,001 тех войск, которые стоят теперь под ружьем. Так что выходит обратное тому, что говорится: государственная власть не только не спасает от опасности нападения соседей, а напротив, она-то и производит опасность нападения.

Так что для всякого человека, посредством воинской повинности поставленного в необходимость вдуматься в значение государства, во имя которого от него требуется жертва его спокойствия, безопасности и жизни, не может не быть ясным, что для жертв этих нет уже в наше время никакого основания.

Но мало того, что, рассуждая теоретически, всякий человек не может не видеть, что жертвы, требуемые государством, не имеют никакого основания; даже рассуждая практически, т.е. взвешивая все те тяжелые условия, в которые поставлен человек государством, всякий не может не видеть, что для себя лично исполнение

требований государства и подчинение себя воинской повинности для него в большинстве случаев невыгоднее, чем отказ от нее.

Если большинство людей предпочитает подчинение неподчинению, то это происходит не вследствие трезвого взвешивания выгод и невыгод, а потому, что к подчинению привлекает людей гипнотизация, которой они при этом подвергаются. Подчиняясь, люди только покоряются тем требованиям, которые к ним предъявляются, не рассуждая и не делая усилия воли; для неподчинения нужно самостоятельное рассуждение и усилие, на которое не каждый бывает способен. Если же, исключив нравственное значение подчинения и неподчинения, сообразовываться только с одними выгодами, то неподчинение в общем всегда будет выгоднее подчинения.

Кто бы я ни был, человек ли, принадлежащий к достаточным, угнетающим классам или к рабочим, угнетенным, и в том и в другом случае невыгоды неподчинения меньше, чем невыгоды подчинения, и выгоды неподчинения больше выгод подчинения.

Если я принадлежу к меньшинству угнетателей, невыгоды неподчинения требованиям правительства будут состоять в том, что меня, как отказавшегося исполнить требования правительства, будут судить и в лучшем случае или оправдают, или, как поступают у нас с менонитами, – заставят отбывать срок службы на невоенной работе; в худшем же случае приговорят к ссылке или заключению в тюрьму на два, три года (я говорю по примерам, бывшим в России), или, может быть, и на более долгое заключение, может быть, и на казнь, хотя вероятие такого наказания очень мало.

Таковы невыгоды неподчинения. Невыгоды же подчинения будут состоять в следующем: в лучшем случае меня не пошлют на убийства людей и самого не подвергнут большим вероятностям искалечения и смерти, а только зачислят в военное рабство: я буду наряжен в шутовской наряд, мною будет помыкать всякий человек, выше меня чином, от ефрейтора до фельдмаршала, меня заставят кривляться телом, как им этого хочется, и, продержав меня от одного до пяти лет, оставят на десять лет в положении готовности всякую минуту явиться опять на исполнение всех этих дел.



В худшем же случае будет то, что при всех тех же прежних условиях рабства меня еще пошлют на войну, где я вынужден буду убивать ничего не сделавших мне людей чужих народов, где могу быть искалечен и убит и где могу попасть в такое место, как это бывало в Севастополе и как бывает во всякой войне, где люди посылаются на верную смерть, и, что мучительнее всего, могу быть послан против своих же соотечественников и должен буду убивать своих братьев для династических или совершенно чуждых мне правительственных интересов. Таковы сравнительные невыгоды.

Сравнительные же выгоды подчинения и неподчинения следующие. Для неотказавшегося выгоды будут состоять в том, что он, подвергнувшись всем унижениям и исполнив все жестокости, которые от него требуются, может, не будучи убитым, получить украшения красные, золотые, мишурные на свой шутовской наряд, может в лучшем случае распоряжаться над сотнями тысяч таких же, как и он, оскотиненных людей и называться фельдмаршалом и получить много денег.

Выгоды же отказавшегося будут состоять в том, что он сохранит свое человеческое достоинство, получит уважение добрых людей и, главное, будет несомненно знать, что он делает дело Божье, и потому несомненное добро людям.

Таковы выгоды и невыгоды с обеих сторон для человека из богатых классов, для угнетателя; для человека же бедного рабочего класса выгоды и невыгоды будут те же, но с важным прибавлением невыгод. Невыгоды для человека из рабочего класса, не отказавшегося от военной службы, будут еще состоять в том, что, поступая в военную службу, он своим участием и как бы согласием закрепляет то угнетение, в котором находится он сам.

Но не соображения о том, насколько нужно и полезно для людей то государство, которое они призываются поддерживать своим участием в военной службе, еще менее соображения о выгодах и невыгодах для каждого его подчинения или неподчинения требованиям правительства решают вопрос о необходимости существования или уничтожения государства. Решает этот вопрос бесповоротно и безапелляционно религиозное сознание или совесть каждого отдельного человека,

перед которым невольно с общей воинской повинностью становится вопрос о существовании или несуществовании государства.

## VIII

Часто говорят, что если христианство есть истина, то оно должно бы было быть принято всеми людьми тогда же, когда появилось, и тогда должно бы было изменить жизнь людей и сделать ее лучшею. Но говорить так, всё равно что говорить, что если бы зерно было всхоже, то оно должно тотчас же дать росток, цвет и плод.

Христианское учение не есть законодательство, которое, будучи введено насилием, может тотчас же изменить жизнь людей. Христианство есть иное, чем прежнее, новое, высшее понимание жизни. Новое же понимание жизни не может быть предписано, а может быть только свободно усвоено.

Свободно же усвоено новое жизнепонимание может быть только двумя способами: духовным – внутренним и опытным – внешним.

Одни люди – меньшинство – тотчас же, сразу пророческим чувством указывают истинность учения, отдаются ему и исполняют его. Другие – большинство – только длинным путем ошибок, опытов и страданий приводятся к познанию истинности учения и необходимости усвоения его.

И вот к этой-то необходимости усвоения учения опытным, внешним способом и приведено теперь всё большинство людей христианского человечества.

Иногда думается: для чего было нужно то извращение христианства, которое и теперь более всего другого мешает принятию его в его истинном значении. А между тем это-то извращение христианства, приведши людей в то положение, в котором они находятся теперь, и было необходимым условием того, чтобы большинство людей могло воспринять его в его истинном значении.

Если бы христианство предлагалось людям в его истинном, а не извращенном виде, то оно бы не было принято большинством людей и большинство это осталось бы чуждым ему, как чужды ему теперь народы Азии. Приняв же его в извращенном виде, народы, принявшие его, подверглись хотя и медленному, но верному

воздействию его и длинным, опытным путем ошибок и вытекающих из них страданий приведены теперь к необходимости усвоения его в его истинном значении.

Извращение христианства и принятие его в извращенном виде большинством людей было так же необходимо, как и то, чтобы для того, чтобы оно возшло, посеянное зерно было на время скрыто землей.

Христианское учение есть учение истины и вместе с тем пророчество.

Тысяча восемьсот лет тому назад христианское учение открыло людям истину о том, как им должно жить, и вместе с тем предсказало то, чем будет жизнь человеческая, если люди не будут так жить, а будут продолжать жить теми основами, которыми они жили до него, и чем она будет, если они примут христианское учение и будут в жизни исполнять его.

Преподав в нагорной проповеди то учение, которое должно руководить жизнью людей, Христос сказал: "И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое" (Мф. VII, 24-27).

И вот после 18 веков пророчество совершилось. Не следуя учению Христа вообще и проявлению его в общественной жизни непротивлением злу, люди невольно пришли к тому положению неизбежности гибели, которое обещано Христом тем, которые не последуют его учению.

Люди часто думают, что вопрос о противлении или непротивлении злу насилем есть вопрос придуманный, вопрос, который можно обойти. А между тем это – вопрос, самую жизнью поставленный перед всеми людьми и перед всяким мыслящим человеком и неизбежно требующий своего разрешения. Вопрос этот для людей в их общественной жизни с тех пор, как проповедано христианское учение, есть, то же, что для путешественника вопрос о том, по какой из двух дорог идти,

когда он приходит к разветвлению того пути, по которому шел. Идти надо, и нельзя сказать: не буду думать и буду идти, как шел прежде. Прежде была одна дорога, а теперь стало две, и нельзя идти, как шел прежде, а неизбежно выбрать одну из двух.

Так точно и нельзя сказать с тех пор, как учение Христа стало известно людям: буду жить, как я жил прежде, не решая вопроса о противлении или непротивлении злу насилем. Надо неизбежно при возникновении каждой борьбы решить: противиться или не противиться насилем тому, что я считаю злом, насилем.

Вопрос о противлении или непротивлении злу насилем возник тогда, когда появилась первая борьба между людьми, так как всякая борьба есть не что иное, как противление насилем тому, что каждый из борющихся считает злом. Но люди до Христа не видели того, что противление насилем тому, что каждый считает злом, только потому, что он считает злом то, что другой считает добром, есть только один из способов разрешения борьбы, а что другой способ состоит в том, чтобы вовсе не противиться злу насилем.

До учения Христа людям представлялось, что есть только один способ разрешения борьбы посредством противления злу насилем, и так и поступали, стараясь при этом каждый из борющихся убедить себя и других в том, что то, что каждый считает злом, и есть действительное, абсолютное зло.

И для этого с древнейших времен люди стали придумывать такие определения зла, которые бы были обязательны для всех. И за такие определения зла, обязательные для всех, выдавались то постановления законов, которые, предполагалось, были получены сверхъестественным путем, то веления людей или собраний людей, которым приписывалось свойство непогрешимости. Люди употребляли насилие против других людей и уверяли себя и других, что насилие это они не употребляли против зла, признанного всеми.

Средство это употреблялось с древнейших времен в особенности теми людьми, которые захватили власть, и люди долгое время не видели неразумности этого средства.

Но чем дальше жили люди, чем сложнее становились их отношения, тем более становилось очевидным, что противиться насилем тому, что каждым считается

злом, – неразумно, что борьба от этого не уменьшается и что никакие людские определения не могут сделать того, чтобы то, что считается злом одними людьми, считалось бы таковым и другими.

Уже во времена появления христианства, в том месте, где оно появилось, в Римской империи для большого числа людей было ясно, что то, что Нероном и Калигулой считается злом, которому надо противиться насилием, не может считаться злом другими людьми. Уже тогда люди начинали понимать, что законы человеческие, выдаваемые за законы Божеские, писаны людьми, что люди не могут быть непогрешимы, каким бы они ни были облечены внешним величием, и что ошибающиеся люди не сделаются непогрешимыми оттого, что они соберутся вместе и назовутся сенатом или каким-нибудь другим таким именем. Тогда уже это чувствовалось и понималось многими. И тогда-то и было проповедуемо Христом его учение, состоящее не в том только, что не надо противиться злу насилием, а учение о новом понимании жизни, частью или, скорее, приложением которого к общественной жизни и было учение о средстве уничтожения борьбы между всеми людьми не тем, чтобы обязать только одну часть людей без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им, а тем, чтобы никому, следовательно и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилия ни против кого ни в каком случае.

Учение это было принято тогда только самым малым числом учеников, большинство же людей, в особенности все те, которые властвовали над людьми, и после номинального принятия христианства продолжало для себя держаться правила противления насилием тому, что ими считалось злом. Так шло это при римских и византийских императорах, так продолжалось это и после.

Несостоятельность принципа авторитетного определения того, что есть зло, и противления ему насилием, уже очевидная в первые века христианства, стала еще очевиднее при разложении Римской империи на многие равноправные государства, при их вражде между собою и при внутренней борьбе, происходившей в государствах.

Но люди не были готовы для принятия решения, данного Христом, и прежнее средство определения зла, которому надо противиться посредством установления обязательных для всех законов, приводившихся в исполнение силою, продолжало прилагаться. Решителем того, что должно было считать злом и чему противиться насилием, был то папа, то император, то король, то собрание выбранных, то весь народ. Но как внутри, так и вне государства всегда находились люди, не признававшие для себя обязательными ни постановлений, выдаваемых за веление божества, ни постановлений людей, облеченных святостью, ни учреждений, долженствовавшие представлять волю народа; и люди, которые считали добром то, что существующие власти считали злом, и таким же насилием, которое употреблялось против них, боролись против властей.

Люди, облеченные святостью, считали злом то, что люди и учреждения, облеченные светской властью, считали добром, и наоборот; и борьба становилась всё жесточе и жесточе. И чем дальше держались люди такого способа разрешения борьбы, тем очевиднее становилось, что этот способ не годится, потому что нет и не может быть такого внешнего авторитета определения зла, который признавался бы всеми.

Так продолжалось 18 веков и дошло до того, до чего дошло теперь, – до совершенной очевидности того, что внешнего обязательного для всех определения зла нет и не может быть. Дошло до того, что люди перестали не только верить в возможность отыскания этого общего, обязательного для всех определения, но перестали верить даже и в необходимость выставления такого определения. Дошло до того, что люди, имеющие власть, перестали уже доказывать то, что они считают злом, есть зло, но прямо стали говорить, что они считают злом то, что им не нравится, а люди, повинующиеся власти, стали повиноваться ей не потому уже, что верят, что определения зла, даваемые этой властью, справедливы, а только потому, что они не могут не повиноваться. Не потому присоединена Ницца к Франции, Лотарингия к Германии, Чехия к Австрии; не потому раздроблена Польша; не потому Ирландия и Индия подчиняются английскому правлению; не потому воюют с Китаем и убивают африканцев, не потому американцы изгоняют китайцев, а русские

теснят евреев; не потому землевладельцы пользуются землей, которую они не обрабатывают, и капиталисты произведениями труда, совершаемого другими, что это – добро, нужно и полезно людям и что противное этому есть зло, а только потому, что те, кто имеет власть, хотят, чтобы это так было. Сделалось то, что есть теперь: одни люди совершают насилия уже не во имя противодействия злу, а во имя своей выгоды или прихоти, а другие люди подчиняются насилию не потому, что они считают, как это предполагалось прежде, что насилие делается над ними во имя избавления их от зла и для их добра, а только потому, что они не могут избавиться от насилия.

Коли римлянин, средневековый, наш русский человек, каким я помню его за 50 лет тому назад, был несомненно убежден в том, что существующее насилие власти необходимо нужно для избавления его от зла, что подати, поборы, крепостное право, тюрьмы, плети, кнуты, каторги, казни, солдатство, войны так и должны быть, – то ведь теперь редко уже найдешь человека, который бы не только верил, что все совершающиеся насилия избавляют кого-нибудь от какого-нибудь зла, но который не видел бы ясно, что большинство тех насилий, которым он подлежит и в которых отчасти принимает участие, суть сами по себе большое и бесполезное зло.

Нет теперь человека, который бы не видел не только бесполезности, но и нелепости собирания податей с трудового народа для обогащения праздных чиновников или бессмысленности наложения наказаний на развращенных и слабых людей в виде ссылок из одного места в другое или в виде заключения в тюрьмы, где они, живя в обеспечении и праздности, только еще больше развращаются и ослабевают, или не только уже бесполезности и нелепости, но прямо безумия и жестокости военных приготовлений и войн разоряющих и губящих народ и не имеющих никакого объяснения и оправдания, а между тем эти насилия продолжаются и даже поддерживаются теми самыми людьми, которые видят их бесполезность, нелепость, жестокость и страдают от них.

Ведь если 50 лет тому назад богатый, праздный и рабочий, безграмотный человек оба одинаково были уверены, что их положение вечного праздника для одних и вечного труда для других определено самим Богом, то теперь уже не только в

Европе, но и в России, благодаря передвижениям населения, распространению грамотности и книгопечатанию, трудно найти из богачей и из бедняков такого человека, в которого бы не запало с той или другой стороны сомнение в справедливости такого порядка. Не только богачи знают, что они виноваты уже одним тем, что богаты, и стараются искупить свою вину, как прежде искупали грехи жертвами на церкви, жертвами на науку или искусство, но и большая половина рабочего народа прямо признает теперь существующий порядок ложным и подлежащим уничтожению или изменению. Одни люди, религиозные, каких у нас в России миллионы, так называемые сектанты, признают этот порядок ложным и подлежащим уничтожению на основании понятого в настоящем его смысле евангельского учения; другие считают его ложным на основании социалистических, коммунистических, анархических теорий, проникших теперь уже в низшие слои рабочего народа.

Насилие держится теперь уже не тем, что оно считается нужным, а только тем, что оно давно существует и так организовано людьми, которым оно выгодно, т. е. правительствами и правящими классами, что людям, которые находятся под их властью, нельзя вырваться из-под нее.

Правительства в наше время – все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные, – сделались тем, что так метко называл Герцен Чингис-ханом с телеграфами, т. е. организациями насилия, не имеющими в своей основе ничего, кроме самого грубого произвола, и вместе с тем пользующимися всеми теми средствами, которые выработала наука для совокупной общественной мирной деятельности свободных и равноправных людей и которые они употребляют для порабощения и угнетения людей.

Правительства и правящие классы опираются теперь не на право, даже не на подобие справедливости, а на такую, с помощью усовершенствований науки, искусную организацию, при которой все люди захвачены в круг насилия, из которого нет никакой возможности вырваться. Круг этот составляется теперь из четырех средств воздействия на людей. Средства эти все связаны между собою и поддерживаются одно другим, как звенья кольцом соединенной цепи.



Первое, самое старое средство есть средство устрашения. Средство это состоит в том, чтобы выставить существующее государственное устройство (какое бы оно ни было – свободное республиканское или самое дикое деспотическое) чем-то священным и неизменным и потому казнить самыми жестокими казнями все попытки изменения его. Средство это как употреблялось прежде, так употребляется и теперь неизменно везде, где есть правительства: в России против так называемых нигилистов, в Америке против анархистов, во Франции против империалистов, монархистов, коммунаров и анархистов. Железные дороги, телеграфы, телефоны, фотографии и усовершенствованный способ без убийства удаления людей навеки в одиночные заключения, где они, скрытые от людей, гибнут и забываются, и многие другие новейшие изобретения, которыми преимущественно перед другими пользуются правительства, дают им такую силу, что, если только раз власть попала в известные руки и полиция, явная и тайная, и администрация, и всякого рода прокуроры, тюремщики и палачи усердно работают, нет никакой возможности свергнуть правительство, как бы оно ни было безумно и жестоко.

Второе средство есть средство подкупа. Оно состоит в том, чтобы, отобрав от трудового рабочего народа посредством денежных податей его богатства, распределять эти богатства между чиновниками, обязанными за это вознаграждение поддерживать и усиливать порабощение народа.

Подкупленные чиновники эти от высших министров до низших писцов, составляя одну неразрывную сеть людей, связанных одним и тем же интересом кормления себя трудами народа, тем более обогащаемые, чем покорнее они исполняют волю правительств, всегда и везде, не останавливаясь ни перед какими средствами, во всех отраслях деятельности отстаивают словом и делом правительственное насилие, на котором и основано их благосостояние.

Третье средство есть то, что я не умею назвать иначе, как гипнотизация народа. Средство это состоит в том, чтобы задерживать духовное развитие людей и различными внушениями поддерживать их в отжитом уже человечеством понимании жизни, на котором зиждется власть правительств. Гипнотизация эта в настоящее время организована самым сложным образом и, начиная свое воздействие с детского

возраста, продолжается над людьми до их смерти. Начинается эта гипнотизация с первого возраста в нарочно для того устроенных и обязательных школах, в которых внушают детям воззрения на мир, свойственные их предкам и прямо противоречащие современному сознанию человечества. В странах, где есть государственная религия, детей обучают бессмысленным кощунствам церковных катехизисов, с указанием необходимости повиновения властям; в республиканских государствах их обучают дикому суеверию патриотизма и той же мнимой обязательности повиновения правительствам. В более взрослых годах гипнотизация эта продолжается над людьми поощрением и религиозного суеверия и патриотического. Религиозное суеверие поощряется устройством на собранные с народа средства храмов, процессий, памятников, празднеств, с помощью живописи, архитектуры, музыки, благовоний, одуряющих народ, и, главное, содержанием так называемого духовенства, обязанность которого состоит в том, чтобы своими представлениями, пафосом служб, проповедей, своим вмешательством в частную жизнь людей – при родах, при браках, при смертях – отуманивать людей и держать их в постоянном состоянии одурения. Патриотическое суеверие поощряется устройством правительствами и правящими классами на собранные с народа средства общественных торжеств, зрелищ, памятников, празднеств, располагающих людей к признанию исключительной значительности одного своего народа и величия одного своего государства и правителей его и к недоброжелательству и даже ненависти к другим народам. При этом деспотическими правительствами прямо воспрещается печатание и распространение книг и произнесение речей, просвещающих народ, и ссылаются или запираются все люди, могущие пробудить народ от его усыпления; кроме того, всеми правительствами без исключения скрывается от народа всё, могущее освободить его, и поощряется всё, развращающее его, как-то: писательство, поддерживающее народ в его дикости религиозных и патриотических суеверий, всякого рода чувственные увеселения, зрелища, цирки, театры и всякие даже физические средства одурения: как-то: табак, водка, составляющие главный доход государства; поощряется даже проституция, которая

не только признается, но организуется большинством правительств. Таково третье средство.

Четвертое средство состоит в том, чтобы посредством трех предшествующих средств выделять из всех таким образом закованных и одуренных людей еще некоторую часть людей для того, чтобы, подвергнув этих людей особым, усиленным способам одурения и озверения, сделать из них безвольные орудия всех тех жестокостей и зверств, которые понадобятся правительству. Достигается это одурение и озверение тем, что людей этих берут в том юношеском возрасте, когда в людях не успели еще твердо сложиться какие-либо ясные понятия о нравственности, и, удалив их от всех естественных человеческих условий жизни: дома, семьи, родины, разумного труда, запирают вместе в казармы, наряжают в особенное платье и заставляют их при воздействии криков, барабанов, музыки, блестящих предметов ежедневно делать известные, придуманные для этого движения и этими способами приводят их в такое состояние гипноза, при котором они уже перестают быть людьми, а становятся бессмысленными, покорными гипнотизатору машинами. Эти-то загипнотизированные, физически сильные, молодые люди (теперь при общей воинской повинности все молодые люди), снабженные орудиями убийства, всегда покорные власти правительств и готовые по его приказанию на всякое насилие, и составляют четвертое и главное средство порабощения людей.

Этим средством замыкается круг насилия. Устрашение, подкуп, гипнотизация приводят людей к тому, что они идут в солдаты; солдаты же дают власть и возможность и казнить людей, и обирать их (подкупая на эти деньги чиновников), и гипнотизировать, и вербовать их в те самые солдаты, которые дают власть делать всё это.

Круг замкнут, и вырваться из него силой нет никакой возможности. Если некоторые люди утверждают, что освобождение от насилия или хотя бы ослабление его может произойти вследствие того, что угнетенные люди, свергнув силою угнетающее правительство, заменят его новым, таким, при котором уже не будет нужно такого насилия и порабощения людей, и некоторые люди пытаются делать это, то эти люди только обманывают себя и других и этим не улучшают, а только

ухудшают положение людей. Деятельность этих людей только усиливает деспотизм правительств. Попытки освобождения этих людей дают только удобный предлог правительствам для усиления своей власти и вызывают усиление ее.

Если даже и допустить то, что вследствие особенно невыгодно сложившихся для правительства обстоятельств, как, например, во Франции в 1870 году, какое-либо из правительств было бы свергнуто силою и власть перешла бы в другие руки, то эта новая власть ни в каком случае не была бы менее угнетательной, чем прежняя, а всегда, напротив, защищая себя от всех озлобленных свергнутых врагов, была бы более деспотична и жестока, чем прежняя, как это и было при всех революциях.

Если социалисты и коммунисты считают злом индивидуалистическое капиталистическое устройство общества, анархисты считают злом и самое правительство, т. е. и монархисты, консерваторы, капиталисты, считающие злом социалистическое, коммунистическое устройство и анархию; и все эти партии не имеют иного, кроме насилия, средства соединить людей. Какая бы из этих партий ни восторжествовала, для введения в жизнь своих порядков, так же как и для удержания власти, она должна употребить не только все существующие средства насилия, но и придумать новые. Порабощены будут другие люди и людей будут принуждать к другому, но будет не только то же, но более жестокое насилие и порабощение, потому что вследствие борьбы усилится ненависть людей друг против друга и вместе с этим усилятся и выработаются новые средства порабощения.

Так всегда и было после всех революций и всех попыток революций, всех заговоров, всяких насильственных перемен правительств. Всякая борьба только усиливает средства порабощения тех, которые в данное время находятся во власти.

Положение людей нашего христианского мира и в особенности самые ходячие идеалы их с поразительной убедительностью доказывают это.

Остается теперь только одна область деятельности людской, не захваченная правительственной властью, – область семейная, экономическая, область частной жизни и труда. И эта область теперь, благодаря борьбе коммунистов и социалистов, уже понемногу захватывается правительствами, так что труд и отдых, помещение,

одежда, пища людей, всё понемногу, если только исполнятся желания реформаторов, будет определяться и назначаться правительствами.

Весь длинный 1800-летний ход жизни христианских народов неизбежно привел их опять к обойденной ими необходимости решения вопроса принятия или неприятия учения Христа и вытекающего из него для общественной жизни решения вопроса о противлении или непротивлении злу насилием, но только с тою разницею, что прежде люди могли принять и не принять решение, данное христианством, теперь же это решение стало неизбежно, потому что оно одно избавляет их от того положения рабства, в котором они, как в тенетах, запутали сами себя.

Но не одна бедственность положения людей приводит их к этой необходимости.

Рядом с отрицательным доказательством ложности языческого устройства шло и положительное доказательство истинности христианского учения.

Недаром в продолжение 18 веков лучшие люди всего христианского человечества, внутренним, духовным путем познав истины учения, свидетельствовали о них перед людьми, несмотря ни на какие угрозы, лишения, бедствия и мучения. Лучшие люди эти своим мученичеством запечатлевали истинность учения и передавали его массам.

Христианство проникало в сознание человечества не одним отрицательным путем доказательства невозможности продолжения языческой жизни, но и своим упрощением, уяснением, освобождением от примешавшихся к нему суеверий и распространением между всеми сословиями народа.

Восемнадцать веков исповедания христианства не прошли даром для людей, принявших его, хотя и внешним образом. Восемнадцать веков эти сделали то, что теперь люди, продолжая жить языческой жизнью, не соответствующей возрасту человечества, не только видят уже ясно всю бедственность того состояния, в котором они находятся, но в глубине души верят (только потому и живут, что верят) в то, что спасение от этого состояния только в исполнении христианского учения в его истинном значении. Как и когда совершится это спасение, все люди думают различно, соответственно своему умственному развитию и ходячим предрассудкам своей среды, но всякий человек нашего мира признает то, что спасение наше в

исполнении христианского учения. Одни верующие люди, признающие христианское учение божественным, считают, что спасение наступит тогда, когда все люди поверят в Христа и приблизится второе пришествие; другие, также признающие божественность учения Христа, считают, что спасение это произойдет через церковь, которая, подчинив себе всех людей, воспитает в них христианские добродетели и преобразует их жизнь. Третьи, не признающие Христа Богом, считают, что спасение людей произойдет через медленный, постепенный прогресс, при котором основы жизни языческой заменятся понемногу основами свободы, равенства, братства, т. е. христианскими основами; четвертые, проповедующие общественное переустройство, считают, что спасение произойдет тогда, когда посредством насильственного переворота люди будут принуждены к общности имущества, отсутствию правительств, коллективному, а не индивидуальному труду, т. е. к осуществлению одной из сторон христианского учения. Так или иначе, но все люди нашего времени в сознании своем не только отрицают существующий отживший языческий строй жизни, но и признают, часто сами не зная этого и считая себя врагами христианства, то, что спасение наше только в приложении к жизни христианского учения или части его в его истинном значении.

Христианство для большинства людей, как и сказал его учитель, не могло осуществиться сразу, а должно было разрастаться, как огромное дерево, из мельчайшего зерна. И так оно и разрасталось и разрослось теперь, если еще не в действительности, то в сознании людей нашего времени.

Теперь не одно меньшинство людей, всегда понимавших христианство внутренним путем, признает его в его истинном значении, но и всё то огромное большинство людей, кажущееся по своей общественной жизни столь далеко отстоящим от христианства.

Посмотрите на частную жизнь отдельных людей, прислушайтесь к тем оценкам поступков, которые люди делают, судя друг о друге, послушайте не только публичные проповеди и речи, но те наставления, которые дают родители и воспитатели своим воспитанникам, и вы увидите, что, как ни далека государственная, общественная, связанная насилием жизнь людей от осуществления

христианских истин в частной жизни, хорошими всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются только христианские добродетели; дурными всеми и для всех без исключения и бесспорно считаются антихристианские пороки. Лучшими людьми считаются те, которые самоотверженно посвящают свою жизнь на служение человечеству и жертвуют собой для других; худшими считаются себялюбивые, пользующиеся для своих личных выгод бедствиями ближних.

Если признаются еще некоторыми нетронутыми христианством людьми идеалы нехристианские: сила, храбрость, богатство, то это идеалы, переживаемые и разделяемые не всеми и не людьми, признаваемыми лучшими. Всеми же разделяемых, всегда признаваемых обязательными для всех других идеалов, кроме христианских, нет.

Положение нашего христианского человечества, если посмотреть на него извне, с своей жестокостью и своим рабством людей, действительно ужасно. Но если посмотреть на него со стороны его сознания, то зрелище представляется совершенно другое.

Всё зло нашей жизни как будто существует только потому, что оно давно делалось, и люди, которые делают его, не успели, не научились еще перестать это делать, но все они не желают делать его.

Всё это зло существует по какой-то другой, как будто не зависимой от сознания людей, причине.

Как ни странно и ни противоречиво это кажется, все люди нашего времени ненавидят тот самый порядок вещей, который они сами же поддерживают.

Кажется, Макс Мюллер рассказывает про удивление одного индейца, обращенного в христианство, который, усвоив сущность христианского учения, приехал в Европу и увидал жизнь христиан. Человек этот не мог прийти в себя от удивления перед действительностью, совершенно противоположной той, которую он ожидал найти среди христианских народов.

Если мы не удивляемся на то противоречие между нашими верованиями, убеждениями и поступками, то это происходит только оттого, что влияния, скрывающие от людей это противоречие, действуют и на нас. Стоит только

взглянуть на нашу жизнь с точки зрения того индейца, который понял христианство в его истинном значении без всяких уступок и приспособлений, и на те дикие зверства, которыми наполнена наша жизнь, чтобы ужаснуться перед теми противоречиями, среди которых мы живем, часто не замечая их.

Стоит только вспомнить приготовления к войнам, картечные, посеребренные пули, торпеды – и Красный Крест; устройство одиночных тюрем, опыты электрических казней – и заботы о благоденствии заключенных; филантропическую деятельность богачей – и их жизнь, производящую тех бедных, которых они благодетельствуют. И противоречия эти не происходят оттого, как это может показаться, что люди притворяются христианами, когда они язычники, а, напротив, оттого, что людям чего-то недостает или есть какая-то сила, которая мешает им быть тем, чем они уже чувствуют себя в своем сознании и чем они действительно хотят быть. Люди нашего времени не притворяются в том, что они ненавидят угнетение, неравенство, разделение людей и всякого рода жестокость не только к людям, но даже к животным, – они действительно ненавидят всё это, но не знают, как уничтожить это, или не решаются расстаться с тем, что поддерживает всё это и кажется им необходимым.

В самом деле, спросите порознь каждого человека нашего времени о том; считает ли он не только похвальным, но достойным человека нашего времени заниматься тем, чтобы, получая за это несоразмерное с трудами жалованье, собирать с народа – часто нищего – подати для того, чтобы на эти деньги строить пушки, торпеды и орудия убийства против людей, с которыми мы желаем быть мире и которые этого же самого желают по отношению нас; или тем, чтобы опять за жалованье посвящать всю свою жизнь на устройство этих орудий убийства, или на то, чтобы самому готовиться к убийству и готовить к этому людей? И спросите, похвально ли, и достойно ли человека, и свойственно ли христианину заниматься тем, чтобы опять за деньги ловить несчастных, заблудших, часто безграмотных, пьяных людей за то, что они присваивают чужую собственность в гораздо меньших размерах, чем мы ее присваиваем, и убивают людей не так, как это нами принято делать, и за это сажать их в тюрьмы, мучить и убивать? И похвально ли, достойно ли человека и



христианина опять за деньги проповедовать в народе вместо христианства заведомо нелепые и вредные суеверия? Достойно ли человека отнимать у ближнего для своей прихоти то, что необходимо ему для удовлетворения его первых потребностей, как это делают большие землевладельцы; или заставлять его нести сверхсильный, губящий жизнь труд для увеличения своих богатств, как это делают заводчики, фабриканты; или пользоваться нуждой людей для увеличения своих богатств, как это делают купцы? И всякий порознь, в особенности если один будет говорить про другого, скажет, что нет. И вместе с тем тот же самый человек, который видит всю гнусность этих поступков, сам, никем не принуждаемый, даже иногда и без денежной выгоды жалованья, сам, произвольно, из-за детского тщеславия, из-за фарфоровой побрякушки, ленточки, галунчика, которые ему позволяют надеть, сам произвольно идет в военную службу, в следователи, мировые судьи, министры, урядники, архиереи, дьячки, в должности, в которых ему необходимо делать все эти дела, постыдность и гнусность которых он не может не знать.

Знаю, что многие из этих людей будут с самоуверенностью доказывать, что они считают свое положение не только законным, но необходимым, будут в защиту свою говорить, что власти от Бога, что государственные должности необходимы для блага человечества, что богатство не противно христианству, что богатому юноше сказано отдать имение, только если он хочет быть совершен, что существующее теперь распределение богатств и торговля такими и должны быть и выгодны для всех и т. п. Но, как они ни стараются обмануть себя и других, все эти люди знают, что то, что они делают, противно всему тому, чему они верят, во имя чего они живут, и в глубине души, когда они остаются одни с своей совестью, им стыдно и больно вспомнить то, что они делают, особенно если гнусность их деятельности была указана им. Не может человек нашего времени, исповедуй он или не исповедуй божественности Христа, не знать, что участвовать в качестве ли царя, министра, губернатора, или урядника в том, чтобы продать у бедной семьи последнюю корову на подати для того, чтобы отдать эти деньги на пушки или на жалованье и пансионеры роскошествующим, праздным и вредным чиновникам; или участвовать в том, чтобы посадить в тюрьму кормильца семьи за то, что мы сами развратили его, и пустить

семью его по миру; или участвовать в грабежах и убийствах войн; или во внушении вместо Христова закона диких идолопоклоннических суеверий; или загнать забежавшую на свою землю корону человека, у которого нет земли; или с человека, работающего на фабрике, вычесть за нечаянно испорченный предмет; или содрать вдвое за предмет с бедного только потому, что он в крайней нужде; не может не знать ни один человек нашего времени, что все эти дела – скверные, постыдные и что делать их не надо. И все они знают это; все они знают, что то, что они делают, дурно, и ни за что бы не стали делать этого, если бы были в состоянии противостоять тем силам, которые, закрывая их глаза на преступность их поступков, влекут их к совершению их.

Ни на чем так поразительно не видна та степень противоречия, до которой дошла жизнь людей нашего времени, как на том самом явлении, которое составляет последнее и средство и выражение насилия, – на общей воинской повинности.

Ведь только оттого, что это состояние всеобщего вооружения и воинской повинности наступило шаг за шагом, незаметно и что для поддержания его правительствами употребляются все находящиеся в их власти средства устрашения, подкупа, одурения и насилия, мы не видим вопиющего противоречия этого состояния с теми христианскими чувствами и мыслями, которыми действительно проникнуты все люди нашего времени.

Противоречие это стало нам так привычно, что мы и не видим всей ужасающей бессмыслицы и безнравственности поступков не только тех людей, которые по своей охоте избирают профессию убийства, как нечто почтенное, но и тех несчастных людей, которые соглашаются исполнять воинскую повинность, или хотя тех, которые в странах, где не введена воинская повинность, добровольно отдают свои труды на наем солдат и приготовления к убийству. Ведь все эти люди или христиане, или люди, исповедующие гуманность и либеральность, знают, что, совершая эти поступки, они становятся участниками, а при личной воинской повинности совершателями самых бессмысленных, бесцельных, жестоких убийств, и все-таки совершают их.

Но мало этого, в Германии, там, откуда и взялась общая воинская повинность, Каприви высказал то, что старательно скрывалось прежде, то, что люди, которых надо будет убивать, не одни иностранцы, но свои, те самые рабочие, из которых взято большинство солдат. И это признание не открыло глаза людям, не ужаснуло их. И после этого, как и прежде, они продолжают идти, как бараны, в ставку и подчиняться всему тому, что от них требуют.

Но мало и этого: недавно немецкий император еще точнее разъяснил значение и призвание воина, отличив, благодарив и наградив солдата за то, что он убил беззащитного узника, пытавшего бежать. Благодаря и награждая человека за поступок, всегда людьми, стоящими на самой низкой степени нравственности, считающийся самым подлым и низким, Вильгельм показал, что главная и более всего ценяемая властями обязанность солдата состоит в том, чтобы быть палачом, и не таким, как профессиональные палачи, убивающие только приговоренных преступников, но быть палачом всех тех невинных, которых велит убивать начальники.

Но мало и этого: в 1891 году тот же Вильгельм, *enfant terrible* государственной власти, высказывающий то, что другие думают, разговаривая с какими-то солдатами, публично сказал следующее, и на другой день тысячи газет перепечатывают эти слова:

"Рекруты! – говорит он. – В виду алтаря и служителя Бога вы присягнули мне на верность. Вы еще слишком молоды, чтобы понять истинное значение всего сказанного здесь, но заботьтесь прежде всего о том, чтобы следовать всегда данным приказаниям и учениям. Вы присягнули мне на верность, это дети моей гвардии, значит, что вы теперь мои солдаты, что вы предали себя мне душой и телом. Для вас существует теперь один враг, а именно тот, кто мой враг. При теперешних социалистических происках может случиться, что я прикажу вам стрелять в ваших собственных родственников, братьев, даже родителей – от чего Боже сохрани – и тогда вы обязаны беспрекословно исполнять мои приказы".

Человек этот высказывает то, что знают, но старательно скрывают все умные правители. Он говорит прямо, что люди, служащие в войске, служат ему и его выгоде и должны быть готовы для его выгоды убивать своих братьев и отцов.

Он прямо, самым грубым словом выражает весь тот ужас преступления, к которому готовятся люди, поступающие в солдаты, всю ту пучину унижения, до которой они доходят, обещаясь в повиновении. Он, как смелый гипнотизатор, пробует степень усыпления загипнотизированного: приставляет ему к телу раскаленное железо, тело шипит и дымит, но усыпленный не просыпается.

Жалкий, ошалевший от власти, больной человек этот своими словами оскорбляет всё, что может быть святого для человека нашего времени, и люди – христиане, либералы, образованные люди нашего времени, все, не только не возмущаются на это оскорбление, но даже не замечают его. Людям предлагается самое последнее, крайнее испытание в самой грубой, резкой форме. И люди как будто не замечают даже того, что это есть испытание, что им предстоит выбор. Им как будто кажется, что и нет никакого выбора и что есть только один путь рабской покорности. Казалось бы, безумные слова эти, оскорбляющие всё то, что человек нашего времени считает святым, должны бы возмутить людей, но ничего подобного не случается. Все молодые люди всей Европы год за год подвергаются этому испытанию и за самыми малыми исключениями все отрекаются от всего, что есть и может быть святого для человека, все выражают готовность убить своих братьев, даже отцов по приказанию первого заблудшего человека, наряженного в обшитую красным и золотом ливрею, и только спрашивают, кого и когда им велят убивать. А они готовы.

Ведь у каждого дикого есть что-либо святое, за что он готов пострадать, но не уступить. Но где же это святое у человека нашего времени? Ему говорят: иди ко мне в рабство, в такое рабство, при котором придется убивать даже отца родного, и он, очень часто ученый, прошедший все науки в университете, покорно подставляет шею под хомут. Его наряжают в шутовской наряд, велят прыгать, кривляться, кланяться, убивать – он всё покорно делает. И когда его выпускают, он как встрепанный возвращается в прежнюю жизнь и продолжает толковать о достоинстве человека, свободе, равенстве и братстве.

"Да, но что же делать, – часто с искренним недоумением спрашивают люди. – Если бы все отказались, тогда бы так. А то что ж, я один пострадаю и никому и ничему не сделаю пользы".

И правда, человеку общественного жизнепонимания нельзя отказаться. Смысл его жизни – благо его личности. Для его личности ему лучше покориться, и он покоряется.

Что бы с ним ни делали, как бы ни мучили, как бы ни унижали его, он будет покоряться, потому что один он ничего не может сделать, у него нет той основы, во имя которой он мог бы противостоять насилию один. А соединиться им никогда не дадут те, которые управляют ими. Говорят часто, что изобретение страшных военных орудий убийства уничтожит войну; война уничтожит сама себя. Это неправда. Как можно увеличивать средства избияния людей, так можно увеличивать средства приведения к покорности людей общественного жизнепонимания. Пускай их бьют тысячами, миллионами, разрывают на части, – они все-таки одни, как бессмысленная скотина, будут идти на бойню, потому что их подгоняют хлыстом; другие будут идти потому, что им за это позволяют надеть ленточки и галунчики, и будут даже гордиться этим.

И тут-то с составом людей, одуренных до того, что они обещаются убивать своих родителей, общественные деятели – консерваторы, либералы, социалисты, анархисты – толкуют о том, как устроить разумное и нравственное общество. Да какое же разумное и нравственное общество можно устроить из таких людей? Как из гнилых и кривых бревен, как ни перекалывай их, нельзя построить дома, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов. Так оно и есть.

И вот, с одной стороны, люди, христиане по имени, исповедующие свободу, равенство, братство, рядом с этим готовы во имя свободы к самой рабской, униженной покорности, во имя равенства к самым резким и бессмысленным, только по внешним признакам, разделением людей на высших, низших, своих союзников и врагов, и во имя братства – готовы убивать этих братьев (\*).

(\* То, что у некоторых народов, у англичан и американцев, нет еще общей воинской повинности (хотя у них уже раздаются голоса в пользу ее), а вербовка и наем солдат, то это несколько не изменяет положения рабства граждан по отношению правительств. Там каждый сам должен идти и убивать и быть убитым, здесь каждый должен отдавать свои труды на наем и приготовление убийц. \*)

Противоречия сознания и вследствие этого бедственность жизни дошли до последней степени, дальше которой идти некуда. Жизнь, построенная на началах насилия, дошла до отрицания тех самых основ, во имя которых она была учреждена. Устройство общества на началах насилия, имевшее целью обеспечение блага личного, семейного и общественного, привело людей к полному отрицанию и уничтожению этих благ.

Первая часть пророчества совершилась над людьми и поколениями их, не принявшими учения, и потомки их приведены теперь к необходимости испытать справедливость второй части его.

## IX

Положение народов христианских в наше время осталось столь же жестоким, каким оно было во времена язычества. Во многих отношениях, в особенности в порабощении людей, оно стало даже более жестоким, чем было во времена язычества.

Но между положением людей в то время и в наше время та же разница, какая бывает для растений между последними днями осени и первыми днями весны. Там, в осенней природе, внешняя безжизненность соответствует внутреннему состоянию замирания; весною, внешняя безжизненность находится в самом резком противоречии с состоянием внутреннего оживления и перехода к новой форме жизни.

То же и в том внешнем сходстве прежней языческой жизни с теперешней. Сходство это только внешнее: внутреннее состояние людей во времена язычества и в наше время совершенно различно.

Там внешнее состояние жестокости и рабства людей было в полном согласии с внутренним сознанием людей, и каждый шаг вперед увеличивал это согласие; здесь же внешнее состояние жестокости и рабства находится в полном противоречии с христианским сознанием людей, и каждый шаг вперед только увеличивает это противоречие.

Происходят как бы ненужные, бесполезные страдания. Происходит нечто подобное родам. Всё готово для новой жизни, но жизнь эта все еще не появляется.

Положение кажется безвыходным. И оно было бы таковым, если бы человеку, а потому и всем людям, не была дана возможность иного, высшего понимания жизни, сразу освобождающего его от всех тех уз, которые, казалось, неразрывно связывали его.

И таково то, указанное еще 1800 лет тому назад человечеству, христианское понимание жизни.

Стоит человеку усвоить это жизнепонимание для того, чтобы сами собой распались те цепи, которые, казалось, так неразрывно сковывали его, и чтобы он почувствовал себя совершенно свободным, вроде того, как почувствовала бы себя свободной птица в загороженном кругом месте, когда бы она раскрыла свои крылья.

Говорят об освобождении христианской церкви от государства, о даровании или недаровании свободы христианам. В этих мыслях и выражениях есть какое-то странное недоразумение. Свобода не может быть дарована или отнята у христианина или христиан. Свобода есть неотъемлемое свойство христианина.

Если же говорится о даровании или отнятии свободы от христиан, то, очевидно, говорится не о действительных христианах, а о людях, только называющих себя христианами. Христианин не может быть не свободен потому, что достижение поставленной им для себя цели никем и ничем не может быть воспрепятствовано или хотя бы задержано.

Стоит человеку понять свою жизнь так, как учит понимать ее христианство, т. е. понять то, что жизнь его принадлежит не ему, его личности, не семье или государству, а тому, кто послал его в жизнь, понять то, что исполнять он должен поэтому не закон своей личности, семьи или государства, а ничем не ограниченный закон того, от кого он исшел, чтобы не только почувствовать себя совершенно свободным от всякой человеческой власти, но даже перестать видеть эту власть, как нечто могущее стеснять кого-либо.

Стоит человеку понять, что цель его жизни есть исполнение закона Бога, для того чтоб этот закон, заменив для него все другие законы и подчинив его себе, этим самым подчинением лишил бы в его глазах все человеческие законы их обязательности и стеснительности.

Христианин освобождается от всякой человеческой власти тем, что считает для своей жизни и жизни других Божеский закон любви, вложенный в душу каждого человека и приведенный к сознанию Христом, единственным руководителем жизни своей и других людей.

Христианин может подвергаться внешнему насилию, может быть лишен телесной свободы, может быть не свободен от своих страстей (делающий грех есть раб греха), но не может быть не свободен в том смысле, чтобы быть принужденным какою-либо опасностью или какою-либо внешнею угрозою к совершению поступка, противного своему сознанию.

Он не может быть принужден к этому потому, что составляющие могущественное орудие против людей общественного непонимания лишения и страдания, производимые насилием, не имеют для него никакой принудительной силы. Лишения и страдания, отнимающие у людей общественного непонимания то благо, для которого они живут, не только не могут нарушить блага христианина, состоящего в сознании исполнения воли Бога, но только могут усилить его, когда они постигают его за исполнение этой воли.

И потому христианин, подчиняясь одному внутреннему, божественному закону, не только не может исполнять, предписания внешнего закона, когда они не согласны с сознаваемым им Божеским законом любви, как это бывает при правительственных



требованиях, но не может признавать и обязательства повиновения кому и чему бы то ни было, не может признавать того, что называется подданством. Для христианина обещание подданства какому бы то ни было государству – тот самый акт, который считается основанием государственной жизни, есть прямое отречение от христианства, потому что человек, безусловно вперед обещающийся подчиняться тем законам, которые составляют и будут составлять люди, этим обещанием самым положительным образом отрекается от христианства, состоящего в том, чтобы во всех случаях жизни подчиняться только сознаваемому им в себе Божескому закону любви.

Можно было при языческом мирозерцании обещаться исполнять волю светских властей, не нарушая волю Бога, полагаемую в обрезании, субботе, определенной временем молитве, воздержании от известного рода пищи и т. п. Одно не противоречило другому. Но тем-то и отличается христианское исповедание от языческого, что оно требует от человека не известных внешних отрицательных действий, а ставит его в иное, чем прежде, отношение к людям, из которого могут вытекать самые разнообразные, не могущие быть вперед определенными поступки, и потому христианин не может обещаться не только исполнять чью-либо другую волю, не зная, в чем будут состоять требования этой воли, не может повиноваться изменяющимся законам человеческим, но не может и обещаться что-либо определенное делать в известное время или от чего-либо в известное время воздержаться, потому что он не может знать, чего и в какое время потребует от него тот христианский закон любви, подчинение которому составляет смысл его жизни. Христианин, обещаясь вперед безусловно исполнять законы людей, этим обещанием заявил бы то, что внутренний закон Божий не составляет уже для него единственный закон его жизни.

Христианину обещаться в повиновении людям или законам людским – всё равно что нанявшемуся к хозяину работнику обещаться вместе с тем исполнять всё то, что ему прикажут еще и чужие люди. Нельзя служить двум господам.

Христианин освобождается от человеческой власти тем, что признает над собой одну власть Бога, закон которой, открытый ему Христом, он сознает в самом себе, и подчиняется только ей.

И освобождение это совершается не посредством борьбы, не разрушением существующих форм жизни, а только изменением понимания жизни. Освобождение происходит вследствие того, что, во-первых, христианин признает закон любви, открытый ему его учителем, совершенно достаточным для отношений людских и потому считает всякое насилие излишним и незаконным, и, во-вторых, вследствие того, что те лишения, страдания, угрозы страданий и лишений, которыми общественный человек приводится к необходимости повиновения, для христианина, при его ином понимании жизни, представляются только неизбежными условиями существования, которые он, не борясь против них насилием, терпеливо переносит, как болезни, голод и всякие другие бедствия, но которые никак не могут служить руководством его поступков. Руководством поступков христианина служит только живущее в нем божественное начало, ничем не могущее быть стесненным или направленным.

Христианин поступает по слову пророчества, приложенного к его учителю: "Не воспрекословит, не возопиет и никто не слышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы" (Мф. XII, 19-20).

Христианин ни с кем не спорит, ни на кого не нападает, ни против кого не употребляет насилия; напротив того, сам беспрекословно переносит насилие; но этим самым отношением к насилию не только сам освобождается, но и освобождает мир от всякой внешней власти.

"Познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Иоан. VIII, 32). Если бы было сомнение в том, что христианство есть истина, то та полная свобода, ничем не могущая быть стесненной, которую испытывает человек, как скоро он усваивает христианское жизнепонимание, была бы несомненным доказательством его истинности.

Люди в теперешнем своем состоянии подобны отроившимся пчелам, висящим кучею на ветке. Положение пчел на ветке временное и неизбежно должно быть изменено. Они должны подняться и найти себе новое жилище. Каждая из пчел знает это и желает переменить свое положение и положение других, но ни одна не может этого сделать до тех пор, пока не сделают этого остальные. Все же не могут вдруг подняться потому, что одна висит на другой и мешает ей отделиться от роя, и потому все продолжают висеть. Казалось бы, пчелам нет из этого положения никакого выхода, как это кажется людям мирским, запутавшимся в тенета общественного миросозерцания. Но выхода не было бы пчелам, если бы каждая из пчел не была отдельно живущим существом, одаренным крыльями. Не было бы выхода и людям, если бы каждый из них не был живым отдельным существом, одаренным способностью усвоения христианского жизнепонимания.

Если бы каждая пчела, та, которая может лететь, не полетела бы, никогда не тронулись бы и остальные и никогда рой не изменил бы своего положения. И если бы тот человек, который усвоил христианское жизнепонимание, не стал бы, не дожидаясь других, жить сообразно с этим пониманием, никогда бы человечество не изменило своего положения. И как стоит одной пчеле раскрыть крылья, подняться и полететь и за ней другой, третьей, десятой, сотой, для того чтобы висевшая неподвижно кучка стала бы свободно летящим роем пчел, так точно стоит только одному человеку понять жизнь так, как учит его понимать ее христианство, и начать жить так, и за ним сделать то же другому, третьему, сотому, для того чтобы разрушился тот заколдованный круг общественной жизни, из которого, казалось, не было выхода.

Но люди думают, что освобождение всех людей этим способом слишком медленно, что нужно найти и употребить другое такое средство, которым можно бы было освободить всех сразу. Вроде того, как если бы пчелы, желающие подняться и улететь, находили бы, что слишком долго дожидаться, пока поднимется весь рой по одной пчеле, а надо найти такое средство, при котором не нужно бы было каждой отдельной пчеле раскрыть крылья и полететь, а вместе с тем и рой полетел бы, куда ему надо. Но это невозможно: до тех пор, пока первая, вторая, третья, сотая пчела

свободно не раскроет свои крылья и не полетит, не полетит и рой и не найдет новой жизни. Пока не усвоит каждый отдельный человек христианского жизнепонимания и не станет жить сообразно с ним, не разрешится противоречие жизни людской и не установится новой формы жизни.

Одно из поразительных явлений нашего времени это – та проповедь рабства, которая распространяется в массах не только правительствами, которым это нужно, но теми людьми, которые, проповедуя социалистические теории, считают себя поборниками свободы.

Люди эти проповедуют, что улучшение жизни, приведение действительности в согласие с сознанием произойдет не вследствие личных усилий отдельных людей, а само собой, вследствие известного, кем-то произведенного насильственного переустройства общества. Проповедуется то, что людям не надо идти самим своими ногами туда, куда они хотят и куда им нужно, но что под них подведется такой пол, по которому они, не идя своими ногами, придут туда, куда им нужно. И потому все усилия их должны быть направлены не на то, чтобы идти по мере сил туда, куда им нужно, а на то, чтобы, стоя на месте, устраивать этот воображаемый пол.

В экономическом отношении проповедуется теория, сущность которой в том, что чем хуже, тем лучше, что чем больше будет скопления капитала и потому угнетения рабочего, тем ближе освобождение, и потому всякое личное усилие человека освободиться от давления капитала бесполезно; в государственном отношении проповедуется, что чем больше будет власть государства, которая должна по этой теории захватить не захваченную еще теперь область частной жизни, тем это будет лучше, и что потому надо призывать вмешательство правительств в частную жизнь; в политических и международных отношениях проповедуется то, что увеличение средств истребления, увеличение войск приведут к необходимости разоружения посредством конгрессов, арбитражей и т. п. И удивительное дело, косность людей так велика, что люди верят этим теориям, несмотря на то, что весь ход жизни, каждый шаг вперед обличает неверность их.

Люди страдают от угнетения, и для избавления их от этого угнетения советуется людям придумывать общие средства улучшения своего положения, которые будут

приложены властью, самим же продолжать подчиняться власти. И, очевидно, вследствие этого происходит только всё большее увеличение власти и вследствие того увеличение угнетения.

Ни одно из заблуждений людей не удаляет их столько от той цели, к которой они стремятся, как именно это. Люди для достижения поставленной себе цели делают всякие, самые разнообразные дела, но только не то одно, простое и прямое дело, которое предстоит каждому. Люди придумывают самые хитрые способы изменения того положения, которое тяготит их, но только не тот самый простой, чтобы каждому не делать того самого, что и производит это положение.

Мне рассказывали случай, происшедший с храбрым становым, который, приехав в деревню, где бунтовали крестьяне и куда были вызваны войска, взялся усмирить бунт в духе Николая I, один, своим личным влиянием. Он велел привезти несколько возов розог и, собрав всех мужиков в ригу, с ними вместе вошел туда, заперся и так напугал сначала мужиков своим криком, что они, повинуясь ему, стали по его приказанию сечь друг друга. И так они секли друг друга до тех пор, пока не нашелся один дурачок, который не дался сам и закричал товарищам, чтобы они не секли друг друга. Только тогда прекратилось сечение, и становой убежал из риги. Вот этому-то совету дурачка никак не могут последовать общественные люди, которые, не переставая, секут сами себя и этому самосечению учат людей как последнему слову мудрости человеческой.

В самом деле, можно ли представить себе более поразительный пример того, как люди сами секут себя, чем та покорность, с которой люди нашего времени исполняют возлагаемые на них те самые обязанности, которые приводят их в рабство, в особенности воинскую повинность. Люди, очевидно, порабощают сами себя, страдают от этого рабства и верят тому, что это так и надо, что это ничего и не мешает освобождению людей, которое готовится где-то и как-то, несмотря на всё увеличивающееся и увеличивающееся рабство.

В самом деле, живет человек нашего времени – кто бы ни был (я не говорю про истинного христианина, а про рядового человека нашего времени), образованный или необразованный, верующий или неверующий, богатый или бедный, семейный

или несемейный. Живет такой человек нашего времени, работая свою работу или веселясь своими весельями, потребляя плоды своих или чужих трудов для себя и для близких, как и все люди, ненавидя всякого рода стеснения и лишения, вражду и страдания. Живет спокойно такой человек: вдруг к нему приходят люди и говорят ему: во-1-х, обещайся и поклянись нам, что ты будешь рабски повиноваться нам во всем том, что мы предпишем тебе, и будешь считать несомненной истиной и подчиняться всему тому, что мы придумаем, решим и назовем законом; во-2-х, отдай часть твоих трудов в наше распоряжение; мы будем употреблять эти деньги на то, чтобы держать тебя в рабстве и помешать тебе противиться насилем нашим распоряжениям; в-3-х, избирай и сам избирайся в мнимые участники правительства, зная при этом, что управление будет происходить совершенно независимо от тех глупых речей, которые ты будешь произносить с подобными тебе, и будет происходить по нашей воле, по воле тех, в руках кого войско; в-4-х, в известное время являйся в суд и участвуй во всех тех бессмысленных жестокостях, которые мы совершаем над заблудшими и развращенными нами же людьми, под видом тюремных заключений, изгнаний, одиночных заключений и казней. И, наконец, в-5-х, сверх всего этого, несмотря на то, что ты будешь находиться в самых дружественных сношениях с людьми других народов, будь готов тотчас же, когда мы тебе велим это, считать тех из этих людей, которых мы тебе укажем, своими врагами и содействовать лично или наймом разорению, ограблению, убийству их мужчин, жен, детей, стариков, а, может быть, и твоих одноплеменников, может быть, и родителей, если это нам понадобится.

Казалось бы, что может ответить на такие требования всякий неодуренный человек нашего времени?

"Да зачем же я буду делать всё это, – казалось бы, с удивлением должен сказать всякий душевно здоровый человек. – Зачем я буду обещаться повиноваться всему тому, что мне велят нынче Салисбюри, завтра Гладстон, нынче Буланже, завтра палата из таких же Буланже, нынче Петр III, завтра Екатерина, послезавтра Пугачев, нынче баварский сумасшедший король, завтра Вильгельм? Зачем я буду обещаться повиноваться им, зная их за дурных или же пустых людей или вовсе не зная их?"

Зачем я буду под видом подати отдавать им плоды своих трудов, зная, что деньги употребляются на подкуп чиновников, тюрьмы, церкви, войска, на дурные дела и на мое же порабощение, зачем я буду сечь сам себя? Зачем я пойду, теряя свое время и отводя себе глаза и придавая насильникам подобие законности, участвовать в выборах и притворяться, что я участвую в управлении, когда я знаю очень хорошо, что управление государством в руках тех, в руках кого войско? Зачем я пойду в судах участвовать в истязаниях и казнях людей за то, что они заблуждаются, зная, если я христианин, что закон мести заменен законом любви, и если я образованный человек, то, что наказания не улучшают, а только ухудшают людей, которых им подвергают? И зачем, главное, я из-за того только, что ключи от иерусалимского храма будут у того, а не у этого архиерея, что в Болгарии будет князем тот, а не этот немец, и что тюленей будут ловить английские, а не американские купцы, признаю врагами людей соседнего народа, с которыми я жил до сих пор и желаю жить в любви и согласии, и найму солдат или сам пойду убивать и разорять их и сам подвергнусь их нападению? И зачем, главное, буду содействовать лично ли, или наймом военной силы порабощению и убийству своих братьев и отцов? Зачем я буду сечь сам себя? Всё это мне не нужно, и всё это мне вредно, и всё это со всех сторон безнравственно, подло, скверно. Так зачем же я буду делать это? Если вы говорите, что без этого мне от кого-то будет худо, то, во-первых, ничего столь худого, как то худое, которое вы мне причиняете, если я послушаюсь вас, мне ни от кого не предвидится; во-вторых, мне совершенно ясно, что если мы сами не будем сечь себя, то и никто не будет сечь нас. Ведь правительство – это цари, министры, чиновники с перьями, которые меня ни к чему, как тот становой мужиков, принудить не могут: поведут меня насильно в суд, в тюрьму, на казнь не цари и чиновники с перьями, а те самые люди, которые находятся в таком же положении, как и я. А им так же бесполезно, и вредно, и неприятно быть сеченными, как и мне, и потому, по всем вероятностям, если я им открою глаза, они не только не должны насиловать меня, но должны сделать то же, что и я.

В-третьих, если бы даже и случилось то, что мне пришлось бы пострадать за это, то и тогда мне выгоднее быть сосланным или запертым в тюрьму, отстаивая здравый

смысл и добро – то, что, не нынче-завтра, но через очень короткое время, должно восторжествовать, чем пострадать за глупость и зло, которые нынче-завтра должны кончиться. И потому даже и в этом случае выгоднее рисковать тем, что меня сошлют, запрут в тюрьму и даже казнят, чем тем, что по моей же вине я проживу всю жизнь в рабстве у дурных людей, могу быть разорен вторгнувшимся неприятелем, им по-дурацки искалечен и убит, отстаивая пушку, или никому не нужный клочок земли, или глупую тряпку, называемую знаменем.

Я не хочу сечь сам себя и не буду. Мне незачем это делать. Делайте сами, коли вы этого хотите, я не буду".

Казалось бы, не только религиозное или нравственное чувство, но самое простое рассуждение и расчет должны бы заставить каждого человека нашего времени ответить и поступить так. Но нет: люди общественного жизнепонимания находят, что поступать так не нужно и даже вредно для достижения цели освобождения людей от рабства, а надо продолжать, как те мужики станового, сечь друг друга, утешая себя тем, что то, что мы болтаем в палатах и на собраниях, составляем союзы рабочих, гуляем 1-го мая по улицам, делаем заговоры и исподтишка дразним правительство, которое сечет нас, что это сделает всё то, что мы, всё больше и больше закабалая себя, очень скоро освободимся.

Ничто не мешает столько освобождению людей, сколько это удивительное заблуждение. Вместо того чтобы каждому человеку направить свои силы на освобождение самого себя, на изменение своего жизнепонимания, люди ищут внешнего совокупного средства освобождения и тем всё больше и больше заковыывают себя.

Вроде как если бы люди утверждали, что для того, чтобы развести жар, нужно не то, чтобы разжечь каждый уголь, а то, чтобы расположить уголья известным образом.

А между тем то, что освобождение всех людей произойдет именно через освобождение отдельных лиц, становится в последнее время всё более и более очевидным. Освобождение отдельных лиц во имя христианского жизнепонимания от государственного порабощения, бывшее прежде исключительным и незаметным



явлением, получило в последнее время угрожающее для государственной власти значение.

Если в прежнее время, во времена Рима, в Средние века, случалось, что христианин, исповедуя свое учение, отказывался от участия в жертвах, от поклонения императорам, Богам или в Средние века от поклонения иконам, от признания папской власти, то отрицания эти, во-первых, были случайны: человек мог быть поставлен в необходимость исповедания своей веры и мог прожить жизнь, не будучи поставлен в эту необходимость. Теперь же этим испытаниям веры подвергаются все люди без исключения. Всякий человек нашего времени поставлен в необходимость признать свое участие в жестокостях языческой жизни или отвергнуть ее. И, во-вторых, в те времена отказы от поклонения Богам, иконам, папе составляли не существенные для государства явления: сколько бы людей поклонялось или не поклонялось Богам или иконам, или папе, государство оставалось столь же сильно. Теперь же отказы от нехристианских требований правительств подрывают под корень самую государственную власть, потому что на исполнении этих нехристианских требований зиждется вся власть государства.

Мирские власти были ходом жизни приведены к тому положению, что для своего поддержания они должны требовать от всех людей таких поступков, которые не могут быть исполнены людьми, исповедующими истинное христианство.

И потому в наше время всякое исповедание отдельным человеком истинного христианства подрывает в самом существенном власть правительства и неизбежно влечет за собой освобождение всех.

Что, казалось бы, важного в таких явлениях, как отказы нескольких десятков шальных, как их называют, людей, которые не хотят присягать правительству, не хотят платить подати, участвовать в суде и в военной службе? Людей этих наказывают и удаляют, и жизнь идет по-старому. Казалось бы, нет ничего важного в этих явлениях, а между тем эти-то явления более всего другого подрывают власть государства и готовят освобождение людей. Это те отдельные пчелы, которые начинают отделяться от роя и летают около, ожидая того, что не может задержаться, — чтобы весь рой поднялся за ними. И правительства знают это и боятся этих

явлений больше всех социалистов, коммунистов, анархистов и их заговоров с динамитными бомбами.

Наступает новое царствование; по общему правилу и заведенному порядку требуется, чтобы все подданные присягнули новому правительству. Делается общее распоряжение. Призывают всех в собор для присяги. Вдруг один человек в Перми, другой в Туле, третий в Москве, четвертый в Калуге объявляют, что они присягать не будут, и объясняют свой отказ все, не сговариваясь между собой, одним и тем же, что по христианскому закону клятва запрещена, но что если бы клятва и не была запрещена, то они по духу христианского закона не могут обещаться совершать те дурные поступки, которые требуются от них в присяге, как-то: доносить на всех тех, которые будут нарушать интересы правительства, защищать с оружием в руках свое правительство или нападать на врагов его. Их призывают к станovým, исправникам, священникам, губернаторам, увещевают, упрощают, угрожают и наказывают, но они остаются при своем решении и не присягают. И среди миллионов присягавших живут десятки не присягавших. И их спрашивают:

— Как же вы не присягали?

— Так и не присягали.

— И что же, ничего?

— Ничего. Подданные государства обязаны все платить подати. И все платят, но один человек в Харькове, другой в Твери, третий в Самаре отказываются платить подать, говоря все, как бы сговорившись, одно то же. Один говорит, что он заплатит только тогда, когда ему скажут, на что пойдут отбираемые от него деньги. Если на добры дела, говорит он, то он сам даст и больше того, что от него требуют. Если же на злые, то не даст добровольно ничего, потому что по закону Христа, которому он следует, он не может содействовать злым делам. То же, хотя и другими словами, говорят и другие и не дают добровольно подати. У тех, у которых есть что взять, отбирают насильно имущество; тех же, у которых нечего взять, оставляют в покое.

— Что же, так и не заплатил подать?

— Не заплатил.

— И что же, ничего?

– Ничего. Учреждены паспорта. Все, отлучающиеся от места жительства, обязаны брать их и платить за это пошлины. Вдруг в разных местах является люди, которые говорят, что брать паспорта не нужно, что не следует признавать свою зависимость от государства, живущего насилием, и люди эти не берут паспортов и не платят за них пошлину. И опять ничем нельзя заставить этих людей исполнять требуемое. Их запирают в остроги и опять выпускают, и люди живут без паспортов.

Все крестьяне обязаны исполнять полицейские должности сотских, десятских и т. п. Вдруг в Харькове крестьянин отказывается исполнять эту обязанность, объясняя свой отказ тем, что по тому христианскому закону, который он исповедует, он не может никого связывать, запиравать, водить из места в место. То же заявляет крестьянин в Твои, в Тамбове. Крестьян ругают, бьют, сажают в заключение, но они остаются при своем решении и не исполняют противного своей вере. И их перестают выбирать в сотские, и опять ничего.

Все граждане должны участвовать в суде в качестве присяжных. Вдруг самые разнообразные люди: каретники, профессора, купцы, мужики, дворяне, как бы сговорившись, отказываются от этих обязанностей, и не по причинам, признаваемым законом, а потому, что самый суд, по их убеждению, есть дело незаконное, нехристианское, которое не должно существовать. Людей этих штрафуют, стараясь не дать им публично высказать мотивы отказа, и заменяют другими. Точно так же поступают и с теми, которые на тех же основаниях отказываются быть на суде свидетелями. И тоже ничего.

Все люди 21-го года обязаны брать жребий. Вдруг один молодой человек Москве, другой в Твери, третий в Харькове, четвертый в Киеве как бы по предварительному уговору являются в присутствие и заявляют, что они ни присягать, ни служить не будут, потому что они христиане. Вот подробности одного из первых, с тех пор как отказы эти стали учащаться, случаев, который мне хорошо известен (\*). Во всех других случаях повторялось приблизительно то же. Молодой человек среднего образования отказывается в Московской думе. На слова его не обращают внимания и требуют, чтобы он, так же как и другие, произнес слова присяги. Он отказывается, указывая на определенное место Евангелия, запрещающее клятву. На его доводы не

обращают внимания и требуют исполнения приказаний, но он не исполняет его. Тогда предполагается, что он сектант и потому неправильно понимает христианство, т. е. не так, как понимают оплачиваемые государством священники. И молодого человека под конвоем отправляют к священникам, чтобы вразумить его. Священники начинают вразумлять молодого человека, но убеждения их во имя Христа отказаться от Христа, очевидно, не действуют на молодого человека, и его возвращают опять в войско, объявляя его неисправимым. Молодой человек продолжает не присягать и открыто отказывается от исполнения военных обязанностей. Случай этот не предвиден законом. Допустить отказ от исполнения требований начальства нельзя, но и приравнять этот случай простому неповиновению тоже нельзя. По совещании между собой военные власти решаются, чтобы избавиться от затруднительного молодого человека, признать его революционером и отсылают его под конвоем в управление тайной полиции. Полицейские и жандармы допрашивают молодого человека, но всё, что он говорит, не подходит ни под одно из подлежащих их ведению преступлений, и нет никакой возможности обвинить его ни в революционных поступках, ни в заговорах, так как он объявляет, что он ничего не желает разрушать, а, напротив, отрицает всякое насилие и ничего не скрывает, а ищет случая говорить и делать то, что он говорит и делает, самым открытым образом. И жандармы, несмотря на отсутствие для них законов, так же как и духовенство, не находя никакого повода к обвинению молодого человека, возвращают его опять в войско. Опять совещаются начальники и решают хотя и не присягавшего молодого человека принять и зачислить в солдаты. Его одевают, зачисляют и отправляют под стражею на место размещения войск. На месте размещения войск начальник части, в которую он поступает, опять требует от молодого человека исполнения военных обязанностей, и он опять отказывается повиноваться и при других солдатах высказывает причину своего отказа, говорит, что он как христианин не может добровольно готовиться к убийству, запрещенному еще законом Моисея,

(\* Все подробности как этого случая, так и предшествующих подлинны. \*)

Дело происходит в провинциальном городе. Случай вызывает интерес и даже сочувствие не только в посторонних, но и в офицерах, и потому начальники не решаются употребить обычную дисциплинарную меру за отказ в повиновении. Для приличия, однако, молодого человека запирают в тюрьму и пишут в высшее военное управление, спрашивая, что делать? С официальной точки зрения отказ от участия в военной службе, в которой служит сам царь и которая благословляется церковью, представляется сумасшествием, и потому из Петербурга пишут, что так как молодой человек должен быть не в своем рассудке, то, не употребляя еще против него крутых мер, отправить его для исследования его душевного здоровья и для излечения его в дом умалишенных. Его отправляют в надежде, что он там и останется, как десять лет тому назад было с отказавшимся в Твери от военной службы другим молодым человеком, которого мучили в сумасшедшем доме до тех пор, пока он покорился. Но и эта мера не спасает военное начальство от неудобного молодого человека. Доктора свидетельствуют его, очень заинтересовываются им и, разумеется, не найдя в нем никаких признаков душевной болезни, возвращают опять в войско. Его принимают и, делая вид, что забыли про его отказ и мотивы его, ему опять предлагают идти на учение, и опять он при других солдатах отказывается и заявляет о причине своего отказа. Дело это всё больше и больше обращает на себя внимание и солдат и жителей города. Опять пишут в Петербург и оттуда выходит решение перевести молодого человека в войска, стоящие на окраинах, в места, где войска находятся на военном положении и где за отказ повиноваться можно расстрелять его, и где дело это может пройти незаметно, так как в далеком крае этом очень мало русских и христиан, а большинство инородцы и магометане. Так и делают. Молодого человека перечисляют в войска, стоящие в Закаспийском крае, и с преступниками отправляют к начальнику, известному своею решительностью и строгостью.

Во всё это время, при всех этих пересылках из места в место, с молодым человеком обращаются грубо, держат его в холоде, голоде и нечистоте и вообще всячески делают его жизнь мучительною. Но все эти истязания не заставляют его изменить своему решению. В Закаспийском крае, когда ему опять предлагают идти в

караул с оружием, он опять отказывается повиноваться. Он не отказывается идти стоять подле стогов сена, куда его посылают, но отказывается взять оружие, объявляя, что он ни в каком случае ни против кого не будет употреблять насилие. Всё это происходит перед другими солдатами. Оставить такой отказ безнаказанно нельзя, и молодого человека отдают под суд за нарушение дисциплины. Происходит суд, и молодого человека приговаривают к заключению в военной тюрьме на два года. Опять по этапу с преступниками его пересылают на Кавказ и там заключают в тюрьму, где он подпадает под бесконтрольную власть тюремщика. Там его мучают полтора года, но он все-таки не изменяет своего решения не брать в руки оружия и всем тем, с кем ему приходится быть в сношениях, объясняет, почему он этого не делает, и в конце второго года его отпускают на свободу раньше срока, зачислив, противно закону, содержание в тюрьме за службу, желая только поскорее отделаться от него.

Точно так же, как этот молодой человек, как бы сговорившись, поступают и другие люди в разных концах России, и во всех этих случаях образ действия правительства тот же робкий, неопределенный и скрытный. Некоторых из таких людей отправляют в сумасшедшие дома, некоторых зачисляют в писаря и переводят на службу в Сибирь, некоторых в лесничество, некоторых запирают в тюрьмы, некоторых штрафуют. И теперь несколько таких отказавшихся сидят по тюрьмам не за сущность дела – за отрицание законности действий правительства, а за неисполнение частных требований начальства. Так, недавно, офицера запаса, не давшего сведения о своем местопребывании и заявившего о том, что он не будет более служить военным, оштрафовали за неисполнение распоряжений власти 30 рублями, которые он тоже отказался заплатить добровольно. Так, недавно несколько крестьян и солдат, отказавшихся участвовать в учении и брать в руки ружье, за неповиновение и возражение посадили под арест.

И случаи отказов этих от исполнения государственных требований, противных христианству, в особенности отказы от военной службы, совершаются в последнее время и не в одной России, а везде. Так, мне известно, что в Сербии люди из так называемой секты назаренов постоянно отказываются от военной службы и

австрийское правительство уже несколько лет тщетно борется с ними, подвергая их тюремному заключению. В 1885 году отказов таких было 130. В Швейцарии, я знаю, что в 1890-х годах в Шильонском замке сидели люди за отказ от исполнения воинской повинности, не изменившие вследствие наказания своего решения. Такие же отказы были в Швеции, и точно так же отказывающиеся были заключены в тюрьмы, и правительство старательно скрывало эти случаи от народа. Были такие отказы и в Пруссии. Я знаю про унтер-офицера гвардии, который в 1891 году в Берлине объявил начальству, что он, как христианин, не будет продолжать службу и, несмотря на все увещания, угрозы и наказания, остался при своем решении. Во Франции, на юге ее, возникла в последнее время община людей, носящих название гинчистов, Hinchist (сведения эти взяты из "Peace Herald", 1891 г., июль), члены которой отказываются на основании христианского исповедания от исполнения воинской повинности и сначала зачислялись в госпитали, но теперь, по мере увеличения их, подвергаются наказаниям за неповиновение, но все-таки не берут в руки оружия.

Социалисты, коммунисты, анархисты, с своими бомбами, бунтами и революциями, далеко не так страшны правительствам, как эти разрозненные люди, с разных стран заявляющие свои отказы, – все на основании одного и того же всем знакомого учения. Всякое правительство знает, как и чем защищать себя от революционеров, и имеет на это средства и потому не боится этих внешних врагов. Но что делать правительствам против тех людей, которые обличают бесполезность, излишество и вредность всяких правительств и не борются с ними, а только не нуждаются в них, обходятся без них и потому не хотят участвовать в них?

Революционеры говорят: "Государственное устройство дурно тем-то и тем-то, нужно разрушить его и заменить таким-то и таким-то". Христианин же говорит: "Я ничего не знаю про государственное устройство, про то, насколько оно хорошо или дурно, и не желаю разрушать его именно потому, что не знаю, хорошо ли оно, или дурно, но по этой-то самой причине и не желаю поддерживать его. И не только не желаю, но не могу, потому что то, что требуется от меня, противно моей совести".

Противны же совести христианина все обязанности государственные: и присяга, и подати, и суды, и войско. А на этих самых обязанностях зиждется вся власть государства.

Враги революционные извне борются с правительством. Христианство же вовсе не борется, но изнутри разрушает все основы правительства.

Среди русского народа, в котором, особенно со времени Петра I, никогда не прекращался протест христианства против государства, среди русского народа, в котором устройство жизни таково, что люди общинами уходят в Турцию, в Китай, в необитаемые земли и не только не нуждаются в правительстве, но смотрят на него всегда как на ненужную тяжесть и только переносят его как бедствие, будь оно турецкое, русское или китайское, – среди русского народа в последнее время стали всё чаще и чаще появляться случаи христианского сознательного освобождения отдельных лиц от подчинения себя правительству. И проявления эти особенно страшны правительству теперь тем, что отказывающиеся часто принадлежат не к так называемым низшим, необразованным сословиям, а к людям среднего и высшего образования, и тем, что люди эти объясняют свои отказы уже не какими-либо мистическими исключительными верованиями, как это было прежде, не соединяют их с какими-либо суевериями и изуверствами, как это делают самосожигатели или бегуны, а причинами своего отказа выставляют самые простые и ясные, всем доступные и всеми признаваемые истины.

Так, отказываются от добровольной уплаты податей, потому что подати употребляются на дела насилия: жалованье начальникам, военным, на устройство тюрем, крепостей, пушек, а они, как христиане, считают грешным и безнравственным участвовать в этих делах. Отказывающиеся от общей присяги отказываются потому, что обещаться в повиновении властям, т. е. людям, предающимся насилиям, противно смыслу христианского учения; отказываются от присяги в судах потому, что клятва прямо запрещена Евангелием. Отказываются от должностей полицейских, потому что при этих должностях приходится употреблять насилие против своих братьев и мучить их, а христианин не может делать этого. Отказываются от участия в суде, потому что считают всякий суд исполнением закона



мести, не совместимого с христианским законом прощения и любви. Отказываются от всякого участия в военных приготовлениях и в войске потому, что не хотят и не могут быть палачами и не хотят готовиться к палачеству.

Все мотивы этих отказов таковы, что, как бы самовластны ни были правительства, они не могут открыто наказывать за них. Для того, чтобы наказывать за такие отказы, надо бесповоротно самим правительствам отречься от разума и добра. А они уверяют людей, что властвуют только во имя разума и добра.

Что делать правительствам против этих людей? В самом деле, правительства могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам навечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить себе миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех врагов правительств. Но что могут они сделать против людей, которые, не желая ничего ни разрушать, ни учреждать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону и потому отказываются от исполнения самых общих и потому самых необходимых для правительств обязанностей?

Если бы это были революционеры, проповедующие насилие, убийство и совершающие эти дела, то противодействие им было бы легко: часть их подкупили бы, часть обманули, часть запугали бы; тех же, которых нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни запугать, выставили бы злодеями, врагами общества, казнили бы или заперли бы, и толпа одобрила бы действие правительства. Если бы это были какие-нибудь изуверы, проповедующие какую-нибудь особую веру, можно бы было, благодаря тем суевериям лжи, которые примешиваются ими к их учению, опровергнуть и то истинное, что они исповедуют. Но что делать с людьми, которые не проповедуют ни революции, ни каких-либо особенных религиозных догматов, а только потому, что они не желают делать никому зла, отказываются от присяги, уплаты податей, участия в суде, от военной службы, от таких обязанностей, на которых зиждется всё устройство государства? Что делать с такими людьми? Подкупить их нельзя: уже самый тот риск, на который они добровольно идут, показывает их бескорыстие. Обмануть тем, что этого требует Бог, тоже нельзя,

потому что их отказ основан на ясном, несомненном законе Бога, исповедуемом и теми, которые хотят заставить людей действовать противно ему. Запугать угрозами еще менее можно, потому что лишения и страдания, которым они будут подвергнуты за их исповедание, только усиливают их желание исповедания и в их законе прямо сказано, что надо повиноваться Богу более, чем людям, и не надо бояться тех, которые могут погубить тело, а того, что может погубить и тело и душу. Казнить или навечно запереть их тоже нельзя. У людей этих есть прошедшее, друзья, образ мыслей и действий их известен, все их знают за кротких, добрых, смирных людей, и невозможно выставить их злодеями, которые должны быть устранены для спасения общества. А казнь людей, признаваемых всеми добрыми, вызовет защитников, разъяснителей отказа. А стоит только разъясниться причинам отказа, для того чтобы всем стало ясно, что те причины, по которым эти христиане отказываются от исполнения государственных требований, таковы же для всех других людей и что всем уже надо бы делать то же.

Правительства перед отказами христиан находятся в отчаянном положении. Они видят, что пророчество христианства сбывается, – оно разрывает узы скованных и освобождает людей, находящихся в неволе, и видят, что это освобождение неизбежно должно уничтожить тех, которые держат других в неволе. Правительства видят это, знают, что часы их сочтены, и ничего не могут сделать. Всё, что они могут сделать для своего спасения, это только то, чтобы отсрочить час своей гибели. Они и делают это, но положение их все-таки отчаянное.

Положение правительств подобно положению завоевателя, который желает сохранить город, поджигаемый самими жителями. Только что он затушит пожар в одном месте, загорается в двух других; только что он уступает огню, отломает то, что загорелось, от большого здания, – загорается с двух концов и это здание. Загорания эти еще редки, но загораются они огнем, который, начавшись с искры, не остановится до тех пор, пока не сожжет всего.

И вот тут-то, когда правительства перед людьми, исповедующими христианство, находятся в таком беззащитном положении и недостает только очень малого для того, чтобы рушилась вся эта кажущаяся столь могущественной и столькими веками

воздвигавшаяся сила, тут-то общественные деятели проповедуют то, что не только не надо, но вредно, безнравственно даже каждому отдельно освободиться от рабства. Вроде того, как если бы одни люди, чтобы освободить задержанную в реке воду, долго работая, прокопали бы уже всю канаву и им нужно бы было только открыть отверстие, чтобы вода сама устремилась и сделала остальное, и тут-то пришли бы другие люди и стали бы советовать, что гораздо лучше, вместо того чтобы спускать воду, устроить над рекой такую машину с черпаками, которые, вычерпывая воду с одной стороны, переливали бы ее с другой в тот же пруд.

Но дело зашло уже слишком далеко: правительства чувствуют уже свою беззащитность и слабость, и пробуждающиеся от усыпления люди христианского сознания уже начинают чувствовать свою силу.

"Огонь принес я на землю, – сказал Христос, – и как томлюсь, когда он возгорится".

И огонь этот начинает возгораться.

Х

Христианство в его истинном значении разрушает государство. Так оно было понято и с самого начала, за то был и распят Христос, и всегда так понималось людьми, не связанными необходимостью оправдания христианского государства. Только со времени принятия главами государств номинального внешнего христианства начали придумываться все те невозможные хитросплетенные теории, по которым христианство можно совместить с государством. Но для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства – учения смирения, прощения обид, любви – с государством, с его величанием, насилиями, казнями и войнами. Исповедание истинного христианства не только исключает возможность признания государства, но и разрушает основы его.

Но если так и справедливо то, что христианство несовместимо с государством, то, естественно, является вопрос: что нужнее для блага человечества, что больше

обеспечивает благо людей: государственная форма жизни или разрушение и замена ее христианством?

Одни люди говорят, что нужнее для человечества государство, что уничтожение государственной формы повлекло бы за собой уничтожение всего того, что выработало человечество, что государство как было, так и продолжает быть единственной формой развития человечества и что всё то зло, которое мы видим среди народов, живущих в государственной форме, происходит не от этой формы, а от злоупотреблений, которые могут быть исправлены без уничтожения, и что человечество, не нарушая государственной формы, может развиваться и прийти до высокой степени благосостояния. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им неопровержимыми и философские, и исторические, и даже религиозные доводы. Но есть люди, полагающие обратное, именно то, что, так как было время, когда человечество жило без государственной формы, то форма эта временная и должно наступить время, когда людям понадобится новая форма, и что время это наступило теперь. И люди, думающие так, приводят в подтверждение своего мнения кажущиеся им тоже неопровержимыми и философские, и исторические, и религиозные доводы.

Можно написать томы в защиту первого мнения (они уже и давно написаны и всё еще пишутся), но можно написать (и тоже, хотя и недавно, но много и блестяще написано) и многое против него.

И нельзя доказать ни того, как это утверждают защитники государства, что уничтожение государства повлечет за собой общественный хаос, взаимные грабежи, убийства и уничтожение всех общественных учреждений и возвращение человечества к варварству; ни того, как это утверждают противники государства, что люди уже стали настолько разумны и добры, что не грабят и не убивают друг друга, предпочитают мирное общение вражде, что сами без помощи государства учредят всё то, что им будет нужно, а что поэтому государство не только не содействует всему этому, а, напротив, под видом ограждения людей производит на них вредное и ожесточающее влияние. Нельзя доказать отвлеченными рассуждениями ни того, ни другого. Еще меньше можно доказать это опытом, так как вопрос состоит в том,

следует или не следует делать опыт. Вопрос о том, наступило или не наступило время упразднения государства, был бы неразрешимым, если бы не существовал другой жизненный способ неоспоримого решения его.

Совершенно независимо от чьего бы то ни было суждения о том, созрели ли птенцы гнезда настолько, чтобы согнать наседку и выпустить из яиц птенцов, или еще не созрели для этого, неоспоримым решителем вопроса будут птенцы, когда они уже, не уместаясь более в яйцах, начнут пробивать их клювом и сами выходить из них.

То же с вопросом о том, наступило ли или не наступило для людей время уничтожения государственной формы и замены ее новой. Если человек, вследствие выросшего в нем высшего сознания, не может уже более исполнять требований государства, не уместается уже более в нем и вместе с тем не нуждается более в ограждении государственной формой, то вопрос о том, созрели ли люди до отмены государственной формы или не созрели, решается совсем с другой стороны и так же неоспоримо, как и для птенца, вылупившегося из яйца, в которое уже никакие силы мира не могут вернуть его, – самими людьми, выросшими уже из государства и никакими силами не могущими быть возвращенными в него.

"Очень может быть, что государство было нужно и теперь нужно для всех тех целей, которые вы приписываете ему, – говорит человек, усвоивший христианское жизнепонимание, – знаю только то, что, с одной стороны, мне не нужно более государство, с другой – я не могу более совершать те дела, которые нужны для существования государства. Устраивайте для себя то, что нужно вам для вашей жизни, я не могу доказывать ни общей необходимости, ни общего вреда государства, я знаю только то, что мне нужно и не нужно, что мне можно и нельзя. Я знаю про себя, что мне не нужно отделение себя от других народов, и потому я не могу признавать своей исключительной принадлежности к какому-либо народу и государству и подданства какому-либо правительству; знаю про себя, что мне не нужны все те правительственные учреждения, которые устраиваются внутри государств, и потому я не могу, лишая людей, нуждающихся в моем труде, отдавать его в виде подати на ненужные мне и, сколько я знаю, вредные учреждения: я знаю

про себя, что мне не нужны ни управления, ни суды, производимые насилием, и потому я не могу участвовать ни в том, ни в другом; я знаю про себя, что мне не нужно ни нападать на другие народы, убивая их, ни защищаться от них с оружием в руках, и потому я не могу участвовать в войнах и приготовлениях к ним. Очень может быть, что есть люди, которые не могут не считать всего этого нужным и необходимым, я не могу спорить с ними, я знаю только про себя, зато несомненно знаю, что мне этого не нужно и что я этого не могу делать. И не нужно это мне, и не могу я этого делать не потому, что мне, моей личности так хочется, а потому, что этого не хочет тот, кто послал меня в жизнь и дал мне несомненный закон для руководства в этой жизни".

Какие бы доводы ни приводили люди в пользу того, что вредно упразднить государственную власть и что упразднение это может породить бедствия, люди, выросшие уже из государственной формы, уже не могут вписаться в ней. И, сколько бы и какие бы доводы ни приводили человеку, выросшему из государственной формы, о необходимости ее, он не может вернуться к ней, не может принимать участия в делах, отрицаемых его сознанием, как не могут выросшие птенцы вернуться в скорлупу, из которой они выросли.

"Но если это и так, – говорят защитники существующего строя, – то все-таки упразднение государственного насилия возможно и желательно бы было тогда, когда бы все люди стали христианами. До тех пор, пока этого нет, пока среди людей, только называющихся христианами, есть люди нехристиане, люди злые, для своей личной похоти готовые нанести вред другим, упразднение государственной власти не только не было бы благом для остальных людей, но только увеличило бы их бедствие. Упразднение государственной формы жизни нежелательно не только тогда, когда будет малая часть истинных христиан, но оно нежелательно даже тогда, когда все будут христианами, но в среде их или вокруг их, в других народах, останутся нехристиане, потому что нехристиане будут безнаказанно грабить, насиловать, убивать христиан и сделают их жизнь мучительной. Будет только то, что злые будут безнаказанно властвовать над добрыми и насиловать их. И потому государственная власть не должна быть упразднена до тех пор, пока не уничтожатся

все злые, хищные люди на свете. А так как это, если не никогда, то еще долго не может быть, то, несмотря на попытки освобождения отдельных христиан от государственной власти, власть эта для большинства людей должна быть поддерживаема". Так говорят защитники государства. "Без государства злые насилуют добрых и властвуют над ними. Государственная же власть дает возможность добрым удерживать злых", – говорят они.

Но, утверждая это, защитники существующего строя уже вперед решают справедливость того положения, которое им нужно доказать. Говоря то, что без государственной власти злые властвовали бы над добрыми, они считают доказанным то, что добрые – это те самые, которые в настоящее время обладают властью, и злые – те самые, которые покоряются. Но ведь это-то самое и надо доказать. Ведь это было бы справедливо только тогда, когда бы в нашем мире происходило то, что хоть и не происходит, но предполагается в Китае, именно то, что властвуют всегда добрые и что, как скоро во главе правительства стоят не более добрые, чем те, над которыми они властвуют, то граждане обязаны свергать их. Так это предполагается в Китае, в действительности же этого нет и не может быть, потому что для того, чтобы свергнуть власть насилующего правительства, мало иметь на это право, надо иметь силу. Так что и в Китае это только предполагается. Но в нашем христианском мире это даже никогда и не предполагалось. В нашем мире нет даже никакого основания предполагать, чтобы властвовали более добрые или лучшие, а не те, которые захватывали власть и удерживали ее для себя и для своих наследников. Захватывать же и удерживать власть никак не могут более добрые.

Для того, чтобы приобрести власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами: с гордостью, хитростью, жестокостью.

Без возвеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни держаться никакая власть.

"Если упразднить государственную власть, то более злые будут властвовать над менее злыми", – говорят защитники государственности. Но если египтяне покорили евреев, персы покорили египтян, македонцы покорили персов, римляне покорили

греков, варвары покорили римлян, то неужели все те, которые покоряли, были более добры, чем те, кого они покоряли?

И точно так же в переходах власти в одном государстве от одних лиц к другим разве всегда власть переходила к более добрым? Когда свергнут был Людовик XVI-ый и во власть вступил Робеспьер и потом Наполеон, кто властвовал? Более добрые или более злые? И когда властвовали более добрые: когда версальцы или коммунары были во власти? Или когда во главе правительства был Карл I или Кромвель? И когда царем был Петр III или когда его убили и царицей стала в одной части России Екатерина, а в другой – Пугачев. Кто тогда был злой, кто добрый?

Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насиловали добрых, подразумевая под этим то, что они-то и суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых.

Но ведь властвовать значит насиловать, насиловать значит делать то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие, и чего, наверное, для себя не желал бы тот, который совершает насилие; следовательно, властвовать значит делать другому то, чего мы не хотим, чтобы нам делали, т. е. делать злое.

Покоряться значит предпочитать терпение насилию. Предпочитать же терпение насилию значит быть добрым или хоть менее злым, чем те, которые делают другим то, что не желают себе.

И потому все вероятия за то, что властвовали всегда и теперь властвуют не более добрые, а, напротив, более злые, чем те, над которыми они властвуют. Могут быть злые и среди тех, которые подчиняются власти, но не может быть того, чтобы более добрые властвовали над более злыми.

Этого нельзя было предполагать при языческом неточном определении добра; при христианском же ясном и точном определении добра и зла этого уже никак нельзя думать. Если более или менее добрые, более или менее злые могут не различаться в языческом мире, то христианское понятие о добром и злом так ясно определило признаки добрых и злых, что их нельзя уже смешивать. По учению Христа, добрые – это те, которые смиряются, терпят, не противятся злу насилием, прощают обиды, любят врагов; злые – это те, которые величаются, властвуют,



борются и насилуют людей, и потому, по учению Христа, нет сомнения о том, где добрые среди властвующих покоряющихся и где злые среди покоряющихся или властвующих. Даже как-то смешно говорить о властвующих христианах.

Нехристиане, т. е. те, которые полагают свою жизнь в мирском благе, всегда и должны властвовать над христианами, теми, которые полагают свою жизнь в отречении от этих благ.

И так это всегда было и становилось всё определеннее и определеннее по мере распространения и уяснения христианского учения.

Чем более распространялось и входило в сознание людей истинное христианство, тем менее возможно было христианам быть среди властвующих и тем легче становилось нехристианам властвовать над христианами.

"Устранение государственного насилия в том случае, если в обществе не все люди стали истинными христианами, сделает только то, что злые будут властвовать над добрыми и безнаказанно насиловать их!" – говорят защитники существующего строя жизни.

"Злые будут властвовать над добрыми и насиловать их".

Да ведь другого никогда ничего не было и не может быть. Так всегда было с начала мира и так это до сих пор. Злые всегда властвуют над добрыми и всегда насилуют их. Каин насилует Авеля, хитрый Иаков властвовал над доверчивым Исавом, обманувший его Лаван над Иаковом, Каиафа и Пилат властвовали над Христом, римские императоры властвовали над Сенеками, Эпиктетами и добрыми римлянами, жившими в их время, Иоанн IV с своими опричниками, пьяный сифилитик Петр со своими шутами, блудница Екатерина со своими любовниками властвовали над трудолюбивыми религиозными русскими людьми своего времени и насилуют их. Вильгельм властвует над немцами. Стамбулов над болгарами, русские чиновники над русским народом. Немцы властвовали над итальянцами, теперь властвуют над венгерцами и славянами; турки властвовали и властвуют над славянами и греками; англичане властвуют над индейцами, монголы над китайцами.

Так что будет или не будет упразднено государственное насилие, положение людей добрых, насилуемых людьми злыми, от этого не изменится.

Пугать людей тем, что злые будут властвовать над добрыми, никак нельзя, потому что то, чем пугают, есть то самое, что всегда было, и есть, и не может быть иначе.

Вся языческая история человечества состоит только из тех событий, посредством которых более злые захватывали власть над менее злыми и, захватив ее, жестокостями и хитростями поддерживали ее, и выставляя себя блюстителями справедливости, защитниками добрых от злых, властвовали над добрыми. Все перевороты в истории суть только захватывания власти более злыми и властвование над добрыми. То, что властвующие говорят, что если не было бы их власти, то более злые стали бы насилловать добрых, означает только то, что насильники, находящиеся во власти, не хотят уступить этой власти другим насильникам, которые хотели бы отнять ее у них. Говоря же это, властвующие только обличают самих себя. Они говорят, что их власть, т. е. насилие, нужно для того, чтобы защищать людей от каких-то других или имеющих еще проявиться насильников (\*).

(\* Поразительно в этом отношении до комизма наивное утверждение русских властей, насилующих чужие народности: поляков, остзейских немцев, евреев. Русское правительство душил своих подданных, веками не заботилось ни о малороссах в Польше, ни о латышах в остзейском крае, ни о русских мужиках, эксплуатируемых всеми возможными людьми, и вдруг оно становится защитником угнетенных от угнетателей, тех самых угнетателей, которых оно само угнетает.\*)

Тем-то и опасно употребление насилия, что как скоро оно употреблено, так все доводы, которые за себя приводят насильники, не только с тем же, но с большим основанием могут быть приведены против них же. Они говорят о бывшем и чаще всего о воображаемом будущем насилии, а сами, не переставая, совершают действительное насилие. "Вы говорите, что люди прежде грабили и били, и вы боитесь, что ограбят и перебьют друг друга, если не будет вашей власти. Это может быть, может и не быть, но то, что вы губите тысячи людей в тюрьмах, каторгах, крепостях, ссылках, разоряете миллионы семей и губите в солдатстве физически и

нравственно миллионы людей, – это не предполагаемое, а действительное насилие, против которого, по вашему же рассуждению, должно бороться насилием. И потому те злые, против которых, по вашему же рассуждению, несомненно нужно употреблять насилие, – это вы сами", – должны сказать насильникам насилуемые люди. И люди нехристиане всегда и говорят, и думают, и поступают так. Если насилуемые более злы, чем те, которые насилуют их, то они нападают на них и стараются свергнуть и при удобных обстоятельствах свергают их, или, что самое обыкновенное, вступают в ряды насилующих и участвуют в их насилиях.

Так что то самое, чем защитники государственности пугают людей, тем, что если бы не было насилующей власти, то злые властвовали бы над добрыми, это-то самое, не переставая, совершалось и совершается в жизни человечества, а потому упразднение государственного насилия не может ни в каком случае быть причиной увеличения насилия злых над добрыми.

Если насилие правительственное уничтожится, то насилия будут совершаться, может быть, другими людьми, а не теми, которыми они совершались прежде; но сумма насилия ни в каком случае не может увеличиться оттого, что власть перейдет от одних людей к другим.

"Государственное насилие может быть прекращено только тогда, когда уничтожатся злые люди среди общества", – говорят защитники существующего строя, подразумевая под этим то, что так как злые люди всегда будут, то насилие никогда не прекратится. И это было бы справедливо, но только тогда, когда было бы то, что ими предполагается, – именно, что насилующие суть более добрые и что единственное средство избавления людей от зла есть насилие. Тогда, точно, насилие никогда не могло бы прекратиться. Но так как этого нет, а есть обратное, именно, что не более добрые насилуют злых, а более злые насилуют добрых и что кроме насилия, никогда не прекращающего зла, есть другое средство уничтожения насилия, то утверждение о том, что насилие никогда не прекратится, несправедливо. Насилие уменьшается и уменьшается и, очевидно, должно прекратиться, но не так, как представляют это себе некоторые защитники существующего строя, тем, что люди, подлежащие насилию, вследствие воздействия на них правительств, будут делаться

всё лучше и лучше (вследствие этого они, напротив, становятся всегда хуже), а вследствие того, что так как все люди постоянно становятся лучше и лучше, то и наиболее злые люди, находящиеся во власти, становясь всё менее и менее злыми, сделаются уже настолько добры, что станут неспособны употреблять насилие.

Движение вперед человечества совершается не так, что лучшие элементы общества, захватив власть, употребляя насилие против тех людей, которые находятся в их власти, делают их лучшими, как это думают и консерваторы и революционеры, а совершается, во-первых, и главное, тем, что люди все вообще неуклонно и безостановочно, более и более сознательно усваивают христианское жизнепонимание, и, во-вторых, тем, что, даже независимо от сознательной духовной деятельности людей, люди бессознательное вследствие самого процесса захватывания власти одними людьми и смены их другими, невольно приводятся к более христианскому отношению к жизни. Процесс этот совершается так, что худшие элементы общества, захвативши власть и находясь в обладании ею, под влиянием отрезвляющего свойства, всегда сопутствующего ей, становясь сами всё менее и менее жестокими, делаются неспособными употреблять жестокие формы насилия и вследствие того уступают свое место другим, над которыми совершается опять тот же процесс смягчения и, как бы сказать, бессознательного охристианения.

С людьми совершается нечто подобное процессу кипения. Все люди большинства нехристианского жизнепонимания стремятся к власти и борются, достигая ее. В борьбе этой наиболее жестокие, грубые, наименее христианские элементы общества, насилуя наиболее кротких, чутких к добру, наиболее христианских людей, выступают посредством своего насилия в верхние слои общества. И тут над людьми, находящимися в этом положении, совершается то, что предсказывал Христос, говоря: "Горе вам, богатым, пресыщенным, прославленным"; совершается то, что люди, находясь во власти и в обладании последствий власти – славы и богатства, доходя до известных различных, поставленных ими самими себе в своих желаниях целей, познают тщету их и возвращаются к тому положению, из которого вышли. Карл V, Иоанн IV, Александр I, познав всю тщету и зло власти, отказывались от нее,

потому что видели уже всё зло ее и были не в силах спокойно пользоваться насилием как добрым делом, как они делали это прежде.

Но не одни Карлы и Александры проходят этот путь и признают тщету и зло власти: через этот бессознательный процесс смягчения проходит всякий человек, приобретший ту власть, к которой он стремился, всякий, не только министр, генерал, миллионер, купец, но столоначальник, добившийся места, которого он желал десять лет, всякий богатый мужик, отложивший одну-другую сотню рублей.

Через этот процесс проходят не только отдельные люди, но и совокупности людей, целые народы.

Соблазны власти и всего того, что она дает, и богатства, почестей, роскошной жизни, представляются достойной целью деятельности людей только до тех пор, пока она не достигнута, но тотчас, как скоро человек достигает их, обличают свою пустоту и теряют понемногу свою притягательную силу, как облака, которые имеют форму и красоту только издали: стоит только вступить в них, чтобы исчезло всё то, что казалось в них прекрасным.

Люди, овладевшие властью и богатством, иногда те самые, которые приобретали власть и богатство, большею же частью наследники их, перестают уже быть столь жадными к власти и жестокими к приобретению ее.

Изведав опытом, под влиянием христианского воздействия, тщету плодов насилия, люди иногда в одном, иногда через несколько поколений утрачивают те пороки, которые возбуждаются страстью к приобретению власти и богатства, и, становясь менее жестокими, не удерживают своего положения и вытесняются из власти другими, менее христианскими, более злыми людьми и возвращаются в низшие по положению, но высшие по нравственности слои общества, увеличивая собой средний уровень христианского сознания всех людей.

**Мохандас Карамчанд Ганди. «Индийское самоуправление».**

**M. K. Gandhi, Young India 1919-1922, Главы из брошюры "Хинд**

**сварадж" взяты из кн.: Mahatma Gandhi, The Collected Works, Изд: Ганди**

**М. К. Моя жизнь, М., "Наука", Глав. ред. вост. лит-ры, 1969. Пер: с английского**

**О. В. Мартышина, сверка пер. Л. И. Зубковой**

Тот факт, что эта брошюра привлекла к себе такое внимание, конечно, для меня большое счастье. Оригинал ее написан на гуджарати. Судьба этой брошюры была нелегкой. Впервые она была опубликована в Южной Африке на страницах "Индиан опиньон". "Хинд сварадж" была написана в 1908 году на обратном пути из Лондона в Южную Африку как ответ индийской школе насилия и ее прототипу в Южной Африке. В Лондоне я вступил в контакт со всеми известными индийскими анархистами. Их смелость поразила меня, но я полагаю, что их рвение направлено по ложному пути. Я подумал также, что насилие – не лекарство для Индии и что индийской цивилизации для самозащиты нужно иное и более благородное оружие. Сатьяграха в Южной Африке была еще ребенком, едва достигшим двухлетнего возраста. Однако она уже настолько окрепла, что я мог писать о ней с известной степенью доверия. "Хинд сварадж" получил такую высокую оценку, что его издали в виде отдельной брошюры. Брошюра эта привлекла всеобщее внимание в Индии. Правительство Бомбея запретило ее распространение. Я ответил публикацией ее перевода. Я считал своим долгом ознакомить своих английских друзей с содержанием брошюры. По-моему, это такая книга, которую можно дать даже ребенку. Она учит евангелию любви, а не евангелию ненависти. Она хочет заменить насилие самопожертвованием. Она противопоставляет грубой материальной силе силу духа. Брошюра выдержала несколько изданий и я рекомендую ее всем, кто пожелает ее прочесть. Я не выбросил из брошюры ничего, кроме одного слова, да и то из уважения к одной пожилой леди, которая была мне другом. Я изложил причины этого изменения в предисловии к индийскому изданию.

Брошюра представляет собой суровое осуждение "современной цивилизации". Она была написана в 1908 году. Ныне мои убеждения тверды, как никогда. Я считаю, что если бы Индия отбросила "современную цивилизацию", она бы только выиграла

от этого. Но я хочу предупредить читателя, чтобы он не подумал, что в настоящее время моей целью является сварадж, описанный в брошюре. Я знаю, что Индия еще не созрела для него. Такое заявление может показаться неуместным. Но это мое убеждение. Лично я тружусь во имя свараджа, описанного в этой брошюре. Но сегодня все мои усилия несомненно направлены на достижение парламентского свараджа в соответствии с волей и желанием индийского народа. Я не ставлю своей целью уничтожение железных дорог и больниц, хотя, конечно, приветствовал бы их естественное разрушение. Ни железные дороги, ни больницы не являются признаками настоящей цивилизации. В лучшем случае они – неизбежное зло. Ни то, ни другое не прибавляет ни дюйма к нравственному уровню нации. Я не стремлюсь и к окончательному упразднению судов, хотя и считаю, что это "совершенство, к которому следует благочестиво стремиться". Еще менее пытаюсь я уничтожить машины и фабрики. Это требует высшей простоты и высшего отречения, нежели то, к которому готов сегодня народ. Единственной частью программы, которая осуществляется теперь во всей полноте, является ненасилие. Но должен с сожалением признать, что и ненасилие осуществляется не в духе этой брошюры. Если бы это было не так, Индия установила бы сварадж за один день. Если бы Индия усвоила доктрину любви как основную часть своей религии и она бы стала составной частью ее политики, сварадж снизошел бы на Индию с небес. Но я мучительно сознаю, что это еще весьма далеко от нас.

Я предлагаю вашему вниманию эти замечания, потому что многие прибегают к цитатам из брошюры для того, чтобы дискредитировать подлинное движение. Я даже читал где-то, что я веду тайную игру, используя сегодняшние беспорядки, чтобы навязать Индии свои чудачества, и что я провожу свои религиозные искания за счет Индии. Могу лишь сказать, что сатьяграха – слишком суровое движение, чтобы предполагать нечто подобное. В ней нет ничего скрытного, ничего тайного. Только часть философии жизни, изложенной в "Хинд сварадж",

действительно осуществляется. Ее полное осуществление не вызывает опасений. Но нехорошо отпугивать людей, вырывая из моих произведений куски, не имеющие никакого отношения к проблеме, стоящей перед страной.

**Из ряда произведений М.Ганди. Nonviolence in Theory and Practice Ed. by Ronert L.Holmes. Wadsworth Publishing Company. Belmont California, 1990г., на русский язык перевод осуществлен Я.О.Купцовой.**

**САТЪЯГРАХА.** Прежде чем участвовать в кампании гражданского неповиновения, каждый должен с усердием и уважением повиноваться государственным законам. Мы подчиняемся этим законам, главным образом, из страха наказания за их нарушение, особенно это относится к тем законам, которые не затрагивают моральные принципы. Например, порядочный человек не станет воровать, независимо от того, существует или не существует закон, запрещающий воровство, но тот же самый человек не почувствует никакого раскаяния за несоблюдение правила, предписывающего зажигать фару на велосипеде после наступления темноты. Сомнительно даже, что он серьезно воспримет совет проявлять подобную осмотрительность. Но он будет соблюдать правила такого рода только для того, чтобы избежать обвинения в их нарушении. Такая уступчивость тем не менее не является добровольным и усердным послушанием, которое требуется от сатьяграха<sup>16</sup>. Сатьяграх повинуется законам общества сознательно и по собственной воле потому, что считает это своей священной обязанностью. Только когда человек скупуплезно следует законам общества, он в состоянии судить о том, какие из законов хороши и справедливы, а какие несправедливы и порочны. Только тогда у него появляется право на гражданское неповиновение определенным законам в точно определенных обстоятельствах.

**Сила духа и тапасья.**

(приблизительно 2 сентября 1917)

Сила, обозначенная термином «пассивное сопротивление» и переведенное на хинди nishkriya pratirodha, первоначальной английской фразой, а также ее переводом на хинди передается не совсем точно. Ее точное название – «сатьяграха». Сатьяграха родилась в Южной Африке в 1908 г. В индийском языке не было слова для обозначения силы, которую наши соотечественники в Южной Африке призывали для помощи в своих горестях. Существовал английский эквивалент – «passive resistance» (пассивное сопротивление), и мы продолжали им пользоваться. Тем не



менее все настоятельнее ощущалась потребность в слове, которое бы обозначило эту уникальную силу, и было решено наградить премией того, кто сможет предложить подходящий термин. Мужчина, говорящий на гуджарати, предложил слово «сатьяграха», и оно было признано лучшим.

Термин «пассивное сопротивление» выражал идею суффражистского движения в Англии. Так назывались поджоги домов и голодовки в тюрьмах участниц этого движения. Все эти акции могли быть хорошим «пассивным сопротивлением», но они не были «сатьяграхой». «Пассивное сопротивление» – это оружие слабых, но сила, которая является предметом данной статьи, может быть использована только сильными. Эта сила – не «пассивное» сопротивление, она призывает к активной деятельности. Движение в Южной Африке было не пассивным, а активным. Индийцы Южной Африки верили, что их целью была Истина, что Истина победит, и таким пониманием цели они упорно двигались к Истине. Они переносили все страдания, которые приносит это упорство. Убежденные, что от Истины нельзя отречься даже перед лицом смерти, они преодолевали страх смерти. В деле достижения Истины тюрьмы становились для них дворцами, а их двери – вратами к свободе.

Сатьяграха не является физической силой. Сатьяграха не причиняет страданий противнику, он не стремится к его уничтожению. Сатьяграха никогда не прибегает к помощи оружия. В применении сатьяграхи нет ничего враждебного. Сатьяграха – чистая сила духа. Истина есть сама субстанция духа. Вот почему эта сила называется сатьяграха. Душа наполнена знанием, в ней рождается любовь. Если кто-то причинит нам боль невежеством, мы победим его любовью. «Ненасилие – высшая *дхарма*» (Ahimsa paramo Dharma), это положение является испытанием силы любви. Ненасилие – это покой, но активное ненасилие – это любовь. Мир существует движимый любовью. В английском языке есть такая поговорка: «Кто силен, тот и прав». Еще существует теория о том, что выживает сильнейший. Обе эти идеи противоречат изложенному выше принципу, они абсолютно неверны. Если бы враждебность была основной движущей силой, мир давно был бы разрушен, а у меня не было бы возможности написать эту статью, а вам ее прочитать. Мы живы

благодаря любви. Все мы – доказательство этого. Обманутые современной западной цивилизацией, мы забыли нашу древнюю цивилизацию и поклоняемся силе оружия.

Мы забыли принцип ненасилия, который является сущностью всех религий. Доктрина войны олицетворяет неверие в Бога. Именно из-за власти этой доктрины в Европе бушует кровопролитная война. В Индии мы также видим поклонение оружию. Это видно даже в великом произведении Тулсидаса<sup>17</sup>. Но из всех книг ясно, что высшей силой является сила духа.

Рама – олицетворение духа, а Раван – бездушия. Громадная физическая сила Равана – ничто по сравнению с силой духа Рамы. Десять голов Равана – соломинка для Рамы. Рама – *йогин*: он победил себя и свою гордыню. Он «равно безмятежен в благоденствии и несчастье», у него нет «ни привязанностей, ни жадности, ни опьянения общественным положением». Это есть конечная цель сатьяграхи. Зная сатьяграхи может вновь реять в небе Индии, и наш долг поднять его. Если мы окажем помощь сатьяграхе, то сможем победить своих победителей – англичан, склонить их перед нашей огромной силой духа, что принесет пользу всему миру.

Несомненно, Индия не может соперничать с Англией или Европой в отношении вооружения. Англичане поклоняются богу войны, и все могут стать носителями оружия, что они и делают. Сотни миллионов людей в Индии никогда не смогут носить оружие. Они впитали в себя религию ненасилия. Система *варнашрамы*<sup>18</sup> не может исчезнуть из Индии.

Путь варнашрамы – это необходимый закон природы. Индия, благоразумно следуя ему, получает большую пользу. Даже мусульмане и англичане в Индии до определенной степени соблюдают эту систему. И вне Индии люди следуют ей, даже не сознавая этого. Пока в Индии существует институт варнашрамы, здесь никто не может носить оружие. Высшее место в Индии занимает дхарма брахманов, которая и есть сила духа. Даже вооруженные воины повинуются *Брахману*. Пока действует этот закон, нам не следует стремиться к равенству военных сил с Западом.

Это наш Камадхени<sup>19</sup>. Он приносит добро и несчастье сатьяграхи. Например, Заришчандра был сатьяграх, Прахлад был сатьяграх, Мираба был сатьяграх, Даниель, Сократ и те арабы, которые бросались под огонь французской артиллерии –

все были сатяграхи. Мы видим из этих примеров, что сатяграх не опасается за свое тело, он не должен отрекаться от Истины; слово «поражение» не должно находиться в его словаре, он не желает разгрома своего противника, он не впадает в гнев, а лишь сострадает противнику.

Сатяграх не ждет других, а бросается в бой, полагаясь только на свои собственные силы. Он верит, что, когда придет время, остальные поступят также. Его деятельность есть его заповедь. Сатяграха подобно небу простирается над всеми, она заразительна, и все люди: взрослые и дети, мужчины и женщины могут стать сатяграхами. Никто не останется в стороне от армии сатяграхов. Сатяграх не прибегнет к тирании, он не применяет физическую силу, он никого не ударит. Каждый может обратиться к сатяграхе, и она может быть применена почти во всех ситуациях.

Людям нужны исторические свидетельства в пользу сатяграхи. История преимущественно является отражением военных действий. Обычная жизнь отражена в ней мало, только необычные действия вызывают наше удивление. Сатяграха используется нами всегда, во всех ситуациях. Отец и сын, муж и жена постоянно прибегают к сатяграхе в своих отношениях друг с другом. Когда отец сердится и наказывает сына, то не хватается за оружие, а побеждает отцовский гнев послушанием. Сын отказывается выполнять несправедливый приказ отца, но он мирится с наказанием, которому может быть подвергнут из-за своего непослушания. Мы можем подобным образом освободиться от несправедливых законов правительства, считая закон несправедливым, но принимая наказание, которое последует за его невыполнение. Мы не питаем злобы к правительству. Когда мы рассеем их опасения и покажем, что не желаем устраивать вооруженных нападений на представителей администрации и отнимать у них власть, но хотим только избавиться от несправедливости, они одновременно будут подчинены нашей воле.

Можно спросить: почему мы называем какой-либо закон несправедливым? Считая его таким, мы сами выполняем функцию судьи. Это так. Но в этом мире мы всегда должны действовать как судьи самих себя. Поэтому сатяграх не подавляет

своего врага оружием. Если на его стороне Истина, он победит, а если его мысли ошибочны, он будет страдать за последствия своей ошибки.

Можно спросить, что же здесь хорошего, если только один человек противостоит несправедливости, и за это он будет наказан и уничтожен, будет чахнуть в тюрьме или встретит свой неизбежный конец на виселице. Это возражение бессильно. История показывает, что все реформы начинались одним человеком. Трудно добиться результатов без *тапасы*<sup>20</sup>. Лишения, которые необходимо принять в сатьяграхе, есть тапасья в своей наиболее простой форме. Только когда тапасья будет способна приносить плоды, мы сами достигнем результатов. Этим утверждается факт, что при недостаточной тапасье результаты не будут успешными. Тапасья Иисуса Христа, хотя и была безгранична, все же была недостаточна для Европы. Европа не одобрила Христа. Из-за своего невежества Европа не признала Христов путь жизни. Многие Христы должны принести себя в жертву на страшный алтарь Европы, прежде чем на этот континент снизойдет просветление. Но Иисус будет всегда первым среди них. Он посеял зерна, и его воля – залог того, что будет урожай...

### **Насилие и неотмщение (8 ноября 1938)**

В наши дни стало модным говорить, что общество не может быть организовано или действовать ненасильственным образом. Я согласен поспорить на эту тему. Когда в семье отец шлепает непослушного сына, тот не думает о мести. Сын послушен отцу не из-за сдерживающего действия наказания, а из-за обиженной любви отца, которую он чувствует за этим наказанием. Это, по моему, образец, по которому должно быть построено общество. Что справедливо для семьи, должно быть справедливо для общества, которое есть не что иное, как большая семья. Лишь человеческий вымысел разделил мир на группы врагов и друзей. В конечном счете именно сила любви действует даже в гуще столкновений и удерживает мир...

### **Ненасилие сильных и слабых**

Итак, я спрашиваю вас, является ли наше ненасилие ненасилием трусливых, слабых, беспомощных, робких? В таком случае оно не имеет ценности. Слабое существо от рождения свято. Слабый человек обязан стать святым. Но мы – солдаты

ненасилия, готовые отдать свои жизни, если этого потребуют обстоятельства. Наше ненасилие не является просто политикой трусливых. Но я сомневаюсь в этом. Я боюсь, что ненасилие, чьей властью мы похваляемся, в действительности – только политика. Верно, что до некоторой степени ненасилие действенно даже в руках слабых. И в таком случае это оружие нам пригодится. Но если кто-нибудь использует ненасилие с целью замаскировать свою слабость или беспомощность – это трусость. Такой человек работает на два фронта, он не может жить как человек, хотя и дьяволом он, конечно, стать не может. В тысячу раз лучше, когда мы умираем, пытаясь применить силу. Смелое использование физической силы намного предпочтительнее трусости. В конце концов мы пытались действовать как люди. Это был способ наших предков, так как некоторые придерживаются мнения, что прародителями человеческой расы были животные. Я не хочу вдаваться в полемику о том, является ли теория Дарвина обоснованной или нет. Как бы то ни было, с одной точки зрения мы все первоначально были животными. И я готов признать, что мы эволюционировали от животного к человеческому состоянию. Именно поэтому физическая сила называется животной.

Мы рождаемся с этой силой, поэтому, если мы используем ее, то будем по меньшей мере смелыми. Но мы рождены человеческими существами для того, чтобы осознать Бога, который пребывает в наших сердцах. В этом главное различие между нами и животными...

Человек по природе ненасильственен, но он не обязан ненасилию своим происхождением. Мы осознаем свою жизнь как человеческую, когда мы видим *атмана*, когда мы его видим, мы проходим проверку. Время нашего испытания наступило. Осознание Бога означает, что мы видим Его во всем. Другими словами, мы должны научиться быть едиными с каждым существом. Это привилегия человека, и это отличает его от зверя. Это может произойти, когда мы добровольно отказываемся от применения физической силы и используем ненасилие, которое глубоко укоренено в наших сердцах. Ненасилие может пробудить только настоящая сила...

Ненасилие – действенный принцип высшего порядка. Это – сила духа, или власть божественного внутри нас. Несовершенный человек не может объять всю Сущность, он не может вынести всего ее величия – но даже малейшая частица ее, действующая в нас, может творить чудеса. Солнце на небесах питает всю вселенную своим животворящим теплом, но если кто-то приблизится к нему слишком близко, оно превратит его в пепел. Точно так же и с божественностью. Мы становимся подобными богу в той мере, в какой осознаем ненасилие, но мы никогда не можем стать самим Богом. Ненасилие по действию подобно радию. Малейшее количество его, внедренное в болезненную опухоль, действуя постоянно, незаметно и целенаправленно, превращает всю больную ткань в здоровую. Также и крошечные частицы ненасилия, действуя тихо и незаметно, изменяют все общество.

Ненасилие самодостаточно. Душа продолжает существовать даже после смерти, ее сущность не зависит от физического тела. Так же и ненасилие, или сила духа, не требует физической помощи для своего действия, оно действует независимо. Оно выходит за пределы времени и пространства.

Следовательно, если ненасилие успешно утвердится в одном месте, то его влияние распространится повсюду. Я хочу сказать, пока в Утманзаи совершается хоть один разбой, наше ненасилие не является подлинным.

Основной принцип, на котором базируется практика ненасилия, гласит: что приносит добро тебе, равно приносит добро всей Вселенной. Все люди в сущности одинаковы...

### Ненасилие и смелость

Подобно тому как при обучении насилию необходимо учиться искусству убивать, так и при обучении ненасилию необходимо учиться искусству умирать. Насилие означает не освобождение от страха, а изучение средств побеждать причину страха. Ненасилие, наоборот, не имеет причин для страха. Сторонник ненасилия должен развивать способность к страданию высшего порядка для того, чтобы быть свободным от страха. Он не боится потерять свою землю, богатство и жизнь. Тот, кто не освободится от страха, не может пользоваться *ахимсой*<sup>21</sup>. Сторонник ахимсы страшится только одного – Бога. Кто ищет убежище в Боге, может увидеть проблеск

атмана, который превосходит тело, и в тот момент, когда он увидит свет Вечного атмана, человек теряет привязанности смертного тела. Обучение ненасилию диаметрально противоположно обучению насилию. Насилие требуется для защиты внешних вещей, ненасилие – для защиты атмана, для защиты своей чести.

Ненасилие нельзя изучить, не выходя из дома. Оно требует действий. Для того чтобы проверить себя, мы должны учиться не бояться опасности и смерти, умерять плоть и добиваться способности переносить все тяготы и лишения. Кто дрожит или прячется в убежище, когда видит двух сражающихся людей – трус, а не сторонник ненасилия. Приверженец ненасилия положит свою жизнь, чтобы предотвратить это сражение. Храбрость ненасилия во много раз превосходит храбрость насилия. Символ насилия – его оружие: копье, меч или винтовка. Бог – это щит тех, кто придерживается ненасилия.

Здесь представлен не курс обучения для желающих учиться ненасилию. Но последний легче развивать, исходя из принципов, которые я изложил. Из вышеизложенного очевидно, что между этими двумя видами смелости нет ничего общего. Первый ограничен, второй бесконечен. Нет ничего, что превосходило бы по смелости и силе ненасилие. Ненасилие непобедимо. Нет сомнения, что такое ненасилие достижимо.

### **Критерий ненасилия**

Решающим показателем ненасилия является то, что человек думает, говорит и действует ненасильственно даже тогда, когда его провоцируют применить насилие. Нет никакой заслуги в том, чтобы быть ненасильственным по отношению к хорошим и честным людям. Ненасилие – самая могущественная в мире сила, способная противостоять величайшему искушению. Иисус знал о зле, причиненном «порождениями ехидны», но он просил у Всевышнего снисхождения к ним, «потому что не ведали они, что творили».

Я считаю себя другом миссионеров. Я наслаждаюсь хорошими отношениями со многими из них. Но моя дружба никогда не была слепа к ограниченности моих друзей, их систем или методов. Ложные понятия приличия или страх создать о себе странное мнение часто удерживают людей от высказывания своих мыслей и

окончательно прибавают их к берегу лицемерия. Но если ненасилие в мыслях будет развиваться у индивидов, в обществах и нациях, истина должна быть высказана, как бы груба и непопулярна она ни казалась в данный момент. Просто ненасилие без мысли не имеет большой ценности. Оно не может быть заразительно, оно всегда похоже на лицемерие. Мысль является силой и жизнью ненасилия. Едва ли мы знаем, что мысль – нечто бесконечно большее, чем действие или слово. Когда связаны мысль, слово и дело, последние два ограничивают мысль. А дело есть ограничение слова. Нет нужды говорить, что я имею в виду живую мысль, которая ждет своего воплощения в речи и действии. Мысли без силы есть ничто и дым...

Путь мира есть путь истины. Правда даже более важна, чем мир. Несомненно, ложь – мать насилия. Правдивый человек не может долгое время оставаться насильственным. Он ощутит в процессе своего поиска, что пока в нем остается легкий след насилия, он не найдет истину.

Не существует среднего пути между истиной и ненасилием, с одной стороны, и ложью и насилием – с другой. Ненасилие не может никогда быть излишним в мысли, слове и деле. Мы должны придерживаться ненасилия как своей цели и добиваться прогресса в достижении ее. Достижение свободы человеком, народом или миром должно быть в точном соответствии с достижением ненасилия каждым из них. Давайте обратимся к тем, кто верит в ненасилие как в единственный способ достижения настоящей свободы, несет факел ненасилия, сеющий свет среди сегодняшнего непроходимого мрака. Правда немногих зачтется, неправда миллионов развеется еще прежде дуновения ветра.

**Мохандас Карамчанд Ганди. «Мой Толстой»**

**Изд: Новые пророки. Торо. Толстой. Ганди. Эмерсон, СПб., "Алетейя",  
1996г.**

Сорок лет тому назад, когда я переживал тяжелейший приступ скептицизма и сомнения, я прочитал книгу Толстого "Царство Божие внутри вас", и она произвела на меня глубочайшее впечатление. В то время я был поборником насилия. Книга



Толстого излечила меня от скептицизма и сделала убеждённым сторонником ахимсы. Больше всего меня поразило в Толстом то, что он подкреплял свою проповедь делами и шёл на любые жертвы ради истины. Удивительно, в какой простоте и скромности жил Толстой! Рождённый и воспитанный в роскоши и комфорте богатой аристократической семьи, щедро осыпанный земными благами, какие только можно пожелать, этот человек, познавший все радости жизни, отвернулся от них в расцвете лет и никогда больше ими не прельщался.

Он был самый честный человек своего времени. Вся его жизнь – постоянный поиск, непрерывное стремление найти правду и воплотить её в жизнь. Толстой никогда не пытался скрыть правду, приукрасить её; не страшись ни духовной, ни светской власти, он показал миру вселенскую правду, безоговорочную и бескомпромиссную. Он был величайшим поборником ненасилия нашего времени. Никто на Западе, ни до него, ни после, не писал о ненасилии так много и упорно, с такой проникновенностью и прозорливостью. Более того, выдающийся вклад Толстого в развитие идеи ненасилия способен посрамить нынешнее узкое и искажённое толкование её у нас на родине сторонниками ахимсы. Несмотря на то, что Индия гордо заявляет о своём праве считаться *karmabhumi* – страной, осуществившей ахимсу, несмотря на замечательные открытия в этой области наших древних мудрецов, то, что ныне у нас именуется ахимсой, похоже на пародию. Истинная ахимса должна означать полную свободу от злой воли, гнева и ненависти и беспредельную любовь ко всему существу. Являя своей жизнью образец истинной высочайшей ахимсы, Толстой с его огромной, как океан, любовью к людям служит нам маяком и неиссякаемым источником вдохновения. Критики Толстого писали порой о том, что он потерпел в жизни крах, что он так и не осуществил свой идеал, – не нашёл таинственной зелёной палочки, которую искал всю жизнь. Я не согласен с этими людьми. Верно, Толстой сам писал о своих неудачах. Но это лишь подтверждает его величие. Возможно, Толстой так и не осуществил своей мечты, но такова участь человека. Ни одному существу из плоти и крови не дано достичь совершенства по той простой причине, что совершенство невысказуемо, пока не преодолеешь полностью свой эгоизм, а от эгоизма не избавишься, пока пребываешь

в оковах плоти. Толстой любил повторять: как только поверишь в то, что достиг идеала, дальнейшее развитие приостанавливается, и начинается движение вспять, ведь ценность идеала в том, что он удаляется, по мере того, как мы приближаемся к нему. Следовательно, заявления, что Толстой, по собственному признанию, не осуществил свой идеал, ничуть не уменьшают его величия, а лишь подчёркивают его скромность.

Часто поднимали шум из-за так называемых противоречий в жизни Толстого, но противоречия эти скорее мнимые, чем реальные. Постоянное развитие – закон жизни, и человек, строго придерживающийся собственных догм лишь из боязни показаться непоследовательным, неизбежно ставит себя в дурацкое положение.

Потому-то Эмерсон и сказал, что глупая последовательность – пугало ограниченных умов. Пресловутая непоследовательность Толстого – показатель его роста и страстной приверженности правде. Толстой часто казался непоследовательным потому, что ему было всегда тесно в рамках собственного учения. О его неудачах знали все, о его душевных муках и победах над собой – он один. Мир видел лишь поражения Толстого, победу прежде всего не замечал он сам. Противники пытались нажить капитал на его ошибках, но Толстой всегда был самым строгим своим критиком. Он не давал себе пощады; не успевали критики указать на его ошибки, как он сам возвещал о них на весь мир, тысячекратно преувеличивая их и налагая на себя кару, казавшуюся ему необходимой. Толстой приветствовал критику, даже когда она бывала чрезмерно резкой, и, как все великие люди, боялся людской хвалы. Он был велик даже в своих заблуждениях, и они являлись критерием не тщетности его идеалов, а его успеха.

Ещё одна великая идея Толстого – "труд ради хлеба насущного". Каждый должен в поте лица зарабатывать свой хлеб; жестокая нищета в мире объясняется тем, что люди уклоняются от этой своей обязанности. Толстой полагал лицемерием и мошенничеством все проекты по облегчению жизни бедствующих масс за счёт филантропии богатых, наслаждающихся роскошью и праздностью; пусть слезут с хребта бедняков, говорил он, и пресловутая филантропия никому не понадобится. Верить для Толстого означало трудиться. И на склоне лет этот человек, проживший

жизнь в холе и неге, занялся тяжёлым физическим трудом. Он стал сапожником и крестьянином, работал, не разгибаясь, по восемь часов в день. Но физический труд не притупил его могучего интеллекта – напротив, он лишь придал ему остроту и блеск; именно в этот период, в свободное от избранного им тяжёлого труда время он написал книгу "Что такое искусство?", которую считал своим лучшим произведением. С Запада в нашу страну хлынул поток литературы, заражённой вирусом

потакания человеческим слабостям, она преподносится в броской привлекательной форме, поэтому наша молодёжь должна быть начеку как никогда. Наш век – век меняющихся идеалов и тяжёлых испытаний, в этот кризисный период важнее всего, чтобы для молодёжи, особенно индийской, стало примером самоограничение Толстого, ибо только оно может даровать подлинную свободу нам, нашей стране и всему миру. Мы сами в большей степени, нежели Англия либо кто-нибудь ещё, преграждаем себе путь к свободе своей инерцией, апатией, социальной бездеятельностью. Если мы очистимся от этой скверны, никакая сила на земле не помешает нам обрести сварадж. В этот час испытаний, выпавших на нашу долю, молодёжь должна непременно следовать трём основным заповедям Толстого, упомянутым мной выше.

#### *Комментарий.*

Мой Толстой. Выдержка из речи Ганди в связи со столетием со дня рождения Л.Н.Толстого, заимствованная из сборника его работ и высказываний, вышедшего в Индии под названием "Все люди – братья" (на английском языке) в 1960 году. *Ахимса* (букв. "отрицание химсы, насилия") – ненасилие, непричинение зла, воздержание от причинения страданий. Учение ахимсы существовало ещё в древней Индии и является неотъемлемой частью всех религий Индии.

*Сварадж* (букв. "своё правление") – термин, выдвинутый в качестве лозунга в борьбе за независимость Индии на Калькуттской сессии Индийского национального конгресса в 1906 г. В программном требовании Конгресса говорилось о предоставлении Индии самоуправления – "такого же, как в Англии и в самоуправляющихся странах Британской империи".

**Мартин Лютер Кинг «Паломничество к ненасилию» Перевод сделан по изданию: King M. L. Stride Toward Freedom. N. Y., 1958. Изд: Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. 1991, М., "Республика", 1992, Пер: с английского Г. А. Мироновой**

### **Паломничество к ненасилию.**

Вопрос относительно моего собственного духовного паломничества к ненасилию встает часто. Для ответа на него следует вернуться к времени моей ранней юности, проведенному в Атланте. Я вырос, питая отвращение не только к самой сегрегации, но и к варварским и тягостным ее последствиям. Я бывал там, где негров жестоко линчевали, и видел ку-клукс-клан во время его ночных сборищ. Я наблюдал собственными глазами жестокость полиции и самую жуткую несправедливость суда в отношении негров. Все это оказало влияние на формирование моей личности. Я был недалеко от того, чтобы возненавидеть всех белых людей.

Кроме того, я осознал неотделимость расовой несправедливости от экономической. Хотя вырос я в стабильных и относительно комфортных материальных условиях, я не мог избавиться от мысли об отсутствии экономической устойчивости у многих моих приятелей и катастрофической бедности тех, кто жил рядом со мной. В юношеском возрасте я работал во время двух летних каникул. Это случилось против воли моего отца, никогда не хотевшего, чтобы мы с братом работали рядом с белыми из-за тяжелых условий на том заводе, куда на работу брали и негров, и белых. Здесь я впервые столкнулся с экономической несправедливостью и пришел к пониманию того, что белые, как и негры, подвергаются эксплуатации. Благодаря приобретенному раннему опыту я вырос глубоко убежденным в существовании самых разнообразных проявлений несправедливости в нашем обществе.

Став в 1944 г. первокурсником колледжа Мурхауз в Атланте, я понял обоснованность собственных волнений по поводу расовой и экономической несправедливости. В студенческие годы в Мурхаузе я в первый раз прочитал "Очерки по социальному неповиновению" Торо. Очарованный его идеей отказа от сотрудничества с этой несправедливой системой, я был настолько потрясен, что несколько раз перечитал эту работу. Это был мой первый духовный контакт с теорией ненасильственного сопротивления.

Однако только после поступления в теологическую семинарию Крозера я всерьез занялся интеллектуальным поиском способа устранения социального зла. Хотя мой основной интерес относился к сфере теологии и философии, я проводил много времени, читая произведения выдающихся социальных философов. Я рано познакомился с работой Уолтера Раушенбаха "Христианство и социальный кризис", которая оставила неизгладимый отпечаток в моем сознании, явилась теологическим базисом для формирования у меня с юности благодаря раннему жизненному опыту потребности думать об обществе. Естественно, что я не был согласен с Раушенбахом в некоторых моментах. Я чувствовал, что он пал жертвой присущего XIX столетию "культа неизбежности прогресса", который привел его к поверхностному оптимизму в оценке природы человека. Более того, он рискованно близко подошел к отождествлению Царства Божьего с определенной социальной и экономической системой, что было несвойственно христианской церкви. Невзирая на эти недостатки, Раушенбах сослужил церкви хорошую службу, отстаивая точку зрения, согласно которой проповедь должна быть обращена к человеку в целом – не только к его душе, но и к телу, обосновывая необходимость заботиться не только о духовном, но и о материальном благополучии человека. С тех пор как я прочитал Раушенбаха, моим убеждением стало то, что религия, признающая важность заботы о людских душах, но не затрагивающая общественные и экономические условия, ранящие эти души, – это религия с умирающим духом, ожидающая только того дня, когда ее похоронят. Хорошо сказано: "Религия кончается там, где кончается человек".

После знакомства со взглядами Раушенбаха я обратился к серьезному изучению социальных и этических теорий великих философов – от Платона и

Аристотеля до Руссо, Бентама, Гоббса, Милля и Локка. Эти великие умы стимулировали развитие моего мышления. Обращая внимание на спорные моменты у каждого из них, я многому научился.

Во время рождественских каникул 1949 г. я решил провести свободное время, читая Карла Маркса, для того чтобы попытаться понять привлекательность идеи коммунизма для многих людей. Впервые я тщательно исследовал "Капитал" и "Коммунистический манифест". Кроме этого я ознакомился с некоторыми комментариями к учениям Маркса и Ленина. Анализируя эти произведения, я пришел к выводам, которые стали моими убеждениями и остаются ими по сегодняшний день. Прежде всего, я не принял материалистическое понимание истории. При коммунизме, открыто секуляристическом и материалистическом, для Бога нет места. Этого я, как христианин, никогда не мог понять, так как я верю, что в этой вселенной существует творящая персональная сила, которую языком материализма объяснить невозможно. В конечном счете и история направляется духом, а не материей. Во-вторых, я убежденно не согласен с коммунистическим этическим релятивизмом. С тех пор как для коммуниста не существует божественного правления, не существует и абсолютного морального закона, неизменных непреложных моральных принципов, в результате этого почти все – сила, насилие, убийство, ложь – является оправданным средством для достижения "тысячелетней" цели. Такой релятивизм вызывает у меня отвращение. Конструктивные цели не могут давать абсолютное моральное оправдание деструктивным средствам, потому что в конечном итоге существованию цели предшествует существование средства. В-третьих, я выступаю против политического тоталитаризма коммунизма. При коммунизме человек погибает, поглощенный государством. Правда, марксист стал бы спорить, что государство является "временной" реальностью, которая будет ликвидирована, когда возникнет бесклассовое общество; но пока государство существует, именно оно является целью, а человек – только средством для ее достижения. И если какие-либо из так называемых прав или свобод человека станут на пути достижения этой цели, они просто будут сметены в сторону. Свобода слова, свобода голосования, свобода

слушать те новости, которые нравятся самому человеку, или свобода выбора книг для чтения – все это имеет определенный предел. Человек при коммунизме становится едва ли чем-то большим чем стандартный зубец во вращающемся колесе государства.

Я не мог принять принижение индивидуальной свободы. И сейчас я убежден в том, что человек является целью, потому что он – творение Бога. Не человек создан для государства, а государство для человека. Лишить человека свободы – это значит принизить его в большей степени до статуса вещи, а не поднять до уровня личности. К человеку никогда нельзя относиться как к средству для достижения целей государства, а только как к цели самой по себе.

Несмотря на то что мое отношение к коммунизму было и остается негативным и я рассматриваю его как зло, в нем есть некоторые моменты, которые представляются привлекательными. Прежний архиепископ Кентерберийский Уильям Темпл к коммунизму относился как к христианской ереси. При этом он понимал, что в коммунистическом учении придается определенное значение тем истинам, которые являются сутью христианского понимания вещей, но с этим граничат концепции и практические действия, которые ни один христианин не сможет принять или исповедовать. Коммунизм заставил бывшего архиепископа, как заставил и меня, обратить внимание на проблему социальной справедливости. При всех его ложных послылках и порочных методах, коммунизм возник в качестве протеста на лишения неимущих. Теоретически в коммунистическом учении придается особое значение бесклассовому обществу и заботе о социальной справедливости, но мир знает из печального опыта, что на практике были созданы новые классы и новый язык несправедливости. Христианин всегда обязан откликаться на любой протест против несправедливого отношения к бедным, христианство само является таким протестом, нигде более не выраженным так красноречиво, как в словах Иисуса: "Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное" (Лк., 4; 18-19).

Еще я пытался найти четкие ответы на критику Марксом современной буржуазной культуры. Он представил сущность капитализма как борьбу между владельцами производственных ресурсов и рабочими, которых Маркс считал настоящими производителями. Под экономическими силами Маркс понимал диалектический процесс, благодаря которому общество продвинулось от феодализма через капитализм к социализму. Основным механизмом этого исторического движения является борьба экономических классов, имеющих несовместимые интересы. Очевидным представляется то, что эта теория не приняла во внимание имеющие большое значение многочисленные сложные образования – политические, экономические, моральные, религиозные и психологические, которые играли жизненно важную роль в создании созвездия институтов и идей, известных сейчас под именем западной цивилизации. Сверх того, к этому можно отнести и тот факт, что капитализм, о котором писал Маркс, имеет только частичное сходство с современным капитализмом, известным нам в этой стране.

Несмотря на недостатки своего анализа, Маркс поставил ряд важнейших вопросов. С ранней юности меня глубоко задевала пропасть между чрезмерным богатством и крайней нищетой, чтение Маркса же заставило меня прочувствовать эту пропасть еще глубже. Хотя современный американский капитализм путем социальных реформ во многом уменьшил это расхождение, потребность в лучшем распределении богатств еще существует. Более того, Маркс обнаружил опасность корыстолюбивых побуждений как самого глубокого основания экономической системы, при капитализме всегда существует опасность настраивания человека на большую заботу о проживании, чем о жизни. Мы склонны скорее судить об успехе по индексу заработной платы или по размеру автомобиля, чем по качеству работы и отношению к человечеству, – таким образом, капитализм может привести нас к практическому материализму, который так же пагубен, как и материализм, которому учит коммунизм.

Короче говоря, я прочитал Маркса, как прочитал всех влиятельных исторических мыслителей, – диалектически, сочетая частичные "да" с частичными "нет". Пока Маркс постулировал метафизический материализм, этический



релятивизм и удушающий тоталитаризм, я отвечал недвусмысленным "нет"; но когда он указывал на слабость классического капитализма, внося тем самым свой вклад в рост самосознания масс и бросая вызов учению христианской церкви, я отвечал четким "да".

Мое чтение Маркса убедило меня еще и в том, что истину нельзя обнаружить ни в марксизме, ни в традиционном капитализме. И там и там заключена лишь ее часть. Исторически капитализм не смог увидеть истину в коллективном начинании, а марксизм не смог найти ее в начинаниях индивидуальных. Капитализм XIX столетия не смог заметить, что человеческая жизнь является социальной, а марксизм не обнаружил и до сих пор не замечает, что жизнь является индивидуальной и глубоко личностной. Царство Божье – не тезис индивидуального начинания и не антитезис коллективного, но синтез, способный примирить истину обоих.

Во время моего пребывания в семинарии Крозера я впервые раскрыл для себя истины пацифизма в лекциях доктора А. Дж. Маете. Я был увлечен речью доктора Маете, но далек от веры в практическую значимость его позиции. Как и большинство студентов, я чувствовал, что война не может быть оценена положительно или в качестве абсолютного блага, но может быть полезной в смысле предотвращения распространения и роста силы зла. Война, ужасная сама по себе, может быть предпочтительнее подчинению тоталитарной системе – нацистской, фашистской или коммунистической.

В этот период я почти разуверился в силе любви в решении социальных конфликтов. Быть может, моя вера в любовь временно пошатнулась под влиянием философии Ницше. Я читал отрывки из "Происхождения морали" и полностью "Волю к власти". Прославление власти – а в учении Ницше вся жизнь является выражением воли к власти – отражало его презрение к обычной морали. Он атаковал всю древнееврейскую христианскую мораль с ее добродетелями благочестия и смирения и ее отношением к страданию как к прославлению слабости, с ее утверждением добродетелей из необходимости и бессилия. Он уповал на становление сверхчеловека, который превзойдет человека в той же степени, в какой человек превзошел обезьяну.

Однажды в воскресенье днем я поехал в Филадельфию, чтобы услышать проповедь доктора М. Джонсона, президента Хоувордского университета. Он был там для того, чтобы молиться за Дом Товарищества в Филадельфии. Доктор Джонсон накануне вернулся из поездки в Индию и, что меня особенно заинтересовало, говорил о жизни и учении Махатмы Ганди. Его сообщение было настолько глубоким и зажигательным, что, покинув собрание, я купил полдюжины книг о жизни Ганди и его собственные труды.

Как и большинство, я слышал про Ганди, но серьезно его никогда не изучал. Во время чтения я был совершенно покорен его кампаниями в поддержку ненасильственного сопротивления. Особенно поразил меня Солевой Марш к морю и огромное число его сторонников. Концепция Сатьяграхи (в пер. с санскр. Satya – истина, тождественная любви; Graha – сила; Satyagraha – истинная сила, или сила любви) в целом имела для меня огромное значение. Когда я углубился в изучение философии Ганди, мой скептицизм относительно силы любви значительно ослабел и я впервые увидел ее реальную способность действовать в сфере социальных реформ. До чтения Ганди я пришел к выводу, что мораль Иисуса является эффективной только для личных отношений. Мне представлялось, что принципы "подставьте другую щеку", "возлюбите врагов ваших" имели практическую ценность и там, где индивиды конфликтовали друг с другом; там же, где был конфликт между расовыми группами или нациями, был необходим другой, более реалистичный подход. Но после прочтения Ганди я осознал, что полностью ошибался.

Ганди был, наверное, первым в истории человечества, кто поднял мораль любви Иисуса над межличностными взаимодействиями до уровня мощной и эффективной силы большого размаха. Для Ганди любовь была сильнодействующим орудием в деле социальных коллективных преобразований. Именно в том, что Ганди придавал особое значение любви и ненасилию, я нашел метод для социальных преобразований, который искал много месяцев. То интеллектуальное и моральное удовлетворение, которое мне не удалось получить от утилитаризма Бентама и Милля, от революционных методов Маркса и Ленина, от теории общественного договора Гоббса, от оптимистического призыва Руссо "назад к природе", от

философии сверхчеловека Ницше, я нашел в философии ненасильственного сопротивления Ганди. Я начал чувствовать, что это был единственный моральный и практически справедливый метод, доступный угнетенным в их борьбе за свободу.

Но моя духовная одиссея к ненасилию на этом не закончилась. Во время последнего года обучения в теологической школе я начал читать произведения Рейнхольда Нибура. Пророческие и трезвые элементы страстного стиля Нибура вызвали ко мне, и я был настолько очарован его социальной этикой, что практически попал в ловушку всего им написанного.

К тому времени я читал критику Нибуром пацифистской позиции. Нибур сам примыкал к рядам пацифистов. В течение нескольких лет он был национальным председателем Товарищества Примирения. Его разрыв с пацифизмом относится к началу 30-х годов, а первым деятельным критическим заявлением в адрес пацифизма была его книга "Моральный человек и аморальное общество". Там он настаивал на том, что не существует внутреннего отличия насильственного сопротивления от ненасильственного. По его утверждению, социальные последствия этих двух методов отличались, но это было отличие в частностях, не по существу. Позже Нибур стал подчеркивать безответственность упования на то, что ненасильственное сопротивление может стать успешным в предотвращении распространения тоталитарной тирании. Оно может иметь успех только в том случае, утверждал Нибур, если те группировки, против которых сопротивление направлено, обладают определенным уровнем развития морального сознания, как это было в борьбе Ганди против англичан. Полное неприятие Нибуром пацифизма было основано преимущественно на учении о человеке. Он утверждал, что пацифизм не смог справедливо отнестись к учению об оправдании верой, заменив его сектантским перекейонизмом зла, при этом утверждает, что "божественное благоволение вознесет человека над грешными противоречиями истории и установит его над греховным миром".

Вначале критика Нибуром пацифизма привела меня в смятение. Продолжая читать, я, однако, стал замечать все больше недостатков в его позиции. К примеру, во многих его утверждениях обнаруживалось, что он толкует пацифизм как

разновидность пассивного несопротивления злу, выражающую наивную веру и любовь. Но это было серьезным искажением. Мое изучение Ганди убедило меня, что настоящий пацифизм является не несопротивлением злу, а ненасильственным сопротивлением злу. Между этими двумя позициями существует большая разница. Ганди сопротивлялся злу с огромной энергией и силой, но он оказывал сопротивление любовью, а не ненавистью. Настоящий пацифизм не является безвольной покорностью силе зла, как утверждал Нибур. Это скорее мужественное противостояние злу силой любви, основанное на вере в то, что лучше терпеть зло, чем причинять его, так как последнее только увеличивает количество зла и несчастий во вселенной, тогда как терпение может вызвать чувство стыда у противника и тем самым произвести изменения в его сердце. -Несмотря на тот факт, что некоторые утверждения Нибура можно оспаривать, его взгляды оказали конструктивное влияние на мое мышление. Огромный вклад Нибура в современную теологию связан с тем, что он опроверг ложный оптимизм, свойственный большей части протестантского либерализма, не впадая при этом в антирационализм европейского теолога Карла Барта или полуфундаментализм других теологов-диалектиков. Более того, у Нибура было потрясающее внутреннее видение человеческой природы, особенно поведения наций и социальных групп. Он четко осознавал сложность человеческих мотивов и отношений между моралью и силой. Его теология является настойчивым напоминанием о реальности существования греха на любом уровне существования человека. Эти элементы Нибура помогли мне осознать иллюзии поверхностного оптимизма касательно природы человека и опасность ложного идеализма. Тогда я еще уповал на способность человека к добру, Нибур же заставил меня понять и его способность ко злу. Более того, Нибур помог мне осознать сложность социальных связей и бросающуюся в глаза реальность существования коллективного зла.

Я ощущал, что большинству пацифистов понять этого не удалось. Слишком многим из них был свойствен неоправданный оптимизм относительно человека, и они бессознательно склонялись к уверенности в собственной правоте. Под влиянием Нибура у меня выработалось отвращение к такому отношению, чем объясняется то,

что, невзирая на мою сильную тягу к пацифизму, я никогда не вступал в пацифистские организации. После прочтения Нибура я пришел к мысли о реальном пацифизме. Другими словами, я стал принимать пацифистскую позицию не как безгрешную, а как меньшее зло при существующих обстоятельствах. Тогда я почувствовал и чувствую это сейчас, что пацифизм мог бы быть более привлекательным, если бы не претендовал на свободу от моральных дилемм, чему противостоят христиане-непацифисты.

Следующая стадия моего духовного паломничества к ненасилию наступала во время работы над докторской диссертацией в Бостонском университете. Там у меня была возможность беседовать со многими представителями направления ненасилия, как со студентами, так и с теми, кто приходил на территорию университета. В теологической школе Бостонского университета с глубокой симпатией относились к пацифизму благодаря влиянию Дина Уолтера Милдера и профессора Алана Найта Челмерса. И Дин Милдер и доктор Челмерс были страстными сторонниками идеи социальной основы справедливости, причиной чего был не поверхностный оптимизм, а глубокая вера в возможность человеческих существ к возвышению, если они станут следовать учению Господа. Именно в Бостонском университете я пришел к выводу, что Нибур переоценил испорченность человеческой природы. Его пессимизм относительно природы человека не был уравновешен оптимизмом в отношении природы божественного. Он был настолько увлечен постановкой диагноза о подверженности человека греху, что проглядел исцеление молитвой.

Философию и теологию в Бостонском университете я изучал под руководством Эдгара С. Брайтмена и Л. Харольда де Вулфа. Оба они во многом стимулировали мое мышление. Главным образом под их руководством я познал философию персонализма – учение, в котором ключ к пониманию вечной реальности находится в личности человека. Этот персональный идеализм и сейчас остается моей основной философской позицией. Уверенность персонализма в том, что только личность – ограниченная и беспредельная – является абсолютной реальностью, укрепила два моих убеждения: дала мне метафизическое философское обоснование идеи о

персональном Боге, предоставила метафизический базис для утверждения достоинства и ценности всей личности человека.

Незадолго до смерти доктора Брайтмена мы с ним начали заниматься философией Гегеля. Хотя – в основном – курс заключался в изучении монументальной работы "Феноменология духа", я проводил свободное время за чтением "Философии истории" и "Философии права". Были моменты в философии Гегеля, с которыми я был решительно не согласен. Например, его абсолютный идеализм был мне совершенно несимпатичен, потому что имел тенденцию к поглощению множественного единым. Но были другие аспекты его учения, которые показались мне стимулирующими развитие мысли. Его утверждение, что "истина – это целое", привело меня к философскому методу рациональной связи. Его анализ диалектического процесса, невзирая на недостатки, помог мне увидеть, что развитие происходит через борьбу.

К 1954 г. я завершил изучение всех этих относительно расходящихся интеллектуальных традиций, объединив их в позитивную социальную философию. Одним из основных догматов этой философии было убеждение в том, что ненасильственное сопротивление является одним из мощнейших орудий, доступных угнетенным людям в их поиске социальной справедливости. В то время, однако, у меня было только интеллектуальное понимание этой позиции, без твердой решимости воплотить ее в реальных социальных условиях.

Когда я ехал служить священником в Монтгомери, у меня не было и мысли, что я окажусь вовлеченным в кризисную ситуацию, когда придется на практике применять метод ненасильственного сопротивления. Я не начинал действий протеста и не предлагал их. Я просто отозвался на людской призыв стать их представителем. Когда начался протест, мои мысли осознанно или неосознанно возвратились к Нагорной проповеди с ее величественным учением о любви и к методу ненасильственного сопротивления Ганди. С течением времени я начал понимать силу ненасилия все глубже и глубже. Пройдя через действительный опыт протеста, ненасилие стало больше чем метод, с которым я был теоретически согласен; оно стало обязательством жить определенным образом. Многие из проблем, касающихся

ненасилия, которые я не мог прояснить для себя интеллектуально, разрешились в сфере практических действий.

С тех пор как философия ненасилия сыграла такую важную роль в Движении в Монтгомери, было бы разумно обратиться непосредственно к краткому обсуждению некоторых основных аспектов этой философии.

Во-первых, следует обязательно выделить, что ненасильственное сопротивление – это не метод для трусов, это сопротивление. Если кто-нибудь использует этот метод потому, что боится, или просто потому, что у него не хватает орудий насилия, то он ненастоящий сторонник ненасилия. Поэтому Ганди часто говорил, что если считать трусость единственной альтернативой насилию, то лучше сражаться. Он сделал, это заявление, будучи уверенным, что всегда существует и другая альтернатива: ни один человек, ни группа людей не должны подчиняться никакой несправедливости, не должны они и использовать насилие, чтобы оправдать эту несправедливость, – существует путь ненасильственного сопротивления. Это в конечном счете путь сильных людей. Это не является воплощением инертной пассивности. Фраза "пассивное сопротивление" часто производит ложное впечатление, будто бы это является разновидностью метода неучастия, согласно которому сопротивляющийся спокойно и пассивно принимает зло. Но ничто другое так не далеко от истины, как это утверждение. На протяжении того времени, в течение которого сторонник ненасильственного сопротивления пассивен, в том смысле, что он не агрессивен физически в отношении своих противников, его разум и эмоции всегда направлены на убеждение противника в его неправоте. Это – метод физической пассивности, но мощной духовной активности. Это не пассивное непротивление злу, а активное ненасильственное сопротивление злу.

Вторым основным моментом для характеристики ненасилия является то, что с его помощью не стремятся победить или унижить противника, но пытаются завоевать его дружбу и понимание. Участник ненасильственного сопротивления вынужден зачастую выражать свой протест путем несотрудничества или бойкотов, но он понимает, что это не является целью самой по себе, а только лишь средством для пробуждения морального стыда у противника. Целью является освобождение и

примирение. Последствия ненасилия заключаются в создании общности, тогда как последствием насилия является трагическая горечь.

Третьей характеристикой этого метода является то, что атака направлена против сил зла в большей степени, чем против тех людей, которым пришлось творить это зло. Именно зло стремится победить участник ненасильственного сопротивления, а не людей, ставших жертвами этого зла. Если он противостоит расовой несправедливости, то понимает, что основное напряжение связано не с отношением между расами. Как я любил говорить людям в Монтгомери: "Напряжение в городе существует не между белыми и неграми. В своем основании оно существует между справедливостью и несправедливостью, между силами света и силами тьмы. И если будет наша победа, то это будет победа не пятидесяти тысяч негров, но победа справедливости и светлых сил. Мы выступили для того, чтобы победить несправедливость, а не против тех белых людей, которые являются ее носителями".

Четвертым пунктом, характеризующим ненасильственное сопротивление, является желание принимать страдания без возмездия – принимать удары противника, не отвечая на них. "Реки крови, быть может, протекут, пока мы завоюем себе свободу, но это должна быть наша кровь", – говорил Ганди своим соотечественникам. Участник ненасильственного сопротивления стремится принять насилие, если это неизбежно, но никогда не нанесет ответный удар. Он не ищет при этом возможности уклониться от тюрьмы. Если тюремное заключение неизбежно, он входит в тюрьму, "как жених входит в комнату невесты".

Каждый может задать справедливый вопрос: "Какое оправдание имеют сторонники ненасильственного сопротивления для тех суровых испытаний, которым они подвергают людей, призывая следовать старинной позиции "подставить другую щеку"? Ответ заключается в том, что незаслуженные страдания являются искуплением. Страдание – в понимании сторонников ненасилия – имеет огромное количество образовательных и преобразовательных возможностей. "Те вещи, которые имеют для людей фундаментальное значение, не могут быть достигнуты с помощью одного лишь разума, их необходимо выстрадать", – говорил Ганди. Он



продолжал: "Страдание безгранично сильнее закона джунглей в деле обращения противника в свою веру, чтобы он услышал то, что недоступно для голоса разума".

Пятым пунктом, определяющим ненасильственное сопротивление, является то, что с его помощью можно избежать не только внешнего физического насилия, но и внутреннего насилия духа. Борец за ненасилие отказывается не только стрелять в противника, но и ненавидеть его. Центром ненасилия является принцип любви. Борец за ненасилие будет утверждать, что в борьбе за человеческое достоинство угнетенные люди всего мира не должны уступить искушению ожесточиться или дать себе волю участвовать в кампаниях ненависти. Это бы не привело ни к чему, кроме усиления существующего зла во вселенной. На протяжении всего существования жизни кто-нибудь должен иметь достаточно разума и моральности, чтобы разорвать цепочку зла и ненависти. Этого можно достичь, только возводя мораль любви в центр всей нашей жизни.

Говоря о любви в этом смысле, мы не отсылаем к сентиментальным нежным эмоциям. Было бы нелепо настаивать на том, что люди должны любить и относиться с нежностью к тем, кто их угнетает. В этой связи любовь означает понимание, искупающее добрую волю. Здесь на помощь приходит греческий язык. Для обозначения любви в греческом варианте Нового завета есть три слова. Первое – это эрос. В платонической философии эрос означал стремление души к сфере божественного. Теперь это стало означать разновидность эстетической, романтической любви. Во-вторых, существует филиа, которая обозначает интимные чувства между людьми. Филиа обозначает вид взаимной любви, когда человек любит, потому что любят его. Когда же мы говорим о любви к тем, кто нам противостоит, мы говорим не о филиа и не об эросе – мы говорим о любви, которая в греческом языке обозначается словом "агапе". Агапе обозначает понимание, распространенное доброй волей всех людей. Это переполняющая любовь, которая чисто спонтанная, немотивированная, необоснованная и созидательная. Она не начинается из-за наличия какого-либо качества или свойства объекта. Это божественная любовь, живущая в сердцах людей.

Агапе – это незаинтересованная любовь. Это любовь, в которой индивид стремится найти добро не для себя, а для своего ближнего (1 Кор., 10; 24). Агапе не начинается с разного отношения к достойным и недостойным людям и качествам, которыми они обладают. Она начинается с любви к другим ради них самих. Это полностью "касающаяся ближнего забота об остальных", которая находит ближнего в каждом встречном человеке. В данном случае агапе не делает различия между другом и врагом, этот вид любви касается обоих. Если кто-то любит кого-то только из чувства дружелюбия, он любит его в большей степени ради пользы, которую он получает в результате этой дружбы, чем ради своего друга. Следовательно, лучшим способом, чтобы убедить себя в незаинтересованности любви, является любовь к своему врагу-ближнему, от которого нельзя ожидать в ответ ничего хорошего, кроме враждебности и преследования.

Другим важным моментом, характеризующим агапе, является то, что она возникает из потребности в другом человеке – его потребности принадлежать к лучшему, что есть в человеческом обществе. Самаритянин, который помог еврею по дороге на Иерихон, был "добрым", потому что чувствовал себя ответственным за потребности всего человечества, которое он представлял. Любовь Бога является вечной и ослабевает не потому, что она нужна человеку. Святой Павел уверил нас, что акт любви-спасения произошел, "когда мы были еще грешниками", – и это пик нашей великой потребности в любви. С тех пор как личность белого человека в большой степени разрушена сегрегацией, он нуждается в любви негра. Негры обязаны любить белых, потому что белые нуждаются в их любви, чтобы стереть пятно напряжения, нестабильности и страха.

Агапе не является слабой, пассивной любовью. Это любовь в действии. Это любовь, стремящаяся защитить и сотворить сообщество. Она настаивает на общности, даже когда кто-то стремится эту общность разрушить. Агапе – это желание идти до конца ради восстановления общности. Она не остановится на первой миле, а пройдет вторую, чтобы восстановить общность, Это желание просить не семь раз, а семьдесят семь, чтобы восстановить общность. Крест – это вечное выражение длины, до которой дойдет Бог, чтобы восстановить общность.

Воскрешение является символом божественного превосходства над всеми силами, которые стремятся этой общности препятствовать. Святой дух является продолжающейся общностью, создающей реальность, проходящую через все существующее. Тот, кто действует вопреки общности, действует вопреки творению. Поэтому, если я отвечаю на ненависть эквивалентной ненавистью, я не делаю ничего, кроме усиления раскола в разрушенной общности. Я могу закрыть брешь в разрушенной общности, только встречая ненависть любовью. Если я встречу ненависть ненавистью, я перестану быть личностью, потому что так создано, что личность может быть полной только в контексте общности. Т. Вашингтон был прав: "Не позволяйте человеку завести вас так далеко, чтобы ненавидеть его". Когда он заведет вас так далеко, он приведет вас к той позиции, которая будет против общности, он втянет вас в разрушение создания, разрушив тем самым личность.

В конечном итоге агапе – познание того факта, что жизнь взаимосвязана. Все человечество включено в единый процесс, а все люди – братья. В той мере, в какой я причиняю вред своему брату, независимо от того, что он делает мне, – я причиняю вред себе. Например, белые люди часто отказывают в федеральной помощи образованию, чтобы избежать предоставления неграм их прав, но из-за того, что все люди братья, они не могут отказывать негритянским детям, не причиняя вреда своим собственным. Напротив, их усилия заканчиваются нанесением ущерба самим себе. Почему так происходит? Потому что все люди – братья. Если нанесешь вред мне, нанесешь и себе.

Любовь, агапе, является единственным цементом, способным укрепить разрушенную общность. Когда мне свыше приказано любить, мне приказано соединять разрушенную общность, противостоять несправедливости и удовлетворять потребности моих братьев.

Шестой основной характеристикой ненасильственного сопротивления служит понимание того, что на стороне справедливости находится весь мир. Поэтому тот, кто верит в ненасилие, – глубоко верит в будущее. Вера является причиной, по которой участник ненасильственного сопротивления принимает страдания без возмездия. Он знает, что в его борьбе за справедливость космос на его стороне. Есть

преданные, верящие в ненасилие люди, которые не могут верить в существование персонального Бога. Но даже эти люди верят в наличие некой творящей силы, которая действует ради полноты вселенной. И как бы мы ни называли это — неосознаваемым безличностным процессом или Персональным существом, — мы признаем существование творящей силы и некой любви, которая действует, чтобы привести несвязанные аспекты реальности в гармонию.

**А.А.Гусейнов. «Понятие насилия и ненасилия»**

**Вопросы философии.— 1994.— №6.**

Тему доклада мне хотелось бы ограничить вопросом о соотношении понятий насилия и ненасилия. Еще конкретнее — анализом того, являются ли они, эти понятия, диалектической парой наподобие левого и правого или представляют собой различные стадии в развитии одного и того же процесса. Речь идет о том, выражают ли эти понятия альтернативные или последовательно меняющиеся друг друга способы действия.

1. В определении понятия насилия существуют два подхода, один из которых можно назвать абсолютистским, другой — прагматическим.

Согласно первому, понятие насилия несет четко выраженную негативную оценочную нагрузку, которую, впрочем, это слово имеет уже в естественном языке; оно, кроме того, употребляется в очень широком значении, включающем все формы физического, психологического, экономического подавления и соответствующих им душевных качеств, как ложь, ненависть, лицемерие и т. д. Насилие, по сути дела, прямо отождествляется (во всех его многообразных проявлениях) со злом вообще. При таком подходе возникают, как минимум, две трудности: во-первых, снимается проблема оправдания насилия, возможности его конструктивного использования; само понятие как бы предрекает проблему, с самого начала содержит в себе ответ на вопрос, который подлежит обсуждению. Во-вторых, отрицание насилия выглядит как сугубо моральная программа, вступающая в непримиримую конфронтацию с реальной жизнью. Не случайно, например, Л. Н. Толстой, который наиболее

последовательно придерживался этой интеллектуально-духовной традиции, вкладывая в понятие насилия сугубо негативный и предельно широкий смысл, был одновременно радикальным критиком современной цивилизации, всех свойственных ей форм эгоизма и принуждения; для него, в частности, в плане отношения к насилию не было большого различия между разбойниками с большой дороги и законными монархами, а если и было, то никак не в пользу вторых. Морализирующий абсолютизм является, на мой взгляд, одной из основных причин, в силу которой идеи ненасилия сегодня, в конце XX в., в обществе находят почти так же мало отклика, как и две с половиной тысячи лет назад, когда они впервые возникли. Люди — не ангелы; об этом можно сожалеть, но изменить такое положение дел нельзя.

Прагматический подход ориентируется на ценностно нейтральное и объективное определение насилия и отождествляет его с физическим и экономическим ущербом, который люди наносят друг другу; насилием считается то, что, очевидно, является насилием — убийство, ограбление и пр. Такая интерпретация позволяет ставить вопрос об оправданности насилия, возможности его использования в определенных ситуациях, но при этом отсутствует критерий для его решения.

Обычный довод состоит в том, что насилие оправдано в сравнительно малых дозах,— в тех случаях, когда оно предотвращает большее насилие, которое к тому же никаким иным способом предотвратить невозможно. На это следует прежде всего заметить, что не существует единицы измерения насилия. Проблема становится особенно безнадежной, когда речь идет об упреждении насилия. Толстой говорил: пока насилие не совершено, никогда нельзя с абсолютной достоверностью утверждать, что оно будет совершено и потому попытки оправдать одно насилие необходимостью предотвращения другого всегда будут логически уязвимыми и нравственно сомнительными. Насилие невозможно сосчитать, измерить, даже если его можно было бы охватить чисто внешним образом. На самом деле насилие не сводится к внешним своим проявлениям. Боль от случайно вывихнутого плеча и боль от удара дубинки омовца — разные боли, и человек может предпочесть

первую второй, даже если она количественно будет тысячекратно превышать ее. Обозначить эту разницу, оставаясь в пределах строго объективистского определения, нельзя. Проблема отношения к насилию тем самым теряет нравственную напряженность.

Трудности, связанные с определением насилия, получают разрешение, если поместить его в пространство свободной воли и рассматривать как одну из разновидностей власто-волевых отношений между людьми. Кант в «Критике способности суждения» (§ 28) определял силу как «способность преодолеть большие препятствия. Та же сила называется властью (Gewalt), если она может преодолеть сопротивление того, что само обладает силой»<sup>5</sup> По-другому власть в человеческих взаимоотношениях можно было бы определить как принятие решения за другого, умножение, усиление одной воли за счет другой. Насилие есть один из способов, обеспечивающих господство, власть человека над человеком. Основания, в силу которых одна воля господствует, властвует над другой, подменяет ее, принимает за нее решения, могут быть разными: а) некое реальное превосходство в состоянии воли : типичный случай — патерналистская власть, власть отца; б) предварительный взаимный договор : типичный случай — власть закона и законных правителей; в) насилие : типичный случай — власть оккупанта, завоевателя, насильника. Так вот, насилие — не вообще принуждение, не вообще ущерб жизни и собственности, а такое принуждение и такой ущерб, которые осуществляются вопреки воле того или тех, против кого они направлены. Насилие есть узурпация свободной воли. Оно есть посягательство на свободу человеческой воли.

При таком понимании понятие насилия приобретает более конкретный и строгий смысл, чем если просто отождествлять его с властью или трактовать как вообще разрушительную силу. Оно позволяет насилие как определенную форму общественного отношения отличать, с одной стороны, от инстинктивных природных свойств человека: агрессивности, воинственности, плотоядности, а с другой стороны,

---

<sup>5</sup> Кант И. Сочинения. Т. 5. С. 268.

от других форм принуждения в обществе, в частности, патерналистского и правового. Вместе с тем преодолевается свойственная этическому абсолютизму аксиологическая ловушка и вопрос об оправданности насилия остается открытым для рационально аргументированного обсуждения.

Проблема оправданности насилия связана не вообще со свободой воли, а с ее нравственной определенностью, с ее конкретно-содержательной характеристикой в качестве доброй или злой воли. Когда говорят об оправданности насилия, то обычно рассматривают только один аспект — против кого оно направлено. Но не менее важна и другая сторона — кто бы мог, имея достаточные основания, осуществить насилие, если бы мы признали, что в каких-то случаях оно вполне оправданно. Ведь недостаточно решить, кто может стать жертвой. Надо еще ответить, кто достоин стать судьей. Вообще надо заметить, что самый сильный и никем до настоящего времени не опровергнутый аргумент против насилия заключен в евангельском рассказе о женщине, подлежащей избиению камнями. Кто, какой святой может назвать нам преступников, подлежащих уничтожению? И если кто-то берет на себя это право судить, то что мешает другим объявить преступниками их самих? Ведь вся проблема возникает из-за того, что люди не могут прийти к согласию по вопросу о том, что считать злом, а что — добром, не могут выработать безусловные, всеми признаваемые критерии зла. И в этой ситуации нет другого позитивного, сохраняющего жизнь выхода, кроме как признать абсолютной ценностью самую жизнь человека и вообще отказаться от насилия. В свое время Эрнст Геккель, основываясь на естественных законах борьбы за существование, пытался обосновать справедливость и благотворность смертной казни, как он выражался, «неисправимых преступников и негодяев». Возражая ему, Л. Н. Толстой спрашивал: «Если убивать дурных полезно, то кто решит: кто вредный. Я, например, считаю, что хуже и вреднее г-на Геккеля я не знаю никого, неужели мне и людям одних со мною убеждений приговорить г-на Геккеля к повешению?»<sup>6</sup> В рамках предложенного мной определения право на осуществление насилия могла бы иметь абсолютно добрая

---

<sup>6</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 57 т. М., 1954—1956. Т. 37. С. 74.

воля, а оправданием его применения могло бы стать то, что оно направлено против абсолютно злой воли. Однако человеческая воля не может быть ни абсолютно (сплошь) доброй, ни абсолютно (сплошь) злой. И то и другое является противоречием определения. Абсолютно добрая воля невозможна, в силу парадокса нравственного совершенства. Абсолютно злая воля невозможна, потому что такая воля уничтожила бы саму себя.

2. Ненасилие в отличие от насилия является не особым случаем иерархической связанности человеческих волей, а перспективой их солидарного слияния. Его координаты — не вертикаль властных отношений, а горизонталь дружеского общения, понимая при этом дружбу в широком аристотелевском смысле. Ненасилие исходит из убеждения в самоценности каждого человека как свободного существа и одновременно взаимной связанности всех людей в добре и зле. Одно из часто повторяемых возражений против ненасилия как исторической программы состоит в том, что оно исходит из слишком благостного и потому реалистического представления о человеке. В действительности это не так. В основе ненасилия лежит концепция, согласно которой человеческая душа является ареной борьбы добра и зла, как писал Мартин Лютер Кинг, «даже в наихудших из нас есть частица добра, и в лучших из нас есть частица зла». Считать человека радикально злым — значит незаслуженно клеветать на него. Считать человека бесконечно добрым — значит откровенно льстить ему. Должное же ему воздается тогда, когда признается моральная амбивалентность человека.

Из постулата свободы человека вытекает, как минимум, два важных этических вывода. Первый — человек открыт добру и злу. Утверждение, согласно которому лучшее доказательство в пользу существования свободы воли, состоит в том, что без нее нельзя было бы грешить,— больше, чем остроумное суждение. Оно просто умное. Второй — нельзя ответить на вопрос, что такое человек, не отвечая одновременно на вопрос о том, что он должен делать. Добро, как и зло,— не факт. Оно является делом выбора. Человек — не зверь. И человек — не Бог. Он — среднее между тем и другим. Человек не тождествен самому себе. Человек — это путник.



Важно не то, где он находится. Важно то, куда он идет и сама эта готовность идти и дойти до конца.

Ненасилие как нормативная программа делает акцент на доброе начало в человеке, на то, чтобы усиливать его путем культивирования и сложения. Этим оно существенно отличается от насилия, как и в целом от властных отношений, которые направлены прежде всего на то, чтобы ограничивать, блокировать деструктивные, разрушительные проявления человеческой свободы. Сознательно ориентируясь на добро, сторонник ненасилия, тем не менее, исходит из убеждения, что моральная амбивалентность является принципиально неустранимой основой бытия человека — он не исключает себя из того зла, против которого он ведет борьбу» и не отлучает оппонента от того добра, во имя которого эта борьба ведется. На этом построены принципы его поведения: а) отказ от монополии на истину, готовность к изменениям, диалогу и компромиссу; б) критика своего собственного поведения с целью выявления того, что в нем могло бы питать и провоцировать враждебную позицию оппонента; в) анализ ситуации глазами оппонента с целью понять его и найти такой выход, который позволил бы ему сохранить лицо, выйти из конфликта с честью; г) бороться со злом, но любить людей, стоящих за ним; д) полная открытость поведения, отсутствие в отношении оппонента какой бы то ни было лжи, скрытых намерений, тактических хитростей и т. п. Основная установка ненасилия — исправить отношения, превратить врагов в друзей, сделать так, чтобы предшествующее зло не стало абсолютной преградой для последующего сотрудничества. Ненасилие есть усилие, состоящее в том, чтобы выпрыгнуть из заколдованного круга ненависти и насилия, сменить основания выбора.

3. Таким образом, понятия насилие и ненасилие нельзя понять вне соотнесения друг с другом. Чтобы раскрыть конкретный характер этой соотнесенности, их надо рассматривать не сами по себе, а в более широком контексте борьбы добра против зла, борьбы за социальную справедливость и человеческую солидарность. Что насилие есть зло, признается большинством философских и религиозных учений. Теории, включающие насилие в позитивный контекст человеческой деятельности,

как правило, не деградируют до апологии насилия. Марксизм, например, в котором содержится известная романтизация насилия, проводит различие между разными формами насилия (справедливые и несправедливые войны), рассматривает его в затухающей перспективе, постулируя некое идеальное состояние, в котором не будет насилия. И. А. Ильин, написавший развернутый трактат против Л. Н. Толстого с программным названием «О сопротивлении злу силою», вводит вместо понятия насилия понятие физического принуждения и пресечения, а его допустимость оговаривает такими условиями (надо, чтобы речь шла о подлинном зле, чтобы оно было верно воспринято, чтобы не было других средств сопротивления, и чтобы тот, кто решает, вдохновлялся подлинной любовью и находился в волевом отношении к миру), которые никогда нельзя практически удостоверить и всегда можно теоретически оспорить. Не само по себе насилие становится труднейшей теоретической задачей и духовным вызовом, а вопрос о том, можно ли использовать насилие во имя благих целей, годится ли оно в качестве средства для борьбы со злом.

Насилие и ненасилие представляют собой разные перспективы в борьбе за справедливые отношения между людьми в обществе. Возможные линии поведения человека перед лицом насильственно поддерживаемой социальной несправедливости можно свести к трем основным. Во-первых, это пассивность, малодушие, трусость, капитуляция, словом, непротивление насилию. Такая позиция заслуживает безусловной негативной оценки. Во-вторых, ответное насилие. Эта линия поведения является в практическом плане более эффективной и в нравственном плане более достойной, чем первая. В ответном насилии уже, по крайней мере, чувствуется «ответственность за цели» (Жан Госс). Это уже вызов насилию, активное его неприятие, борьба с ним. Широко известны слова Ганди о том, что если бы перед человеком был выбор между трусливым смирением или насильственным сопротивлением, то предпочтение, конечно, следовало бы отдать насильственному сопротивлению. Ответное насилие лучше, чем покорность. Но есть еще третья линия поведения — это активное ненасильственное сопротивление, преодоление ситуации несправедливости, но другими — принципиально ненасильственными методами.

Отождествление ненасилия с пассивностью является одним из устойчивых общественных предрассудков. В обыденном сознании насилие, как правило, оправдывается в качестве альтернативы покорности. Такая позиция была бы понятна только в том случае, если бы не было третьей возможности — ненасилия, предполагающего исключительно высокую степень активности и действенности, более высокую, чем ответное насилие.

Важно подчеркнуть следующее: эти три линии поведения образуют восходящий ряд и с прагматической и аксиологической точек зрения. И по критерию эффективности, и по критерию ценности противонасилие выше пассивности, ненасилие выше противонасилия. Ненасилие, следовательно, представляет собой постнасильственную стадию в борьбе за социальную справедливость. В отличие от пассивности, являющейся позицией человека, который не поднялся, не дорос до ответного насилия, оно представляет собой способ поведения человека, который перерос насильственный способ решения проблемы. Перерос и духовно, так как в противовес насилию, всегда предполагающему разделение людей на две неравноправные касты — «своих» и «чужих», «добрых» и «злых» и т. д., оно исходит из метафизической святости каждого человека, и душевно, так как требует большего мужества, чем то, которое требуется для преодоления физического («животного») страха. Для любви нужно больше кругозора и больше мужества, чем для кровной мести, дуэли или иной физической расправы с «врагом».

Ответное насилие и активное ненасилие — разные ступени, стадии зрелости человеческих усилий, направленных на борьбу за социальную справедливость. Ответное насилие пользуется для этой цели неадекватными средствами и в лучшем случае может рассчитывать на ограниченный и внешний успех, оно не выводит за пределы насилия. Ведь даже если признать, что насилие может вести к справедливости, то это вовсе не значит, будто оно само является справедливым делом. Ненасилие переводит цели и средства борьбы в качественно однородную нравственную плоскость, направлено на устранение не только эмпирических результатов несправедливости, но и их внутренних оснований, оно разрывает цепь

насилия, поднимает человеческие отношения на другой уровень. Такая последовательность находит также подтверждение в истории идеи ненасилия: до того и для того, чтобы она могла быть сформулирована в качестве развернутой программы в «Новом завете», она существовала в «Ветхом завете» в неразвитой еще форме. Основное различие заключалось в том, что в «Ветхом завете» норма «Не убий» была направлена прежде всего на регламентацию поступков и допускала древний закон талиона. В «Новом завете» она трансформировалась в последовательную этику любви, доходящую до глубочайших ментальных структур и не знающую никаких исключений вплоть до парадоксального «возлюбите врагов ваших». Характеризуя эту историческую последовательность, И. А. Ильин пишет:

«Сама идея о возможности сопротивления посредством непротивления даруется человечеству и оказывается применимой тогда и постольку, когда и поскольку общий, родовой процесс обуздания зверя в человеке грозой и карой («Ветхий завет») создает накопленный и осевший итог обузданности и воспитанности, как бы экзистенц-минимум правосознания и морали, открывающий сердца для царства любви и духа («Новый завет»)»<sup>7</sup>.

4. С точки зрения соотношения насилия и ненасилия наша эпоха, излёт века и тысячелетия, представляет собой очень опасную, критическую точку. В реальном историческом процессе, в целом, ненасилие превалировало над насилием, было преобладающей тенденцией. Если бы это было не так, то человечества бы уже не существовало, подобно тому как в достаточно долгой перспективе не может сохраниться город, в котором количество домов, сгорающих в пожаре, превышает количество вновь возведенных зданий. И мы можем вполне повторить вслед за Ганди: «Если бы враждебность была основной движущей силой, мир давно был бы разрушен, а у меня не было бы возможности написать эту статью, а вам ее прочесть»<sup>8</sup>. Вообще человеческое бытие возможно лишь в той мере, в какой

---

<sup>7</sup> Ильин И. А. Путь к очевидности. М., 1993. С. 97.

<sup>8</sup> См. Ненасилие: философия, этика, политика. М., 1993. С. 168.

ненасилие превалирует над насилием. Однако такой благоприятный для человечества баланс ненасилия и насилия не является законом, он в значительной мере был гарантирован слабостью разрушительных средств.

Исторический процесс характеризуется расхождением замыслов и результатов человеческой деятельности. Это известный факт. Речь идет не об ограниченности познавательных возможностей, не позволяющих заглянуть далеко в будущее и рассчитать возможные последствия тех или иных действий. Речь идет о расхождении, которое характеризуется оборачиванием нравственного смысла деятельности. Рассмотрим ситуацию, когда как будто бы зло ведет к добру, когда исторические действия выстраиваются в такую хронологическую цепь, что насилие, жестокость предшествуют процветанию и как бы становятся причинами последних. Исторический результат всегда является параллелограммом сил, сил разнородных, разнонаправленных, большей частью конфликтующих между собой; поэтому, между прочим, его, этот результат, трудно бывает предвидеть и совсем невозможно целенаправленно реализовать. История в этом смысле иррациональна, недоступна сознательно регулируемому воздействию (речь идет, разумеется, об историческом процессе в целом, а не о тех или иных его фрагментах). Отсюда философы сделали вывод, что в истории действует некая надчеловеческая сила, которую одни называли провидением, другие — объективной закономерностью, третьи — мировым разумом. Это — позитивная сила, которая благоволит человеку и все устрояет таким чудесным образом, что даже многообразные частные деструкции складываются в единое общее благо. Она все приводит к благоприятному итогу.

В настоящее время, однако, тезис философии истории о мировом разуме, объективной закономерности или божественном провидении оказывается под сомнением: человечество вступило в полосу глобальных опасностей, стало заложником созданных им же самим колоссальных средств разрушения, которые способны трансформировать единичное насилие, частное зло, т. е. насилие и зло, подсиленное отдельным частным индивидам, во всеобщую непоправимую катастрофу. Сегодня отрицательный исторический результат — например, гибель

всего живого на земле из-за применения ядерного оружия — может стать не средней составляющей, не параллелограммом сил, а прямым следствием частной злой воли. Мировой разум, если бы он существовал и хотел как раньше благоволить людям, должен был бы теперь обеспечивать гармонию индивидуальных целей и общезначимых результатов не в конечном счете, не в суммарном итоге, а в конкретности единичных сознательных усилий. Он должен был бы держать под контролем не только всю картину, всю историческую панораму в целом, но и каждый ее отдельный фрагмент, каждый значимый эпизод. Говоря иначе, мировой разум должен был бы сблизиться, совпасть с человеческим разумом. Но это как раз означает, что измениться должен человеческий разум, прежде всего в своем отношении к злу и насилию, что он должен взять на вооружение ту позитивную, созидательную установку, которая в предшествующей истории обнаруживалась иррационально, стихийно, независимо от него или даже вопреки ему. Дело в том, что расхождение целей и результатов в истории может иметь одно вполне доступное рациональному постижению и практическому воздействию объяснение — оно является продолжением и в этом смысле следствием расхождения средств и целей, т. е. продолжением и следствием того убеждения, и той человеческой практики, которые основаны на использовании насилия и других низких средств во имя высоких целей, на стремлении искоренить зло злом.

Самое слабое, уязвимое место современной цивилизации — это противоестественное сочетание универсальных производительных сил каждый раз с локальным, многократно (национально, регионально, социально и т. д.) ограниченным мировоззрением, компьютерной технологии с пещерной этикой. Нависшая над человечеством глобальная опасность — ядерная, экологическая, демографическая, антропологическая и другие — поставила его перед роковым вопросом: или оно откажется от насилия, «этики вражды» или оно вообще погибнет. Философия и этика ненасилия сегодня уже не являются просто актом индивидуальной святости, они приобрели в высшей степени актуальный исторический смысл.

Таким образом, рассмотренные в историческом аспекте насилие и ненасилие также могут быть интерпретированы как различные ступени, стадии единого процесса. В плане перехода от одной ступени к другой, от насилия к ненасилию, наше время является критическим, когда требуется качественный сдвиг вперед, равнозначный смене основ жизни. Речь не идет, конечно, об одноразовом или полном устранении насилия — насилие имеет невытравимо глубокие корни в историческом и психологическом опыте, в самой онтологии человека. Речь идет о качественной смене вектора сознательных усилий человека — и индивидуальных и, в особенности, коллективных, социально-организованных.

**А.А.Гусейнов. Моральная демагогия как форма апологии насилия.**

**Вопросы философии. 1995. №5. С.5-12.**

Моральная демагогия и насилие связаны между собой настолько органично, что моральная демагогия неизбежно ведет к насилию, а насилие предполагает моральную демагогию в качестве неременного своего условия.

**I**

Принято считать, что морали не может быть много. Что в ней нельзя переусердствовать. Таков один из не всегда проговариваемых, но тем более устойчивых стереотипов общественного сознания. Основной аргумент: мораль самоценна. Считается, что она вообще, по определению, не может быть низведена до уровня средства, аксиологическая окраска которого меняется в зависимости от цели. Человек может нарушить меру в физических упражнениях, ибо они нужны ему не сами по себе, а для чего-то другого — для укрепления тела. Но он не может нарушить меру в созерцании звездного неба, ибо ценность созерцания — в самом созерцании. Можно злоупотреблять горькой водкой. Но нельзя злоупотребить приятными звуками или ароматом цветущей розы. Еще Аристотель, определяя этическую добродетель как середину крайностей, образующих два обрамляющих ее порока, и как бы предостерегая от напрашивающихся при таком понимании ложных ассоциаций, подчеркивал, что в середине самой по себе нет крайностей (как, впрочем, и в крайностях самих по себе нет середины). Добродетель—середина сама

есть крайность, совершенство. Словом, наградой морали (добродетели) является сама мораль (добродетель). Поэтому в том, что касается морали, нет опасности перебрать. Есть только опасность недобрать.

Рассуждение это выглядит убедительным. Оно было бы даже безупречным, если бы не существовало опасности подмены морали. На самом деле такая опасность существует. Мораль вполне поддается подмене, имитации. Хуже того, в этом плане она более уязвима, чем другие проявления культуры. Мораль действительно самоценна. В ценностном мире она выделяется в качестве абсолютной величины. Если это так, если мораль действительно обрамляет пространство человеческой культуры, являясь ее пределом, последним основанием, то это как раз и означает, что она не может иметь адекватного воплощения. Абсолютное нельзя схватить, зафиксировать, выразить. Иначе мораль и не могла бы выполнить функцию некой идеальной точки отсчета всех форм человеческой деятельности.

Абсолютная моральная убежденность, узурпирующая право на моральную истину, не вытекает из убеждения в абсолютности морали. Как раз наоборот: идея абсолютности морали находит логическое продолжение в установке, согласно которой наши (как бы ни расшифровывать понятие «наши») моральные представления всегда являются относительными. Она, эта идея абсолютности морали, всерьез продуманная и принятая, требует от субъекта предельной скромности и сдержанности в оценке меры собственной — и теоретической, и практической — приобщенности к морали.

Все эмпирические, объективированные формы бытия морали являются вместе с тем и ее искажениями. Это верно до такой степени, что реально, в общественной коммуникации, мы всегда имеем дело с ее лжеобразами. Мораль не уместается в поступки. Она не уместается и в слова. Витгенштейн выразил эту мысль в следующем образе: если представить себе некую абсолютную личность, обладающую всеведением, то в этом универсуме знаний не нашлось бы места этическим (как, впрочем, и религиозным) суждениям. Все, что мы говорим о морали, неточно. Не в том смысле, что такие утверждения ложны. Они вообще не классифицируемы по критерию истинности и ложности. Неправомерной является



сама постановка вопроса о том, что такое мораль. Соотношение морали и познания — большая проблема. Мы ее не можем здесь обсуждать. Важно только подчеркнуть одно: высказывания о морали говорят не о морали и не о том, что мы именуем моралью, а о нашем отношении к тому, что мы именуем моралью.

Если объективации морали являются ее искажением, то высказывания о морали, содержанием которых являются эти объективации, допустимо рассматривать как индикатор способности различать саму мораль от ее превращенных форм. Здесь возможны две экстремальные позиции. Первая состоит в полном отрицании объективированных форм морали на том основании, что они дают ложное, превращенное представление о ней. Такое отрицание, однако, неизбежно оборачивается отрицанием морали вообще, ибо, какими бы карикатурными по отношению к действительному образу морали ни были ее объективированные формы, они являются единственными, позволяющими зафиксировать мораль как мораль и включить ее в общественную коммуникацию. Не случайно поэтому этический нигилизм в теории, вопреки своему сверхгуманистичному пафосу, на практике оборачивается цинизмом и вседозволенностью. Человек, желающий стать сверхчеловеком, всегда рискует оказаться недочеловеком. Лучше ему просто оставаться человеком. Вторая позиция заключается в ложном отождествлении объективированных форм морали с самой моралью. В этом случае мы имеем дело с моральной демагогией. Она оборачивается такой же дискредитацией морали, как и цинизм, хотя и осуществляется на иной манер. Чтобы проиллюстрировать внутреннее сходство цинизма и моральной демагогии при их очевидной внешней противоположности, можно воспользоваться таким сравнением. Известно, что существует множество подделок картин выдающихся художников. Представим себе ситуацию, когда какой-то шедевр потерялся, и мы имеем дело только с его копией. Если кто-то скажет, что шедевра вообще не существовало, а кто-то скажет, что копия и есть шедевр, то мы получим как раз аналогии крайностей цинизма и демагогии в этике.

## II

Моральную демагогию называют еще морализаторством, морализированием или даже моралистикой. Поскольку последние три термина аксиологически неоднозначны и при несомненной негативной нагруженности нередко рассматриваются просто как производные от морали, термин «моральная демагогия» является предпочтительным. Помимо прочего его этимология более соответствует существу дела; с одной стороны, подмена морали ее видимостью возникает при стремлении манифестировать, показать (именно показать, а не познать) ее, т. е. тогда, когда она должна предстать перед демосом (народом, публикой), с другой стороны, демагогия (популизм) всегда апеллирует к морали, находя в этом адекватное средство для своих целей.

Непосредственный индикатор моральной демагогии — этическая перегруженность языка, само обилие моральной терминологии и оценок в общественной коммуникации. Разумеется, трудно чисто количественно определить, когда начинается этическая перегрузка. Показатели моральной демагогии имеют качественную природу. В самом общем виде они сводятся к позитивной оценке субъектом самого себя и негативной оценке других. Это не значит, что о моральной демагогии можно говорить только тогда, когда человек бесхитростно восхваляет себя и столь же открыто осуждает других. Он может хвалить себя скрытно, косвенно, когда, например, он считает самым лучшим, добрым род или народ, к которому он принадлежит. Другой случай — показная скромность, про которую говорится: смирение паче гордости. Изогранные формы имеет также моральное унижение других; оно может, например, осуществляться через их восхваление. Ведь когда человек дает моральные оценки другим, он присваивает себе право давать такие оценки. Словом, тезис, усматривающий признаки моральной демагогии в восхвалении субъектом самого себя и осуждении других, нельзя понимать буквально. Для своего эмпирического (операционального) применения он нуждается в конкретизации. Тем не менее, он позволяет зафиксировать явление в целом.

Исторически мораль связана с религией. Насколько такая связь существенна — особый вопрос. Для нас важно подчеркнуть: в культуре мораль обосновывается через божественную волю и санкцию (Иегова заповедал израильскому народу и передал через Моисея записанными на скрижалях основные моральные нормы, Христос сформулировал нравственный закон любви, Аллах продиктовал Мухаммеду Коран в качестве нормативного канона), а в тех цивилизациях, этические основы которых связаны с именем того или иного выдающегося человека, этот человек (как, например, Конфуций или Будда) возвышается в последующем до божественного статуса. Есть еще опыты рационального обоснования морали; хотя как философская претензия они прочно закрепились в культуре, тем не менее, ни в одном из конкретных решений не получили распространения, хоть в какой-то степени сопоставимого с религиозными концепциями. Связь религии и морали можно истолковать в качестве культурного кода, который расшифровывается таким образом, что человеку не дано быть субъектом морали, выступать от ее имени. Говоря по-другому, моральный суд находится в руках бога, а не человека. Отсюда одно из специфических и самых важных нормативных требований всех развитых моральных систем — не судите других! Эти два аспекта морали — сверхчеловеческое обоснование и нормативное ограничение: «не судите!» — соединены между собой настолько органично, что без одного было бы невозможно другое.

Моральная оценка — феномен парадоксальный. Она предполагает, что тот, кто выносит такую оценку, сам является морально безупречным, или, по крайней мере, обладает в этом отношении особой компетенцией, подобно тому, например, как это происходит с юридическими оценками, которые выносят особые сведущие в своем деле люди. Однако характерной особенностью морально совершенного человека является сознание собственного несовершенства (чувство недовольства собой, скромность), не позволяющее ему становиться в позу судьи, учителя. Пусть первым бросит камень тот, кто безгрешен,— сказал Иисус, когда зашла речь об осуждении женщины, уличенной в прелюбодеянии. Себя же таковым он не считал. В то же время человек, охотно берущий на себя роль морального судьи, уже самым этим

фактом обнаруживает моральное качество (самодовольство), свидетельствующее о том, что он этой роли не соответствует. Получается: тот, кто мог бы выносить моральные оценки, не будет этого делать (именно потому, что он мог бы это делать), а тому, кто готов выносить моральные оценки, нельзя этого доверять (именно потому, что он готов это делать!).

Не претендуя на решение этого противоречия, можно предложить своего рода временное правило, которое состоит в следующем: нравственная оценка в позитивной форме, если и допустима, что требует специального анализа, то только по отношению к другим, нравственная оценка в негативной форме допустима только по отношению субъекта к самому себе. В этом последнем случае она опирается на некую внутреннюю иррациональную силу. Собственно говоря, именно по этим признакам — кто, кого и на каком основании судит — различаются между собой злодеяние (грех) и преступление. Злодеяние и преступление могут совпадать, чаще всего и совпадают по фактическому (материальному) содержанию. Это может быть одно и то же деяние. Различие между ними состоит в том, что за преступление человек отвечает перед другими людьми на основании юридических норм, за злодеяние он отвечает перед своей совестью на основании абсолютного нравственного закона. «Закон есть совесть государства», — писал Т. Гоббс<sup>9</sup>. Переиначив это утверждение, можно сказать: совесть есть закон нравственной личности,

Таким образом, моральная оценка (по крайней мере, в ее негативной форме, то есть как осуждение других) не поддается логически непротиворечивому обоснованию и в этом смысле она невозможна. Если, тем не менее, она существует, то это означает, что она имеет превращенную форму. Чаще всего — это моральная демагогия. Моральную демагогию можно определить как злоупотребление моральной оценкой путем смещения ее векторов: то, что должно быть направлено на других — моральное возвышение — обращается субъектом на самого себя, а то, что должно быть направлено на самого себя — моральное осуждение — обращается на других.

---

<sup>9</sup> Гоббс Т. Соч. в 2 т. Т. 2. С. 337.

Результатом моральной демагогии является самовозвеличивание субъектом самого себя, благодаря которому человек или группа людей изображают себя лучше, чем они есть на самом деле. Но это только первое, очевидное, и самое безобидное ее следствие. Много опасней то, что моральная демагогия содержит в себе селекцию людей по нравственному критерию. Она разделяет их на добрых и злых. Это ее суть и суть разрушительная. Развести людей по разные стороны этической баррикады — значит провести между ними такую пропасть, которую уже невозможно преодолеть. В религиозных утопиях (христианской, мусульманской) предполагается отделение зерен от плевел, добрых от злых. Но там это происходит в день последнего суда и — в этом замечательная последовательность этих утопий — окончательно. В них признается, что после разделения уделом добрых становится вечная жизнь в раю, а злые обрекаются на вечное умирание в аду. Между ними не остается ничего общего. Моральную демагогию можно интерпретировать как лицемерную форму последнего суда. В ней человек присваивает себе функцию, которая в религиозных утопиях отводится богу.

Более конкретный механизм моральной демагогии состоит в том, что вопросы с конкретного, предметно-верифицируемого уровня рассмотрения переводятся на абстрактный, неопределенный уровень, и тем самым дается ложное направление общественной энергии людей. Моральная демагогия является продолжением некомпетентности, призвана как бы компенсировать и скрыть тем самым действительные причины того или иного деяния. Она превращает преступление в злодеяние, растворяет конкретную ответственность во всеобщей вине. Ее можно рассматривать как своего рода отводной клапан, призванный выпускать «пар» общественного гнева, который, в противном случае, мог бы разорвать социальный «котел». Субъектами моральной демагогии являются по преимуществу те, кто занимает на социально-иерархической лестнице верхние ступени: богатые страны по отношению к бедным, привилегированные классы по отношению к обездоленным, руководители по отношению к подчиненным, учителя по отношению к ученикам, родители по отношению к детям, старшие по отношению к младшим. В пору моего студенчества случился такой эпизод на семинаре по русской философии. Мы

изучали Белинского, который, как и все передовые мыслители по канонам советской идеологии тех лет, считался материалистом. Однако его произведения, особенно раннего периода, под клише материализма не подходили. Один из студентов посвятил свое выступление этому вопросу и, процитировав много убедительных высказываний Белинского, сделал вывод, что того скорее следует считать идеалистом. Руководивший семинаром доцент, не имея аргументов по существу, сказал на это: «Как вам не стыдно утверждать такое». Реакция доцента была типичным проявлением моральной демагогии.

### III

Слово «насилие» в естественном языке означает принуждение к чему-либо силой, против воли. Здесь выражена суть понятия. Смысл насилия состоит в том, чтобы блокировать свободную волю индивидов и принудить их (или удержать) от действий, которые предписываются теми, кто совершает насилие. Его вообще можно кратко определить как узурпацию свободной воли. Оно есть господство одних индивидов над другими, основанное на внешнем принуждении. Это — особый, крайний случай отношений господства и подчинения, властных отношений.

Всякая власть представляет собою иерархию, вертикаль человеческих отношений, она состоит в том, что одни принимают решения за других (в тех или иных вопросах, в тех или иных пределах, в то или иное время и т.д.). Однако основания власти могут быть различными. Власть может быть природной, основываться на реальном различии воли, из-за которых отношения между ними являются естественными, нормальными тогда, когда они становятся иерархичными (типичные случаи: власть родителей над детьми или образованных сословий над необразованными). Она может основываться на предварительном договоре, согласии тех, по отношению к которым она осуществляется (типичные случаи: власть авторитета или власть судьи в государстве). Однако власть может основываться и на внешнем принуждении. Тогда мы имеем дело с насилием. Насколько прямым и грубым должно быть такое, принуждение, чтобы оно могло считаться насилием, можно ли, например, считать насильственными «смешанные» (по аристотелевской

терминологии) действия, предпринимаемые самим индивидом, но под страхом смерти — это особый вопрос, который мы не рассматриваем.

Насилие — понятие аксиологическое. Оно не только описывает определенный тип отношения между людьми, но и оценивает его. Оценивает сугубо негативно. Насилие воспринимается общественным сознанием как действие обидное, незаконное. Оно отождествляется со злом. Это настолько важный момент, что насилием именуется только такое внешнее принуждение человека, которое достойно осуждения. Если кто-нибудь силой удержит человека (например, ревнивого мужа), находящегося в ярости и готового расправиться со своим обидчиком, если он даже грубо стеснит этого человека (ударит, повалит на землю, выкрутит руки и т.д.), чтобы тот не натворил беды, то такие действия обычно не называют насилием, хотя здесь налицо все его признаки, кроме нравственно отрицательного отношения.

Однако в общественном сознании и на обыденном уровне и в рамках социально-философских концепций наряду с обозначенным пониманием насилия как зла присутствует также тезис, допускающий случаи его нравственно оправданного применения. Считается, что иногда насилие может быть использовано во благо. Тем самым оно получает этическую санкцию. Насколько оправдано такое суждение? В основании насилия лежит конфликт, в котором его участники не могут прийти к согласию, договориться между собой. Человеческая ситуация, предшествующая насилию и порождающая его, точно описывается вопросом, который Л.Н. Толстой сформулировал так: «Каким образом разрешить столкновения людей, когда одни люди считают злом то, что другие считают добром, и наоборот?»<sup>10</sup>. Один из ответов на него связан с насилием. Он предполагает, что добрые должны властвовать над злыми, силой подчинить их своей воле. Говоря по-другому, прежде чем и для того, чтобы был запущен механизм оправданного насилия, оно должно быть интерпретировано как орудие добра. Этой цели собственно и служат все аргументы, которые обычно приводятся в оправдание насилия: насилие как справедливое

---

<sup>10</sup> Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. в 80 т. Т. 28. С. 38.

возмездие; насилие ради блага тех, против кого оно применяется; малое насилие ради предотвращения большого.

Этическая аргументация в пользу насилия была бы безупречной, а само насилие могло бы считаться счастливой находкой человечества, если бы вообще можно было бы точно квалифицировать людей в качестве добрых и злых, точно определять, кто из них является добрым, а кто — злым. Но в том-то и дело, что как раз из-за невозможности разрешить этот вопрос и возникают те особые трудности, одним из ответов на которые и явилось насилие. Насилие не может быть орудием добра по определению, ибо оно является следствием ситуации, когда невозможно определить, что является добром. Нравственно оправданным насилие могло бы быть только в том случае, если бы на него было получено согласие тех, против кого оно направлено. Но если возможно такое согласие, то зачем нужно насилие? Насилие во благо — логическая несуразица. Понимая это, И.А. Ильин для случаев этически оправданного применения силы ввел новый термин «заставление». Он считал, что насилием нельзя противиться злу, а «заставлением» можно. В этом заключался один из решающих пунктов его критики толстовского учения. Но если речь идет о другом термине и соответственно другом явлении, чем то, про которое говорит Толстой и все последовательные сторонники ненасилия, то просто исчезает предмет спора и критика бьет мимо цели. Желая избежать одной логической ловушки, Ильин попадает в другую.

Надо особо подчеркнуть: речь идет не о нравственном оправдании насилия как такового, а об этических аргументах, позволяющих оправдать отдельные его формы и случаи. По сути дела, идет поиск понятия насилия, которое принципиально является двойственным. Существует какая-то причина, в силу которой общественное сознание заинтересовано в такой двойственности. Она заложена в той самой этически разорванной ситуации, когда взгляды людей на добро и зло оказываются диаметрально противоположными. Выйти из подобной ситуации можно не вообще с помощью понятия насилия, а с помощью двойственного, двуликого понятия насилия, которое в одной проекции является добром, а в другой — злом. Когда убивают нас, революционеров,— это плохо. Когда убиваем мы, революционеры,— это хорошо.



Так рассуждал Л.Д. Троцкий в классической статье «Их мораль и наша». Мало кто в истории мысли был столь откровенен. И мало кто был столь точен в анализе причин двойственного понимания насилия. Этическая дискредитация насилия необходима, поскольку речь идет о насилии, направленном против «нас»; этическое оправдание насилия необходимо, поскольку речь идет о насилии, направленном против «них».

Насилие невозможно аргументировать этически. В то же время оно невозможно без такой аргументации. Квазивыходом из этой антиномии является моральной демагогия. Она как бы этически обеспечивает насилие. Суть моральной демагогии, как мы видели, как раз и состоит в том, что определенные субъекты узурпируют право выступать от имени добра, а своих оппонентов помечают черной меткой, превращая их тем самым во врагов. Сам факт моральной демагогии создает духовную ситуацию, в которой насилие оказывается больше чем допустимым злом, оно становится прямой обязанностью.

#### IV

Рассматривая под интересующим — нас углом зрения общественное сознание постсоветской России, следует сказать: оно характеризуется высокой степенью моральной демагогии. Можно указать, по крайней мере, на три момента. Во-первых, общественные цели формируются в нарочито неопределенной, акцентированно-возвышенной, заведомо непроверяемой форме («Возрождение», «Духовное обновление», «Возвращение в цивилизацию», «Евразийский выбор» и т.д.). В последний год из лексики политиков и общественных деятелей почти исчезли слова «Россия», «Российская Федерация». Они говорят по преимуществу о «великой России». И величие ее возрастает тем стремительнее, чем хуже идут дела в разнообразных сферах жизни. Когда речь идет о таких больших вещах, как величие Родины, то как-то неудобно думать о столь ничтожной вещи, как отдельный человек или какой-нибудь малый народец. Во-вторых, общественная полемика часто приобретает морально неистовый характер, она доводится до этического противостояния, до того последнего пункта, когда закрывается путь для обратного хода. Свидетельство тому — характеристики, которыми обмениваются противоборствующие стороны; «коммуно-фашисты», «дерьмократы», «реакционные

силы», «предатели», «агенты ЦРУ», «подонки», «мерзавцы» и т.п. В самом деле, что делать с «подонками» или «дерьмом»? Только одно — уничтожить. Не сидеть же с ними рядом на одном симпозиуме?! В-третьих, нравственно изничтожающие оценки доводятся до бытийных глубин, Противники — не просто плохие люди. Они — носители дьявольского начала. Обратим внимание, как обыгрываются телесные особенности людей: «усы», «полнота» или «родимое пятно на голове», которое, конечно же, есть признак антихриста. В том, что нравственная критика переходит в антропологическую, нельзя видеть проявление отечественного варварства. В этом, напротив, обнаруживается замечательная последовательность мысли и настроения. Этическое противостояние и есть самое глубокое бытийственное противостояние, которое может иметь только одно последовательное и человечески достойное продолжение — борьбу не на жизнь, а на смерть.

Таким образом, существует несомненная прямая связь между склонностью российского общественного сознания к моральной демагогии и свойственными ему настроениями озлобленности, вражды, ненависти. Разорвать ее, культивировать в обществе защитные механизмы против моральной демагогии — одна из самых насущных и исторически долговременных задач. Задача эта не новая.

Мораль обозначает как бы верхний предел человеческого бытия, то духовное пространство взаимоуважительности, внутри которого только и возможна сложно-расчлененная, кооперированная, разумная и ответственная жизнь. Она по предназначению является наиболее общим условием согласия, сотрудничества между людьми. Но именно поэтому демагогическое злоупотребление моралью, в результате которого пространство взаимоуважительности очерчивается намного уже, чем вообще коммуникация между человеческими индивидами и их сообществами, ведет к разрушительным последствиям. Мораль оказывается источником разъединения, раздоров, войн. Хорошо известно, что Европа прошла через длительный и жестокий период религиозных войн, пока не дошла до сознания веротерпимости как необходимой предпосылки общественной жизни в ее современных, развитых формах. Однако мало (по крайней мере, в нашей отечественной литературе) задумываются над тем, что религиозная нетерпимость,

которая стояла на пути современного общества, была одновременно и даже в первую очередь моральной нетерпимостью. Просто в ту эпоху моральные границы совпадали с религиозными. Преодоление моральной нетерпимости как духовной санкции насилия было не менее насущной задачей либерально-демократического общественного развития, чем преодоление религиозной нетерпимости. В истории Европы задача эта решалась главным образом путем разведения морали и права, возведения права в мораль государства.

---